Я. А. Мильнер-Иринин

Женственность

Я. А. Мильнер-Иринин

ЖЕНСТВЕННОСТЬ
О роли женского начала в нравственной жизни человечества

Ответственный редактор *Н. Я. Кованова*

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2010

Издание осуществленно при финансовой поддержке
Почетного Президента «Российская телекоммуникационная связь»,
академика Международной академии связи — *В. А. Полищука;*
Президента адвокатской палаты г. Москвы — *Г. М. Резника*



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

УДК 159.942
ББК 87.77
М60

Рецензенты:
доктор философских наук, академик РАН *А. А. Гусейнов*,
Творческий союз художников России — *Л. Ч. Гоцлавский*

Мильнер-Иринин Я. А.
М60 Женственность. О роли женского начала в нравственной жизни человечества / Я. А. Мильнер-Иринин. — СПб. : Алетейя, 2010. — 320 с. ; [32] с. ил. — (Серия «Гендерные исследования»).

ISBN 978-5-91419-253-9

Книга посвящена теории и практике нравственной жизни человека — его человечности. Человечность женщины, нравственно себя образующей, в определении автора есть женственность. Человечность же мужчины, нравственно себя образующего, есть мужественность. Женственность и мужественность взаимно дополняют понятие человечности. Но роль женщины в сравнении с мужчиной в нравственной жизни человека более значительна благодаря особенностям женского существа, женской доброты в частности. В доброте женщины с огромной сосредоточенной силой проявляются и все остальные черты женственности: утонченное изящество женщины, ее покоряющая нежность, ее обаятельная застенчивость, ее беспредельная преданность в любви, венчающаяся в великом чувстве материнства.

Текст книги и послесловия приводятся в авторской редакции.

И с научной, и с общечеловеческой точек зрения книга актуальна и может быть интересна широкому кругу читателей.

The book is devoted to the theory and the practice of people's moral life, that is their humaneness. According to the author the womanhood is the humaneness of a woman who has been forming herself ethically. And the humaneness of an ethically self-forming man is the manliness. The womanhood and the manliness are the mutual complement of the conception of the humaneness. But the woman's part in comparison with the man's is much more significance due to the features of the woman's essence, particularly the woman's goodness. It is the goodness that with enormous concentrated power has been manifesting all the womanhood features, such as woman's refined grace, her conquering tenderness, her charming bashfulness, her infinite devotion to the love whose crown is the great sense of the motherhood.

The book is published in the author's edition.

From both scientific and common to all mankind standpoint the book is topical and interesting to the wide readership.

ISBN 978-5-91419-253-9



Венец творения

Если справедливо, что человек — «венец творения», высшее определение природы, с порождением которого ее нескончаемое самообновление совершается — наряду с ее естественноисторическим развитием — еще и на принципиально новой основе, — как общественно-историческое развитие, как самообразование и рост самого человечества, которые происходят так же беспрерывно, как и самодвижение природы; если верно, что природа в лице человека достигает своего высшего взлета, так как в человеке (с человеком) она обретает самосознание и безграничное умножение и качественное обогащение своих творческих возможностей, развертывающихся уже и в русле сознательной и целенаправленной деятельности общественно-исторического человека; если бесспорно, что человек трудом славен, ибо хотя не он создал труд, но труд создал человека, он тем не менее сообщил труду совершенно новое качество, какового он не мог иметь в мире высших животных, из среды которых он произошел, создал труду всю его славу, до такой степени, что отождествил себя, всю свою сущность, с этим своим трудом, и труд в его руках засверкал всеми поистине бесчисленными своими гранями; если несомненно, наконец, что своей нравственно-революционной энергией человек постоянно и неустанно, не считаясь с жертвами, осуществляет свой великий исторический подвиг творца добра — нового, очеловеченного мира и нового, очеловеченного же самого себя, ибо существующий (старый) мир, из-за господствующей в нем стихийной, слепой, подчас жестокой необходимости, его, человека, не удовлетворяет; если все это — святая истина, а кто в состоянии оспорить это? — то таковым венцом творения женщина является вдвойне; ведь кроме того, что она прекрасна как человек, она еще прекрасна и как женщина. Согласно легенде женщина была сотворена уже после мужчины, завершив, стало быть, собою акт творения. И если бы мы захотели в одном лице изобразить этот блистательный венец природы, каков человек, то

мы изобразили бы его не иначе, как в образе прекрасной женщины, и не иначе, прибавим, как обнаженной.

Торжествующая красота обнаженного женского тела повергала в восторженное и трепетное изумление уже на заре человеческой истории, и сама эта занимавшаяся заря человечества может быть поэтически изображена как отблеск этой женской красоты — красоты человеческого существа вообще, человека как такового. С самых давних исторических времен лучшие ваятели, живописцы, композиторы, поэты пытались художественно воплотить — схватить, воспроизвести и увековечить — те или иные из неисчислимых сторон и оттенков этой поистине неизбывной красоты. И до сих пор как еще только начинающие свое художественное образование во всех училищах мира юные таланты, так и уже прославленные мастера в самом расцвете художественного дарования видят свой идеал в том, чтобы хотя лишь прикоснуться к этой равно нетленной, как и преходящей красоте, ибо и она — увы! — разделяет судьбу всего живущего, как и все на свете, приходит и уходит, расцветает и отцветает, хотя тем самым отнюдь не теряет в наших глазах в своем обаянии, но как раз напротив, становится для нас уникальной и бесценно дорогой вдвойне...

И легко понять, с какой жадностью, с какой страстью и самозабвением стремятся художники всех возрастов перенести на свои полотна, воплотить в мраморе и бронзе, в слове и звуке это величавое в своей непосредственности и простоте совершенство форм женского тела, совершенство, складывавшееся исторически на протяжении веков, постепенно и исподволь, путем скрупулезного отбора и накопления бесчисленных и неприметных изменений, подготовлявшееся многими и многими тысячелетиями органической эволюции природы. Вы, конечно, не думаете, что эта удивительно тонкая, как бы изнутри просвечивающая, ослепительно белая или же нежно золотистая, но всегда эластичная кожа женщины была создана природой сразу. Но то же относится решительно и ко всему телесному облику женского существа.

До чего поражает красота женщины, — хорошо показано на одной из заставок, сделанных Рокуэллом Кентом к его же автобиографической книге: «Это я, господи!» (1955 г. — Книга названа начальными словами негритянского гимна). Рисунок изображает троих юношей, целиком отдавшихся воспроизведению на полотне обнаженной женской фигуры — скульптуры классического типа. Нет сомнений в том, что они по-разному воспринимают и по-разному же воспроизведут эту натуру — сообразно со своим темпераментом, со своими способностями, с уровнем достигнутых успехов в художестве, а главное — сообразно с их человеческим характером и характером их дарования. Но зато можно

с уверенностью сказать и это видит каждый, что они одинаково поглощены идеей прекрасного (илл. 1).

О неотразимом действии женской красоты повествует и знаменитый греческий миф о Пигмалионе — царе острова Кипр, влюбившемся в изваянную им прекрасную женскую статую. Вняв его страстным мольбам, Афродита оживила статую, и Галатея стала его женой. «Пигмалион и Галатея» — так называется скульптурная группа Этьена Мориса Фальконе из собрания Государственного Эрмитажа в Ленинграде* (илл. 2).

Красота жизни и красота женщины воспринимаются нами как понятия тождественные. И тот, кто равнодушен к женской красоте, равнодушен к красоте вообще, к красоте как таковой.

И приходится только поражаться тому, что находятся люди, которые из ложно понятых «нравственных» соображений выступают против изображения обнаженного женского тела. Они даже не подозревают о том, до чего они обедняют человеческую культуру, «очерствляют» ее, лишают ее самых драгоценных и самых ярких красок. Вместо того чтобы несказанно обогатить человечество увековечением поистине бесчисленных оттенков совершенства женского тела, они обрекают последнее на тление. Эти люди, по-видимому, полагают, что красотой женщины имеет право насладиться только «законный супруг» (кстати, далеко не каждый в состоянии оценить ее по достоинству!). И разве не бесконечно мудрее нас были люди античности, не побоявшиеся увековечивать себя, свою обнаженную красоту в произведениях искусства невыразимой прелести. Не побоялась этого, например, римская императрица Фаустина Младшая. Ее скульптурный портрет второй половины II века нашей эры составляет одно из самых замечательных украшений Павловского дворца-музея под Ленинградом. Произведение представляет мраморную статую молодой женщины, жены императора и философа-стоика Марка Аврелия. Конечно, лестно было императрице изображать из себя Венеру, но ведь она могла приказать одеть статую — одетых богинь было, гораздо больше, нежели обнаженных. Она этого не сделала и тем самым увековечила не только свое лицо и стан, но и все свое юное и гибкое тело, явив перед нами совершенно уникальный, причем скульптурный, видимый и осязательно оцениваемый со всех сторон, портрет обнаженной женщины во весь рост (илл. 3). Бесспорно, что в этом портрете имеется и элемент идеализации, но такой элемент почти неизбежен в настоящем произведении искусства: в свое творение, пусть даже это будет портрет реального лица, художник вносит и нечто от себя —

* Ныне Санкт-Петербург — здесь и везде далее.



притом отнюдь не всегда преднамеренно, хотя и преднамеренность, разумеется, имеет место, — он просто реализует в своем художественном произведении свою объективную творчески-преобразовательную природу человека. Так или иначе, но Фаустина позволила изобразить себя обнаженной, и поступила вполне резонно: если богиню можно изображать обнаженной, то почему она не может позволить изобразить таковою себя? Между прочим, позволил себя изобразить совершенно обнаженным и Александр Македонский. Прекрасная мраморная копия с его скульптурного портрета экспонируется в Музее изящных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Я надеюсь, что меня не поймут превратно, не поймут так, будто я призываю к бесстыдству в этом смысле, как это было в первые годы нашей революции, когда в разных местах молодые люди выдвинули лозунг «Долой стыд» в целях демонстрации своей естественной телесной красоты. Обретенная, наконец, свобода и революционное творчество тех незабвенных лет, как в половодье, выливались из берегов и иногда принимали и такие уродливые формы, кстати, отменно высмеянные в фельетоне Евгения Петрова, опубликованном в «Литературной газете» (в декабре 1972 г.). Как раз напротив, стыдливость рассматривается мною как неотъемлемая черта женственности и ей посвящается в настоящем трактате особая глава. Речь идет единственно о том, что в искусстве должно быть позволено «раздеть женщину» (не надо бояться этих «грубых» слов, коль скоро мы так поступаем на деле; если мы так не скажем, другие скажут — в осуждение) — с тем, чтобы обнажить ее красоту, красоту совершенно уникальную, единственную в своем роде, я бы сказал, высшую красоту, красоту как таковую, эталон всякой и всяческой красоты, — ибо это красота одухотворенная, истинно человеческая. Искусство, повторяю, должно располагать правом раскрыть эту женскую красоту, как говорится, для всего человечества, если мы не хотим, чтобы она оставалась втуне.

Что было бы с чувством прекрасного, если бы античность не заложила в человечестве этой дивной традиции смелого и свободного изображения обнаженного женского тела, если бы люди античности тоже поддались этим уродливым и ложным в основании представлениям о нравственности, представлениям, кстати говоря, частнособственнического происхождения и свойства, представлениям, получившим прочность предрассудка вследствие вековечного их освящения религиозной идеологией? Что сделалось бы с самой нравственностью людей, с их истинною (высокою) нравственностью, — ведь красота, самоё чувство красоты — неотъемлемый ее элемент, ведь истина, правда и красота со-

впадают как в своем идеале в добре? Ведь тот новый мир, мир добра, который призван творить человек, повинуясь своей объективной общественной природе и руководствуясь своей революционной совестью, должен быть, наряду с идеалом истины и идеалом правды, также и идеалом красоты? Нет, женская красота существует не для одного человека, — пусть даже это будет самый добродетельный и самый что ни на есть достойный супруг на свете, она, как красота, не может по самой природе вещей быть личной собственностью, достоянием лишь одного, она — достояние всего человечества и должна быть увековечена в произведениях искусства, а через них — и в истинно нравственном сознании настоящего и всех будущих поколений людей.

Человечество не сразу решилось на изображение обнаженного женского тела. В Древней Элладе роль пионера в этом принадлежит великому Праксителю (около 390 – около 330 г. до нашей эры). Как утверждает знаток древнегреческого искусства Б. Р. Виппер, «для античных ценителей искусства Пракситель был, прежде всего, мастером обнаженного женского тела, поэтом Афродиты». Но и он не сразу отважился встать на путь обнажения женского тела в искусстве, хотя и был до некоторой степени подготовлен к этому предшествовавшим развитием отечественного искусства. К теме Афродиты он возвращался пять раз, и самой ранней, по предположению, статуей богини его работы была та, которую он изваял для Феспий и отражением которой является хранящаяся в Лувре так называемая Афродита из Арля (по месту, где она была найдена) (илл. 4). Последовательный процесс обнажения женского тела в искусстве Древней Греции (он даже пишет о «логической последовательности» этого процесса, «в высокой степени характерной для греческого искусства») выглядит в изображении названного автора следующим образом: «В конце V века (до нашей эры. — *Я. М.-И.*) Пэоний решился показать женское тело сквозь одежду, а Каллимах позволил хитону соскользнуть с плеча Афродиты. Теперь (в феспийской — арльской Афродите. — *Я. М.-И.*) Пракситель показывает Афродиту наполовину обнаженной; и только пройдя эту стадию, он решился на полное обнажение Афродиты в книдской статуе» (илл. 5) (*Виппер Б. Р.* Искусство Древней Греции. М.: Наука , 1972, С. 252).

Не приходится доказывать, что обнажение женского тела в искусстве явилось весьма и весьма смелым актом, прямо направленным против религиозного ханжества, актом торжества свободного разума человека, — если даже и теперь находятся люди, правда, их становится все меньше, даже и не религиозные, неодобрительно к этому относящиеся. Это тем более был смелый акт для Праксителя, который обнажил перед

нами даже не просто женщину, но богиню, чтимую всей Элладой, оправдывая этот свой шаг мотивом купания: богиня скинула с себя одежду, собираясь вступить в воду.

«В Афродите Книдской, — пишет другой знаток античного искусства Ю. Д. Колпинский, — Пракситель изобразил прекрасную обнаженную женщину, снявшую одежду и готовую вступить в воду. Ломкие тяжелые складки сброшенной одежды резкой игрой света и тени подчеркивают стройные формы тела, его спокойное и плавное движение. Хотя статуя предназначалась для культовых целей, в ней нет ничего божественного — это именно прекрасная земная женщина. Обнаженное женское тело, хотя и редко, привлекало внимание скульпторов уже высокой классики ("Девушка-флейтистка", "Раненая Ниобида" и др.), но впервые изображалась обнаженная богиня...» (Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1956. Т. 1: Искусство Древнего мира. С. 240). Притом, подчеркивает автор в другом месте, «впервые скульптор изображает не столько нагое, сколько обнаженное тело» (*Колпинский Ю. Д.* Искусство эгейского мира и Древней Греции // Памятники мирового искусства. Сер. первая. М.: Искусство, 1970. Вып. 3. С. 83).

Большая смелость, прибавим мы от себя, потребовалась, конечно, от Праксителя, чтобы изваять подобную Афродиту, но ведь немалая свобода духа потребовалась и от граждан Книда, приобрёвших у мастера эту статую, установивших ее в своем храме и поклонявшихся ей как божеству (они верили, впрочем, что сама богиня вдохновила скульптора и водила его рукой, как о том свидетельствует Плиний). Как бы то ни было, но именно впервые в произведениях гениального греческого скульптора «обнаженная человеческая натура обрела величайший эстетический и нравственный смысл», — как хорошо сказано во вступительной статье Н. А. Белоусовой к известной книге Бернсона (*Белоусова Н. А.* Бернард Бернсон и его книга // Бернард Бернсон. Живописцы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1965. С. 12).

От Праксителя и пошла эта великая традиция, навеки, навсегда утвердившаяся в искусстве, в его многоразличных отраслях: вскрыть и показать во всех ее аспектах и в ее огромной нравственной мощи бессмертную красоту обнаженного женского тела (илл. 6). Красоту тела женщины ненасытно изображали в древности, изображали ее в эпоху Возрождения и в Новое время, изображают ее и поныне, и не могут исчерпать сполна, ибо неисчерпаема сама стихийная производящая сила природы, бесконечна притягательная сила тела женщины, безгранично человеческое воображение, как беспредельна, наконец, и сознательная творческая мощь самого поэтического гения общественно-исторического человека.

Эта девушка пришла к нам из дали времен, из Древнего Египта, чтобы навечно обосноваться в Париже, в Лувре, занять свое прочное место в культуре человечества. Нет труда по истории искусства, нет сколько-нибудь значительного альбома, со страниц которых она не смотрела бы на нас своим открытым, ясным, чуть-чуть взыскующим взором. Она изваяна более четырех тысяч лет назад (в XXI в. до н. э.). Статуэтка изображает очень юное существо, почти девочку, на лице которого написано сознание важности возложенной на него религиозной обязанности (девушка изображена в тот ответственный и торжественный в ее жизни момент, когда она несет жертвенные дары), обязанности, требующей от него и физической и нравственной непорочности и чистоты (илл. 7).

А вот вполне современная девушка, наша соотечественница, живущая в Москве, в Третьяковской галерее, — знаменитая Девушка с закинутыми руками. Какой гордостью, каким высоким сознанием собственного достоинства — и человеческого и женского — веет от каждого изгиба ее исполненной поэзии обнаженной фигуры, от всего ее неотразимого облика!.. Если первая девушка олицетворяет собою еще только рождающуюся юность — юность женского существа, то вторая — эту же юность женщины в полной и блистательном ее расцвете. И все эти четыре тысячи лет, разделяющие двух девушек (мы не говорим уже о необозримом времени, предшествовавшем появлению на свет первой из них) художники то и дело воспроизводили и воспроизводили нерукотворную женскую красоту (илл. 8).

Однако художнику мы обязаны не только и даже, если хотите, не столько тем, что он сохраняет для нас мимолетную саму по себе красоту, но преимущественно тем, что он идеально преобразует ее, творчески преображает эту красоту в своем воображении и в своем произведении, ибо он не только заимствует у природы эту дивную саму по себе красоту, но и возвращает ее ей артистично преображенной и тем самым бесконечно обогащенной, в соответствии со своей высокой и нравственной творчески-преобразовательной природой человека. Созданием идеального образа женской красоты, образа, которого природа никогда не смогла бы осуществить самостоятельно, при всей безграничности ее стихийной мощи, буде если бы она была предоставлена самой себе, — без творческого воображения великого художника, созданием такого образа художник обогащает не только самого себя, не только собственное сознание для новых творений, но необычайно развивает и наше сознание, сознание миллионов читателей и зрителей, преобразующе действует на него, на наше собственное сознание, будит в нас наши лучшие качества, нашу человеческую существенность, наши собственные творческие силы и способности, к какой бы об-



ласти общественно-полезного труда они ни относились, подвигает нас на героические дела, на реализацию нами на практике, в нравственных делах, нашего бесконечно трудного, но зато и бесконечно же высокого исторического назначения творцов добра — истины, правды и красоты.

Победоносная женская красота породила в прошлом, как рождает и поныне самые красивые, самые волнующие, самые романтические легенды, которыми располагает человечество. К числу таких легенд несомненно относится и миф о чудесном рождении Афродиты — Венеры из белоснежной пены морской. Мне даже представляется, что этот миф по праву должен занимать первое место среди легенд, о которых идет речь и в которых воспевается нравственная мощь женской красоты. Очень поэтично описывается этот миф в известной книге нашего соотечественника Н. А. Куна. Венера родилась, как уже говорилось, из пены морских волн. Произошло это невдалеке от острова Киферы в Элладе. Легкий ласкающий ветерок примчал ее на раковине к острову Кипру. Отсюда она зовется Кипридой. Здесь ее окружили юные Оры и Хариты — богини красоты и грации и облекли в роскошные златотканные одежды. Эрот и Гимерот — боги любви (Гимерот — бог страстной любви, тогда как Эрот — бог нежной любви) повели ее на Олимп, где ее громко приветствовали боги. «С тех пор, — повествует миф в изображении Н. А. Куна, — всегда живет среди богов Олимпа златая Афродита, вечно юная, прекраснейшая из богинь». «Никто не может избежать ее власти, даже боги. Только воительница Афина, Гестия и Артемида не подчинены ее могуществу. Высокая, стройная, с нежными чертами лица, с мягкой волной золотых волос, как венец лежащих на ее прекрасной голове, Афродита — олицетворение божественной красоты и неувядаемой юности. Когда она идет, в блеске своей красоты, в благоухающих одеждах, тогда ярче светит солнце, пышнее цветут цветы. Дикие лесные звери бегут к ней из чащи леса; к ней стаями слетаются птицы, когда она идет по лесу. Львы, пантеры, барсы и медведи кротко ласкаются к ней. Спокойно идет среди диких зверей Афродита, гордая своей лучезарной красотой» (*Кун Н. А.* Легенды и мифы Древней Греции. М.: 1955. С. 53).

Облагораживающее действие истинной женской красоты, как в этом легко убеждается каждый, — лейтмотив мифа. Ведь каждому понятно, что если она, великая красота эта, так укрощающе действует на диких зверей, то как должна действовать она на человека. Поэтому не будет преувеличением сказать, что миф о рождении Афродиты — Венеры — это именно повествование о высокой нравственной роли женщины.

Никому иному не удавалось так ярко воплотить на полотне этот миф о чудесном рождении Венеры, как это удалось великому масте-

ру Сандро Боттичелли. Тем самым лишний раз и до чрезвычайности ярко демонстрируется та внутренняя духовная нить, которая связывает две столь, казалось бы, далекие и по времени и по социальному смыслу культуры — культуру античную и культуру эпохи Возрождения. Всемирно прославленная картина Боттичелли написана в последней четверти XV века (около 1485 г.). Если охарактеризовать действие, оказываемое на нас этой картиной одним словом, то слово это будет: ликование. И мы в этом не одиноки, ибо мы разделяем это чувство со всей природой. Вся природа на этом волшебном полотне пришла в изумленное движение — и небо, и воды и самый воздух, все краски в ней заиграли и засверкали празднично, а это возбужденное движение природы служит «обрамлением легкой и спокойной фигуры являющегося божества» — правда, сильно сказано? Эти прекрасные слова принадлежат итальянскому искусствоведу Лионелло Вентури. «Своим робким видом, — продолжает он, — Венера словно приносит извинения за свою красоту» (Боттичелли: Сборник материалов о творчестве / Пер. с фр., англ. и итал. М.: Иностр. лит., 1962. С. 29). Вся природа полна истинно весеннего обновления и торжества: родилась Красота в мире, красота о большой буквы, настоящая, одухотворенная, человеческая, женская красота. «У Боттичелли, — пишет другой исследователь, английский искусствовед Дж. К. Арган, — над чувственностью торжествует сила интеллекта. Это — прекрасное женское тело, физический облик которого облагораживается прозрачностью форм и чистотой линий; тело — как бы вызов, брошенный чувственности» (Там же. С. 65). И действительно, сверкающая ясность этого прекрасного обнаженного тела, чуждая чувственной замутненности страстей, может сравниться лишь с вызываемым им же восторженным чувством ликования. И при всем том, мы ни на мгновение не забываем, что перед нами именно женское тело, таящее в себе бездну прелестей (илл. 9).

Поистине, эта излучающая звонкую и солнечную радость картина и в самом деле знаменует собою занимающуюся зарю человечества. Но она же может символизировать и великое Возрождение человечества с торжеством коммунизма на всей планете. И в этом сказывается ее вечное звучание: так же как она связала воедино античность с моментом ее собственного появления на свет, также она связывает и свое время с нашим и со всеми будущими временами всех народов. И в самом деле, этот апофеоз человечности, такое воплощенное жизнелюбие и человеколюбие сделались возможны лишь в эпоху Ренессанса, знаменовавшую в области культуры решительный слом всех и всяческих оков, в которые закована была долгие столетия человеческая мысль.

Конечно, на свете очень много красивого, и не только в органической, но и в неорганической природе. Кто может отрицать красоту Солнца и Луны, красоту голубого небесного свода днем и звездного неба ночью, красоту скал, гор и ущелий, красоту океанов, морей, озер и рек? И все же в органической природе больше красоты, нежели в неорганической, так как чем более высоко организована материя, тем бóльшую основу она составляет для того единства, которую образует красота как таковая: единства объективной организации предмета и субъективной оценочной деятельности человеческого сознания, притом такого именно единства, которое фундаментальным образом затрагивает, как уже говорилось, нашу человеческую существенность, заветные струны нашего нравственного существования, будит в человеке его творческие силы для реализации им в жизни его сущности творца добра. В сознательной творчески-преобразовательной деятельности общественно-исторического человека красота служит мерой разрешения им в процессе этой деятельности противоречия между сущим и должным, стало быть, мерой совершенства того мира, который он призван творить как человек и, следовательно, мерой собственного своего совершенства как человека. Но если подобным пробуждающим образом действует на человека красота в природе, как неорганической, так и в особенности органической — красота растительного и животного мира, то как же должна действовать на него красота самого человека, воплощенная в женской красоте по преимуществу. Положительно: нет на свете ничего красивее человека — человека вообще и женщины в особенности. Не об этом ли писал поэт в стихотворении «Буря» (1825 г.)?

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами,
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,
Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым,
И ветер бился и летал
С ее летучим покрывалом?
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.:
В 10 т. М.; Л., 1950. Т. 2. С. 295.)



Это стихотворение А. С. Пушкина было положено на музыку многими русскими композиторами, правда, уже после кончины поэта (единственное исключение — Н. С. Титов, написавший на него музыку для голоса с ф-п., еще в 1830 г.). В основном это советские композиторы. Среди же дореволюционных мы встречаемся с такими именами, как А. Г. Рубинштейн (для голоса с ф-п., 1867 г.) и С. В. Рахманинов (тоже для голоса с ф-п., 1912 г.) (см.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М., 1974. С. 25–26). Вообще роль А. С. Пушкина в развитии русской музыки исключительно велика. «Более 1000-ти композиторов (включая современников поэта) неоднократно обращались к его творчеству. Около 500 сочинений великого поэта (поэзия, проза, драмы) легли в основу более 3000 музыкальных произведений. Оперы, балеты, хоры, оратории, кантаты, симфонические и камерно-инструментальные произведения, свыше 2000 романсов, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, телевизионным и радиопередачам составляют наследие музыкальной пушкинианы. Известно немало народных песен на стихи Пушкина, а также сочинений на народные слова, им записанные» (Там же. С. 5. «От составителей»).

Я не могу воздержаться, чтобы не выразить мою искреннюю признательность составительницам этого замечательного справочника, охватывающего «период протяженностью более 150 лет: с 1815–1818 годов, когда были созданы первые музыкальные произведения на пушкинскую текст, вплоть до наших дней» (Там же): Надежде Григорьевне Винокур и Раисе Ароновне Каган. Эти две женщины сделали прекрасное дело, восполнив пробел в нашей литературе. И как здорово они сделали, предпославши книге автограф самого Пушкина: ... Из наслаждений жизни одной любови музыка уступает, но и любовь мелодия... (Александр Пушкин. С.-Петербург, 1 марта 1828). На эту книгу я буду ссылаться каждый раз, когда буду приводить вещие строки великого поэта.

Секрет безграничного обаяния женского тела — в строжайшем, нерасторжимом и вполне органичном, я бы даже сказал, интимном единстве физической и духовной красоты — как предмет вожделения и созерцания, нестерпимого подчас вожделения и возвышеннейшего созерцания в одно и то же время. Таковой эта красота женщины выступает, как это ясно само собой, прежде всего в восприятии мужчины. Да так оно и должно быть, коль скоро речь идет о женской красоте: только в отношении к мужчине женщина выступает именно как женщина, ибо человек — не бесполое существо и в этом смысле он родной брат всего живого. Однако и женщина, как это не менее ясно, не может оставаться равнодушной к женской же красоте, коль скоро она неравнодушна

к красоте вообще, к красоте как таковой, и коль скоро она стремится воплотить ее в самой себе, — и не только как к красоте человеческого тела вообще, но именно как к красоте тела женщины. Я не поручусь при этом, что и она не воспринимает эту чисто женскую красоту с известной степенью вожделения, так как невольно смотрит на нее глазами мужчины. Как бы там ни было, но человек един в своем телесном и духовном облике, и прекрасного своего олицетворения этот едва ли не чудеснейший в природе вещей сплав получает в образе женского существа. Пора покончить с заведомой ханжеской несносной ложью, — когда человека вполне искусственно и противоестественно делили на греховное телесное существо, наделенное всеми признаками пола, и на безгрешное духовное существо — без всяких признаков пола. Духовное на самом деле выступает во плоти — воплощенным в живой форме прелестного женского тела (поскольку речь идет о женщине), а телесное — в своей поэтической одухотворенности. Вот для этого высокого единства телесного и духовного в женщине, равным образом прекрасных, человечество давно уже нашло истинно выразительное и точное слово. Слово это — женственность.

Уже само это слово таит в себе необыкновенное очарование, окружено для нас особым ореолом, излучает мягкий и теплый свет, источает тонкий и непередаваемый аромат, несет в себе заряд взволнованности, звучит как тихая и нежная мелодия. И как же могло бы быть по-другому? Ведь с этим словом мы связываем все, что есть в человеке прекрасного, что есть в нем девственно ясного, связываем представление об изяществе, нежности, доброте, обо всем том, что сообщает жизни ее неизбывную прелесть и что так сильно привязывает нас к жизни и заставляет любить ее, что называется, беззаветно — несмотря ни на что, невзирая на печальные стороны нашего существования. Но всего этого мало. Ибо с этим словом мы связываем не только все то, что уже есть прекрасного в жизни, но еще больше с тем, что в ней еще имеет быть сотворенным человеком, связываем с ним сам верховный этический идеал человечества — идеал добра, самое заветное, что есть в человеке, идеал, без которого нет и не может быть человека на Земле, сколько-нибудь заслуживающего этого исторического и столь многообязывающего звания.

Существо женственности

Женственность занимает столь важное место в духовной жизни человечества, оказывает такое неоспоримое и столь значительное влияние на нравственные устремления людей, что приходится только поражаться тому, как мало внимания уделено ей в научно-философской и специально этической литературе. Нечего доказывать, что в художественной литературе и в искусстве — во всех решительно его видах — роль женщины в человеческой жизни и в человеческой истории показана весьма и весьма основательно и многообразно, чтобы не сказать — всесторонне, есть, конечно, труды и по женской психологии и по истории международного женского освободительного движения. Тем более удивляет тот факт, что сама категория женственности не сделалась еще, насколько мне известно, предметом специального рассмотрения. Мало того, я почти что убежден в том, что найдется немало людей, которые с предубеждением отнесутся к самой теме, выразят скептическое к ней отношение, если и не вовсе ироническое, а некоторые не смогут скрыть своего конфуза — далась, дескать, Вам такая тема, столь же расплывчатая и неопределенная, сколь и сомнительная по достоинству, которая, если и свидетельствует о чем-либо, так это о Вашем неравнодушии к прекрасному полу (в чем, кстати, они не ошибутся). Но такая реакция на данную тему воспоследует, мне думается, только со стороны мужчин, и то — далеко не всех, у женщин же эта тема, несомненно, вызовет благосклонное отношение, да и мнение мужчин, я надеюсь, должно будет измениться по мере их ознакомления с предлагаемым трактатом. Во всяком случае, я и с некоторой опаской и с понятным энтузиазмом в одно и то же время берусь за эту заманчивую тему, хотя бы уже потому, что на протяжении довольно продолжительного времени, пока будет писаться этот труд, я буду находиться наедине с самыми блистательными представительницами прекрасного пола. В эти дни и месяцы, я верю, я буду едва ли не счастливейшим из смертных, — ведь не всякому, как мы ви-

дели, улыбается эта поэтическая тема, мне же она улыбнулась давно, и на всем протяжении труда мне будет сопутствовать обворожительная женская улыбка — лучшая за него награда.

Конечно же, коренную подоснову женственности составляет наличие полов и половых различий, то именно, что лучше всего говорит о кровном родстве человека с животным миром, из недр которого он произошел, со всем живым в природе вещей, и что крепко-накрепко связует его со всей необъятной жизнью великой матери — природы: не было бы женщины, не было бы и женственности. Но будучи первым и основным, факт этот сам по себе еще так же мало может объяснить существо женственности, как и факт происхождения из животного мира — сущность самого человека. Человек — не животное и женщина — не самка. (Грубо? Согласен. Я даже вижу, как иная из моих прелестных читательниц недовольно сдвинула брови. Зато точнее не скажешь, а ведь мы имеем перед собою цель: выяснение существа дела!) Все животное в человеке не иначе как преломляется через призму общественной и трудовой, творчески-преобразовательной и нравственно-революционной природы человека. Разумеется, человек призван творить из себя человека, как в общественно-историческом плане, так и в личном, ибо человек не рождается готовеньким, но образует себя в течение целой жизни, а человечество в целом — в процессе положительно бесконечного общественно-исторического развития, неустанно освобождается, между прочим, и от родимых пятен своего животного происхождения, воплощенных в животном начале человеческого существа и сказывающихся прежде всего в различных животных инстинктах в нем, и порою эти родимые пятна нет-нет да и безобразят его светлый лик человека. Тем не менее остается непреложным, что творчески-созидательная сущность человека изгоняет его далеко из обширнейших пределов животного царства и обеспечивает ему то совершенно исключительное место, которое он по праву занимает в природе вещей, делает его не только равным самой природе в ее творческой мощи, но и возвышает его над нею сознательным и целенаправленным характером этой творческой мощи, отличающейся у природы вполне стихийным характером. Но человек при этом далек от самолюбования и спесивости по отношению к природе: он ни на минуту не забывает, что всей своей сознательной творческой мощью он обязан природе. Само мышление человека, сама его мыслительная способность, было бы абсолютно беспочвенным, не имей оно атрибутивных корней в природе. И тот, кто склонен думать, что, становясь социальным существом, иными словами, существом духовным, первопредок человеческого рода перестает быть существом природным, за-

крывает наглухо для себя дверь для понимания чего бы то ни было в человеческой жизни.

Человек уже хотя бы потому не имеет особых оснований кичиться своим разумом, своею мыслительною способностью, что он немало напортил в природе: созданием средств массового уничтожения людей, животных и растений, хищнической эксплуатацией природных ресурсов, истреблением целых пород животных, птиц и рыб, и изуродованием растительности, катастрофическим подчас загрязнением природной среды всяческими отходами производства, что лишний раз свидетельствует о том, что он обязан неустанно совершенствоваться и совершенствовать свой разум. А кому еще заботиться о природе в целом, как не человеку? Но для этого он должен прежде всего совершенствовать свое социальное бытие, должен раз и навсегда покончить со строем частной собственности и эксплуатации — истинным первоисточником всех зол, в том числе и уродования природы. Кардинальное значение имеет то обнадеживающее обстоятельство, что, будучи стихийным порождением природы, человек одновременно, как уже говорилось, творит себя и сам: творя новый мир в природе и обществе, иными словами, претворяя на практике, на деле, свою глубочайшую, изначальную сущность, он одновременно укрепляет себя в этой своей исконной сущности — все больше и основательнее развивает и обогащает в себе человека, все глубже и совершеннее творит из себя все более нового человека — идеального человека будущего. И это в равной мере относится как к общественно-историческому развитию и образованию человечества в целом, так и к развитию и образованию каждого отдельного человека, каждой отдельной личности.

Ясно, однако, что изначальное, коренящееся еще в их животном происхождении и в их животном начале половое деление людей не может не сказаться и на их человеческих качествах, на специфических особенностях их человеческих качеств, и эти общие в своей основе человеческие качества с неизбежностью оказываются расщепленными на две взаимно требующие друг друга половины: мужское и женское начала — мужественность и женственность. Эти чисто физические (физиологические) начала с необходимостью сказываются в душевной жизни человека, а через нее — и в его духовной жизни.

Следует различать между категориями духовной и душевной сфер жизни человека, — соответственно, между духовными и душевными явлениями. Мы с полным основанием говорим о «духовной жизни общества» и «душевной жизни человека». Но если говорить о «душевной жизни общества» — бессмыслица, то говорить о «духовной жизни человека» — правомерно. В чем же тут дело? Духовная жизнь есть обще-

ственное явление по самому своему глубочайшему существу, тогда как душевная жизнь — явление вполне и сугубо индивидуальное, невзирая на то, что сам человек, как таковой, — даже и в качестве индивидуума — явление общественное. Душевная жизнь, без всякого сомнения, имеет место и у животного, а ее элементарные зачатки, весьма возможно, и у растений. Вы, вероятно, знаете, читатель, что на вопрос о том, чувствуют ли растения, — например, боль, дается утвердительный ответ. Я полагаю, что у растений душевная жизнь сводится к чувствительности различной степени, у животных (в дополнение к ней) — к рассудочности, тоже различной степени, у людей (в дополнение к чувствительности и рассудочности) — к элементарной разумности, ибо разумность в ее развитом виде, будучи связана уже с развитой общественной природой человека, уже составляет его (человека) духовную жизнь, имеющую своей материальной основой (своей объективной основой) способ производства, а идеальным (субъективным) содержанием совесть. Очень возможно, что душевная сторона — оборотная сторона жизни как природного явления вообще, как чисто биологического что ли явления, жизни как таковой (жизни как жизни), но отличается эта душевная сторона жизни различными качествами — соответственно уровням организации живого. Душевная сторона жизни — необходимое условие ее самосохранения. Но душевная жизнь животного так же отличается от душевной жизни человека, как животное отличается от человека вообще — существа общественного. И если душевной жизнью животного занимается зоопсихология, то душевной жизнью человека — психология как таковая.

Сейчас модно говорить о социальной психологии. Но ведь психология человека не может не быть социальной, как и человек не может не быть существом общественным. Очень вероятно, что можно выделить из психологии вообще и сделать предметом специального рассмотрения те именно явления человеческой психики, которые имеют сугубо общественный характер (ведь в ней есть и явления индивидуального порядка) и которые играют в жизни человека какую-нибудь (ту или иную) особую роль, например, религиозные верования, но не следует только при этом забывать, что таким социальным характером отличается любое явление человеческой психики, даже и относящееся к сфере индивидуального.

Но хотя это и так, и душевная жизнь человека отличается от душевной жизни животного коренным, качественным образом, тем не менее в душевной жизни человека его генетическое родство с животным миром, из недр которого человек произошел, ощущается неизмеримо явственнее, чем в духовной жизни. Ибо и в последней усматривается известное генетическое родство с животным, хотя духовная жизнь по самому су-

ществу своему, повторяем, жизнь существа общественного. Ведь духовная жизнь человека проявляется в его разуме, разум же — в качестве своей необходимой предпосылки — рассудка — унаследован человеком от животного состояния, как и рассудок животного, кстати, имеет своей столь же необходимой генетической предпосылкой первоначальную чувствительность растения. Между прочим, зачатки труда и общественной организации усматриваются уже у высших животных, и они-то и обусловили рассудочную деятельность их нервной организации (головного мозга). И все же это целиком душевная и нисколько не духовная, разумеется, деятельность (поскольку речь идет о животных, пусть и высших). Духовная жизнь есть духовная жизнь общества, хотя она и проявляется в духовной жизни его членов — каждого отдельного человека. Средоточием этой духовной жизни общества и человека является разум, который имеет своим имманентным содержанием совесть, а формой — волю. Разум, стало быть, есть единство совести и воли в человеке. Что же касается собственно отражательной деятельности разума, то она коренится в рассудке. В этом плане разум есть диалектически осознанная и диалектически же преобразованная отражательная деятельность рассудка; разум есть как бы рассудок, обращенный на самое себя, мышление о мышлении. Собственно же разум есть совесть и воля.

Духовная жизнь общества объемлет его научную, художественную и нравственную деятельность. Религия, как таковая, есть извращенная духовная жизнь общества и включает в себя в искаженном виде все ее элементы — и научный, и художественный, и нравственный: это лженаука, это лжеискусство, это лженравственность. Поскольку этические принципы истинной человечности как нравственный закон жизни общества сводятся к принципу совести и ее имманентному содержанию — добру, добро же состоит не в чем ином, как в новом, идеальном мире, творимом человечеством реально на основе истины, правды и красоты, то этические принципы (о них — в заключительной главе — «Женщина и идеал»), или, что то же, нравственный закон, необходимо включают в себя научно-познавательный, художественно-оценочный и нравственно-категорический аспекты в строжайшем единстве. Но если это так, то разум, о котором мы только что говорили как о настоящем средоточии духовной жизни общества и человека, и должен быть конкретизирован как принципы истинной человечности — как нравственный закон.

Этот закон и сообщает всему человеческому нравственный характер, в том числе и душевной жизни человека: если эта душевная жизнь человека освящена нравственным законом, она нравственна, если она не освящена нравственным законом, — она ни нравственна, ни безнравственна,



если она идет вперекор нравственному закону, — она определенно безнравственна.

Конечно, безразличного в нравственном отношении нет, и если то или иное душевное состояние не освящено нравственным законом, оно тоже безнравственно, как и то, что идет «сознательно» (преднамеренно) вперекор ему, но было бы несправедливо не усматривать разницы между «сознательным» (преднамеренным) нарушением нравственного закона и нарушением его по дремучему невежеству. Рассматриваемая же сама в себе — без отношения к нравственному закону, — душевная жизнь человека ни нравственна, ни безнравственна и в этом смысле ни хороша, ни дурна, и правдивость характера так же не имеет преимуществ перед лживостью, как и прямая линия перед кривой линией. И если она (правдивость) тем не менее является нравственным правилом, то не сама по себе, но лишь постольку, поскольку она создает благоприятную душевную атмосферу для претворения человеком в своей жизни духовного принципа совести — неотъемлемого атрибута нравственного закона. Но отвечает это душевное состояние — правдивость — духу принципа совести и нравственного закона в целом лишь как правило, ибо бывают случаи, когда соблюдение этого правила не только не отвечает всему духу нравственности (нравственному закону), но и прямо противоречит ему, безнравственно (правдивое показание о своем товарище по фашистскому застенку, если оно способно ему повредить, да и о себе — тоже).

Человек, решивший жить духовной жизнью, диктуемой принципами истинной человечности, иными словами, решивший неукоснительно следовать в своей жизни духу нравственного закона, необходимо должен выработать в себе соответствующие черты характера, качества души, — именно эту цель и преследует учение о нравственных правилах (о них — в главе «Доброта»). Но эти нравственные правила потому и правила (а не принципы), что сами требуют освящения со стороны Принципов, принципов истинной человечности, и потому знают исключения и относятся они, в коренное отличие от Принципов, не к собственно духовной, но к душевной жизни человека.

Принципы же как истинное средоточие именно духовной жизни человечества не знают и не могут знать исключений, изъятий; они единый и единственный диктуемый совестью нравственный закон. Но нравственный закон имеет и может иметь только абстрактный характер, иначе он не может быть приложен ко всем и всяческим случаям жизни. И от каждого нравственно образующего себя человека требуется самый настоящий творческий подход для конкретизации принципов истинной человечности применительно к каждому данному определенному

случаю. Но такой творческий подход требует, в свою очередь, основательных знаний. Отсюда — роль науки для истинно нравственного образа мыслей и действий, о которой говорилось выше как о важном элементе духовной жизни общества. И люди, полагающие пропасть между наукой и нравственностью (они-де лежат в разных плоскостях) так же не правы, как, напротив, правы те, кто полагает такую пропасть между религией и истинною нравственностью, — поскольку вопрос ставится в принципе, разумеется.

Из сказанного ясно, что душевная жизнь женщины должна рассматриваться как оборотная сторона ее физической (физиологической) жизни, как и душевная жизнь мужчины — оборотная сторона его физиологической жизни. При этом необходимо подчеркнуть, что речь идет о душевном строе женщины и мужчины, а не о душевной стороне жизни самки и самца — представителей животного мира. Если бы не объективная общественная, трудовая, творчески-преобразовательная природа человека, то душевная жизнь его не смогла бы послужить благоприятной атмосферой для культивирования в себе духовных принципов истинной человечности, для образования группы нравственных правил и воспитания себя в них.

Мы увидим из дальнейшего, что душевная жизнь женщины, являющаяся оборотной стороной ее же физической жизни, составляет неизмеримо более благоприятную почву для воспитания ее души в нравственных правилах и, следовательно, для восприятия и претворения духовных принципов истинной человечности, для образования себя в духе нравственного закона, нежели душевная жизнь мужчины. Если же к этому прибавить то огромное влияние, какое имеет женщина благодаря своей красоте на мужскую половину человеческого рода и принять притом во внимание роль женщины в воспитании детей, воспитании, начинающемся уже с кормления грудью («не проявляй нетерпения, будь терпелив, мой милый!»), то выяснится сполна и этическое значение (этический смысл) душевного мира женщины. Вот этот удивительный сплав физического облика, душевного склада и духовного строя женщины, наидрагоценнейший сплав, выше коего и помыслить невозможно, сплав телесной красоты, душевной мягкости и нравственной (духовной, истинно человечной) высоты, мы и зовем женственностью.

Между прочим, когда мы говорим о женской мягкости, мы имеем в виду отсутствие резкости в характере женщины, резкости столь характерной для мужчины, а отнюдь не отсутствие твердости в нем. При всей своей душевной мягкости, женщина бывает весьма и весьма твердой, когда дело идет о самом важном и святом — о нравственных принципах,

принципах истинной человечности. В этом женщина, как правило, меньше склонна проявлять уступчивость, нежели мужчина, и именно благодаря особенностям своего душевного склада, столь благоприятным для образования ею себя в духе Принципов. Сам дух нравственного закона исключает какие бы то ни было компромиссы в нравственной сфере, «этический» релятивизм и оппортунизм, самомалейшие сделки с совестью: ведь не следует забывать, что собственная совесть каждого есть одновременно и совесть всего трудового человечества — прошедшего, настоящего и будущего. Этика ригористична по всему своему существу, и если она и допускает компромиссы в жизни человека, то только не компромиссы с его собственною совестью.

Мы видим, что женственность не ограничивается одним только душевным миром женщины, она включает в себя и духовность, этот душевный мир освящающая, включает в себя нравственность, то, что мы называем истинною человечностью, и потому называем ее истинною (человечностью), что далеко не все в человеке, не все человеческое, одобряется совестью; мы говорим «истинная человечность», а не «человечность» просто, с целью исключить всякого рода слабости, кои обычно тоже относят к категории «человечность». В Словаре В. И. Даля для совокупности одних только психологических свойств женщины (автор просто говорит о «совокупности свойств женщины») дается название «Женство», тогда как «Женственность», по словам автора, «относится до одних нравственных качеств женщины» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 2. С. 533). Между прочим, включая в категорию «Женственность» также и душевный склад женщины, мы имеем в виду те именно черты характера, или качества души, которые мы именуем нравственными правилами и которые в своей совокупности составляют доброту, а не всякие вообще черты характера. Иными словами, те именно душевные черты, которые освящены совестью и в свою очередь служат душевной атмосферой для образования себя в духе той же совести. Истинная человечность и есть не что иное, как идеальное совпадение единичного и всеобщего, личности и общества, человека и человечества в совести — идеальном же содержании человеческой жизни и ее же притом интимном (самом интимном) содержании. Тайна этого совпадения — в материальном процессе труда, в котором одинаково состоит как основа сущности общества, так и основа сущности каждого его члена в отдельности, — основа сущности человека как такового, как разумного преобразователя старого и творца нового мира.

Совершенно ясно, что идеал человечности как таковой, именно как абстрактный по необходимости идеал, воплощенный в нравственном за-

коне, в этических принципах истинной человечности, — идеал этот один и тот же как для мужчин, так и для женщин. Это идеал совести — добро. Принципы истинной человечности и для мужчин и для женщин всех решительно возрастов — одни и те же, равно как и нравственные правила, из них проистекающие и служащие внутренним средством для их реализации. Цель нравственности, заключенная в принципах истинной человечности, требует для своей реализации как внешних, так и внутренних средств. Внешние средства бывают материальными, когда они рассчитаны на воздействие на внешнюю природу ради достижения цели нравственности, и духовными, когда они призваны воздействовать на людей, на их духовный мир и душевную организацию ради достижения той же цели. Внутренние же средства — это душевные средства и в отличие от внешних — материальных и духовных — призваны воздействовать на самого себя, на собственную душу нравственно образующего себя человека — ради достижения той же нравственной цели. Эти внутренние, душевные средства я и называю нравственными правилами. Человек призван воспитать себя в них, чтобы образовать себя в нравственных принципах. Совершенно естественно, что душевная атмосфера для воспитания себя в этих нравственных правилах, столь необходимого для образования себя же в нравственных принципах, различна у мужчины и женщины — соответственно с особенностями их физического облика и душевного склада, как различается она и применительно к возрасту. При этом — различается не только по своей эмоциональной окраске, как можно было бы думать (женщина, как и дети, всегда изображалась как живущая по преимуществу в сфере чувства, мужчина — тоже преимущественно — как черствый рационалист), но и различается в своем конкретном преломлении, связанном с изначальным различием полов.

В свете изложенного мужественным мы называем мужчину, в физическом, душевном и духовном облике которого в наивысшей степени соединены типические черты нравственно образующего себя человека-мужчины. Женственной мы называем женщину, в физическом, душевном и духовном облике которой в наивысшей степени соединены типические черты нравственно образующего себя человека-женщины. Я говорю «нравственно образующего», а не «нравственно образовавшего» себя человека (мужчину и женщину), так как человек образует себя как человека, иначе, творит из себя человека, постоянно и неустанно, вечно, то есть пока жив, как и человечество в целом — в положительно бесконечном процессе общественно-исторического развития — в процессе творчества нового мира в старом и из старого. Остановиться в нравственном росте — значит идти вспять.

Мужественность — это человечность в мужчине, как и женственность — это человечность в женщине. Нечего и говорить о том, что мужественность и женственность не только не противоречат и не могут противоречить одна другой, — ведь и та и другая не что иное, как человечность же, — но взаимно дополняют и обогащают друг друга, а тем самым и обогащают самоё понятие человечность, сообщая ему полнокровность и всю прелесть живого, отличающегося, как известно, бесчисленными ракурсами, аспектами, нюансами, отношениями. Женщина, например, проявляющая мужество, не перестает при этом ни на одно мгновение оставаться женщиной. Соответственно, мужчина, проявляющий нежные чувства, не перестает быть мужчиной. Зато и мужество женщины и нежность мужчины отличаются вполне своеобразными оттенками, обогащая сами категории мужества и нежности: это женское мужество и это мужская нежность. И так во всем.

Не женственность противостоит мужественности, но женство мужеству, если последнему слову придать лишь тот смысл, в соответствии с которым мужество есть «совокупность свойств» мужчины, как и женство — «совокупность свойств» женщины — безотносительно к их нравственной значимости и оценке, т. е. рассматриваемых только с чисто психологической стороны. Если же под мужеством понимать нравственно значимые и нравственно положительные качества, как «стойкость в беде, борьбе, духовную крепость, доблесть, храбрость, отвагу, спокойную смелость в бою и опасностях; терпенье и постоянство», спокойную решительность в борьбе за правое дело, то они, эти мужественные качества, как мы в этом убедимся, не только не противоречат женственности, но свойственны ей в максимальной степени. Впрочем, оба значения слова («мужество») отмечены В. И. Далем в его знаменитом Толковом словаре (см.: *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 2. С. 357).

Великое мужество женщины с особенной силой сказывается во времена национальных бедствий, какова война. Даже не будучи героиней войны или героиней труда, она спокойно, как должное, испытывает лишения, с войной неизбежно связанные, и поистине беззаветно исполняет свою специфическую женскую роль, роль уже героическую самое по себе, — материнскую роль. Об этом «будничном» мужестве женщины красноречиво сказано у столь же самобытного поэта, сколь и выдающегося математика:

Я мысленно за то краснею,
Что многого я не ценил.
Ты мне сейчас вдвойне роднее,
Вдвойне твой образ нежный мил —



За то, что знала ты лишенья,
Что стала у́же ты в плечах,
За все, что расстилалось тенью
И клало на лицо печать...

(Неопубликованное стихотворение).

Пытаясь поближе разобраться в существе женственности как человечности в женском существе, мы прежде всего обращаемся к такой характерной и прямо бросающейся нам в глаза черте, каково изящество, чисто женское изящество, к которому обязательно примешивается некоторая доля кокетливости, которая так идет женщине, делает ее особенно желанной, милой и прелестной. Это изящество сказывается одинаково как в ее внешнем, так и внутреннем облике — как полная соразмерность ее физической и духовной природы. Скажут, что изящество — счастливое и отнюдь не всегда свойственное женщине качество, что оно в решающей мере предопределено законами наследственности, и потому оно не может рассматриваться как неотъемлемая черта женственности, каковыми являются все остальные ее черты, о которых ниже. На это можно и до́лжно возразить, что все должно браться в сравнении, а если речь идет о женщине, — то, естественно, в сравнении с мужчиной. И если мы подойдем к делу с этой, единственно правильной точки зрения, то должны будем признать, что в подавляющем большинстве случаев женщина все же «изящнее» мужчины, если это слово («изящество») применить и к нему. На самом деле изящество — такая же монополия женщины — при всех бесчисленных градациях этого качества, как и воинственность — мужская монополия. Недаром мир изображается на всех художественных полотнах мира исходящим от женщины, как и война — от мужчины. И игрушки, совершенно не подходящие для девочек, поражают воображение мальчишек — там куклы, здесь ружья.

К неотъемлемым чертам женственности относятся покоряющая нежность женщины, проявляющаяся решительно во всем, к чему бы она ни прикоснулась; специфически женская стыдливость, без коей женщина теряет изрядную долю своего обаяния; женская любовь, хотя и имеющая преимущественно ответный характер, но отличающаяся зато верностью, постоянством и беспредельною преданностью; великое чувство материнства, заложенное в женщине с момента ее появления на свет, уже в самом факте ее телесной организации, чувство, развивающееся в ней вместе с созреванием ее физического и нравственного существа и придающее ей на всех решительно стадиях ее развития единственно ей присущее, как женщине, очарование; наконец, женская доброта,



в которой в наиболее яркой форме проявляется женская человечность, доброта души, составляющая столь благоприятную почву для образования женщиною себя в этических принципах истинной человечности и воспитания ею себя в нравственных правилах.

Нелишне напомнить, что нравственные правила выступают относительно принципов истинной человечности, как средство относительно цели, и в отличие от внешних средств, применяемых человеком для реализации нравственной цели, материальных и духовных, нравственные правила являются внутренними, или душевными, средствами. Если принципы истинной человечности составляют в своей совокупности (лучше: целокупности) нравственный закон — закон духовной жизни людей, то нравственные правила относятся не к собственно духовной жизни человека, но к его душевному строю, призваны так организовать душевную жизнь человека, чтобы она обеспечивала ему необходимую душевную чистоту, без которой немыслимо претворение им в своей деятельности принципов нравственности — принципов истинной человечности.

Не приходится доказывать, что все перечисленные нами черты женственности не отгорожены одна от другой Китайской стеной, напротив, все они между собою связаны и друг в друга проникают, взаимно обогащают друг дружку, и если мы в дальнейшем изложении будем рассматривать их по отдельности, то единственно с тем, чтобы получше разобраться в их совокупном целом — в той разновидности человечности, которая воплощена в женском начале человеческого существа.

Уже из сказанного явствует, что женственность — чисто человеческое явление, не имеющее аналогий в животном мире, но имеющее в нем корни: в самом факте различия и разделения полов. Но было бы явной несправедливостью в отношении к нашим младшим братьям — животным нацело отрицать и у них различия в характере самцов и самок, половыми различиями обусловленные, если мы и вовсе не склонны отрицать психологию у животных — зоопсихологию. Нет надобности доказывать, что психология различных видов животных и птиц отличается особенностями, но при всех этих особенностях у всех решительно видов животных и птиц наблюдаются различия между психологией самцов и самок. Кто может отрицать, что, как правило, самцы более воинственны, а нередко и просто драчливы, тогда как самки мягче, ведут себя скромнее, кто может, далее, отрицать явные различия в их отношении к потомству и т. д. и т. п. Короче говоря, и в животном царстве половые различия накладывают отпечаток на их носителей, как накладывают его и на их физическую организацию. Да иначе и быть не может: не только человек, вопреки Ламетри, не машина, но машиною нельзя признать и животное, пусть даже это будет самое «простое»,

самое «примитивное» животное и пусть даже это будет самая «умная» из электровычислительных машин. Животное, безусловно, думает, скажем, ищет и находит применительно к обстоятельствам самые лучшие пути и средства для самозащиты, для спасения своей жизни, и не только своей, но и жизни своих детенышей. А кого из нас не поражают дельфины с их дружелюбным отношением к людям, с их необыкновенной для животных смышленостью? И все же как нельзя отождествлять разум человека и рассудок животного, точно так же нельзя отождествлять женственность или мужественность с особенностями психологии самки или самца. Но отсюда напрашивается сам собой вывод: так же как нельзя полагать пропасть между разумом человека и рассудком животного, так же нельзя полагать пропасть и между женственностью и мужественностью, с одной стороны, и соответствующими психологическими различиями между полами в животном мире, — с другой. Одно эволюционировало в другое, приобретя в процессе эволюции неизбежное «новое качество».

Да и сама человечность, половой разновидностью коей является женственность, немыслимая у животных, не отгорожена все же от наблюдаемого у них глухим забором, о чем будет говорено на своем месте (в главе «Доброта»). И далеко, разумеется, не случайно эти факты самоотречения у животных, названного мною простым самоотречением, в отличие от нравственного самоотречения у человека, наблюдаются главным образом у самок в их отношении к своим детенышам.

Как бы там ни было, но в любом развитии, естественным образом совершающемся, есть и непрерывность, выражающаяся в преемственности, и прерывность, выражающаяся в возникновении нового. Это диалектическое положение сохраняет, конечно, свою полную силу и в отношении процесса органической эволюции, приведшего к возникновению человека, а следовательно, и женственности.

Лелеющие душу образы женственности сохранили для нас чудесные терракотовые статуэтки из Танагры в Древней Греции (илл. 10). Надо считать большой удачей человечества, что эти хрупкие статуэтки из особым образом обожженной и обработанной глины сохранились до наших дней, и надо считать большой для нас национальной честью, что именно Государственному Эрмитажу в Ленинграде принадлежит столь солидная коллекция терракот. Танагрские миниатюрные статуэтки (их высота, как правило, не превышает 20–30 сантиметров) вызывают восхищение, столь красноречиво высказанное таким замечательным знатоком женского изящества, каков знаменитый французский скульптор Огюст Роден: «В Танагре, — писал он, — есть женственность. Скромная грация задрапированного тела, скрывающего душу, нюансы, которые

не выразить простыми словами». Эти слова очень удачно и очень справедливо взяты в качестве эпиграфа к прекрасному альбому «Терракоты Танагры», выпущенному в свет издательством «Советский художник» в Ленинграде в 1968 г. Я не могу отказать себе в удовольствии воспроизвести здесь несколько статуэток из этого альбома. «Сидящая женщина с диптихом». Сколько естественной простоты и непринужденности во всей ее грациозной фигуре (илл. 11). Величавое спокойствие и безмятежность, разлитые на ее милом лице и отраженные во всей ее фигуре, невольно передаются и нам, на нее смотрящим. Всем своим обликом она как бы говорит людям: в жизни много хорошего, заманчивого, и жить, ей-ей, стоит! Радость бытия — вот лейтмотив этой светлой женской фигурки. А вот фигурка стоящей женщины с веером (илл. 12). Невозможно обнаружить в ее осанке и тени искусственности, напряженности, рисовки. Она стройна, изящна, исполнена естественного достоинства женщины, нисколько, впрочем, не подчеркнутого, но угадываемого по одной только осанке и выражению лица. В задумчивой позе сидит танцовщица (илл. 13). Чистоту линий ее лица словами не выразишь — духовная красота сказывается в каждой его черте, глубокая женская серьезность — во всем облике. Щемящей женственностью веет на нас и от всей фигуры потупившейся и застывшей в скромной позе девушки.

Мы выбрали лишь несколько из большого числа хранящихся у нас танагрских женских статуэток. Но все они отличаются какой-то потрясающей обыденностью и скромностью. Их авторы, к сожалению оставшиеся неизвестными, как бы задались целью показать самую обыкновенную женщину, женщину как женщину, единственно в ее ореоле женственности. Любопытно, что драпировка не только не скрывает от нас гармоничного строения женских фигур, столь разных, но в то же время одинаково прекрасных, но оставляет воображению место самому дорисовать его. Во всяком случае она не только не тяжелит, но и неназойливо как бы оттеняет легкость самих фигур. Это заставляет думать, что женщины Танагры знали вкус в одежде. Будучи красивыми, они красиво же и одевались. Автор вступительной статьи к альбому Г. Д. Белов приводит свидетельство греческого философа и писателя Дикеарха, писавшего о танагрских женщинах: «Фигурой, походкой и ритмом своих движений это были самые изящные женщины во всей Греции... голос у них был полон самого пленительного очарования». «Другой древний автор, — продолжает Г. Д. Белов, к сожалению, не называя его, — высказывает свое мнение еще более откровенно: "Дурно воспитанную женщину узнаешь тотчас на улице по ее неуклюжей походке. Кто мешает ей быть грациозной? У нас нет на это никакого налога, и это не покупается ценою денег; кто обладает этим пре-

имуществом, тем это делает честь, а они в свою очередь доставляют этим удовольствие прохожим: всякий, кто не дурак, должен стараться доставить себе удовольствие". Приведенных высказывании достаточно, чтобы убедиться, что ценилась не столько природная красота, сколько воспитание, женственность и изящество. Этот идеал нашел свое выражение в танагрских терракотах» (*Белов Г.Д.* // Терракоты Танагры. Л., 1968).

Несколько особняком среди воспроизводимых нами стоит еще одна танагрская статуэтка, на которую мне хотелось бы обратить ваше внимание, читатель. Особняком она стоит в том смысле, что изображает уже не обыкновенную женщину, но Афродиту и Эрота, и тем еще, что она почти не задрапирована, представляя богиню почти целиком обнаженной. Однако вглядитесь в ее лицо и скажите, чем она отличается от только что рассмотренных нами? (илл. 14). Ее обыденность, даже будничность, самой обыкновенной женщины из народа подчеркивается уже тем привычным жестом, каким она причесывает свои волосы. Но в этом усматривается нами и самая настоящая и покоряющая женственность. Между прочим, я видел на пляже удивительно похожую на эту «богиню» и лицом и осанкой девушку, но в отличие от нее наша девушка была в купальнике и не стояла, а сидела на берегу Москва-реки, к ней боком: она таким же в точности жестом правой руки причесывала свои длинные волосы, придерживая их на отвесе вытянутой левой рукой. При это волосы тоже очень схожие (прямые) у обеих женщин. Поэтому не оставляет никаких сомнений тот факт, что и в этом образе богини художник творчески претворил идеал женственности, навеянный ему вполне реальным женским существом.

Но было бы неправильным, когда речь идет о женственности, сбрасывать со счетов и то, что есть в ней от природы пола, без чего, как говорилось в самом начале, нет женщины как таковой. И эти признаки пола, имеющие своим первоисточником нашу всеобщую прародительницу природу, тоже в социально преобразованном виде отложились в сознании женщины, и тоже входят в тот редкостный сплав, который мы именуем женственностью. И существо женственности не было бы для нас исчерпывающе ясным, если бы не отметили в нем те именно черты, которые делают женщину источником вожделения для мужчины, вожделения, столь необходимого для продолжения рода. Именно эту сторону дела, как мне думается, имел в виду уже называвшийся нами прославленный французский скульптор Фальконе, создавая свою маленькую мраморную скульптуру «Флора» (илл. 15). Женщина сидит перед нами в откровенно соблазнительной, смелой и, я бы даже сказал, вызывающей позе, как бы отринув на момент свою природную женскую стыдливость, и всем своим спокойно-горделивым видом как бы говоря: Я — мать всего рождающегося.



Мотив огромной и стихийной, я бы сказал, первозданной, сродни с природой, живородящей мощи, таинственно заключающейся в хрупком существе женщины и столь же таинственно сочетающейся с ним, выразил нарочито гротескно Рокуэлл Кент в литографии «Шарлотта», принесенной им в дар в числе более девятисот произведений Советскому государству. Слов нет, художник хотел показать контраст между торсом женщины (даже грудь скорее напоминает вымя) и нежным дышащим женственною юностью лицом. Возможно, что натура давала повод к такому изображению. Но объективный смысл произведения, на мой взгляд, именно и состоит в той трактовке, которую мы здесь ему даем. Ведь в каждой женщине, какой бы изящной она ни была и как мало походила бы на «Шарлотту» внешне, заключена эта стихийная мощь природы, выраженная художником в сильных и призывных бедрах женщины (илл. 16).

Сознание своей великой роли в физическом и нравственном благосостоянии человечества, в деле самого продолжения рода человеческого, сознание того, что она безмерно нужна людям, нужна своему мужу, нужна своим детям, нужна своим родителям, сознание того, что своим телесным и духовным обликом она вносит истинную поэзию в человеческое существование, — это гордое сознание пронизывает собою все собственное существование женщины и тоже накладывает свой неизбежный отпечаток на самоё природу женственности. Если в понятие «человечность» вкладывается высоконравственное отношение ко всему, то «женственность» как «человечность» включает сверх того и законную гордость от сознания нетленной красоты, вносимой в человеческую жизнь Женщиною — прекрасной половиной человеческого рода.

Таким образом, женственность выступает перед нами как драгоценнейший сплав природности, социальности и человечности: она — продукт природы, продукт общества и, главное, продукт самой женщины, продукт ее собственной творчески-преобразовательной человеческой способности, ибо она в значительной мере такова, каковой женщина сама себя сделала. Без любого из этих компонентов, в ней претворившихся, женственность была бы положительно невозможна: без природы, наделившей ее всеми признаками пола; без общества, сделавшего ее человеком, творчески-преобразовательным существом; без осознанной творчески-преобразовательной деятельности над самой собой, над собственным сознанием, сделавшим ее реально-духовным существом, существом внутренне, духовно, нравственно свободным, сознательно и намеренно преобразующим всего себя — и физически и душевно в духе нравственного закона — истины, правды и красоты.

Изящество

У Ивана Алексеевича Бунина есть очень печальный и глубоко лиричный и вместе, я бы сказал, изысканно изящный рассказ. Его героиня шестнадцатилетняя гимназистка красавица Оля Мещерская трагически окончила жизнь. Ее застрелил из ревности казачий офицер после того, как она показала ему свой дневник, из которого явствовало, что ее соблазнил пожилой человек, друг ее отца и брат ее классной дамы. Очень возможно, что смерть эта была формой самоубийства, так как в дневнике говорилось: «Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! <...> Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне одни выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!..»

В том же рассказе повествуется о том, как могилу Оли Мещерской (в который уже раз!) посетила ее бывшая классная дама, сестра соблазнившего девушку человека, молодая незамужняя женщина. Она сидит на скамье у ее могилы, «сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и руки в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской?»

И вспомнилось ей (и тоже в который раз!), как однажды она подслушала разговор Оли Мещерской со своей подругой о признаках женской красоты. Это было на большой перемене в гимназическом саду. «Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

— Я в одной папиной книге, — у него много старинных, смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понима-

ешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, — ей-богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, — понимаешь, длиннее обыкновенного! — маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, — я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре», — этими словами заключается рассказ.

Любопытно, что несмотря на всю хватающую за душу печаль этого рассказа, он не лежит на ней камнем, бессмертно сияющие глаза девушки делают самоё эту печаль светлой, умиротворенной: красота девичья побеждает смерть!

Что же касается до описания женской красоты, содержащегося в «папиной книге», так увлекшего девочку, мы имеем в виду признаки такой красоты, вычитанные ею в этой запомнившейся ей книге, то в нем каждый без особого труда подметит сильный отпечаток безнадежной субъективности и даже, если хотите, вульгарности: одни «кипящие смолой глаза» чего сто́ят!

Дело, конечно, не в цвете глаз, а в их одухотворенности, а что касается остальных признаков, то и их красота может быть оценена лишь в сочетании с остальными и с целым тела женщины. Тициан, например, умел сообщить изящество и полным женщинам (здесь же «тонкий стан»), о чем наглядно свидетельствует его «Венера перед зеркалом». Сами по себе, взятые по отдельности, признаки эти ни красивы, ни безобразны. Только в единстве целого выявляется мера красоты каждого из них. Но даже и в своем счастливом сочетании в одном и том же женском существе признаки эти, как это ясно каждому, не могут претендовать на сколько-нибудь исключительное значение: красота женщины, как и красота вообще, так же многообразна, как и все живое, она положительно бесконечно разнообразится от человека к человеку и ускользает от любых попыток ее кодификации. Тем более, что одни перечисленные внешние признаки красоты остаются пустым звуком, если не увязываются с красотой души женщины, и с ее духовной красотой. Автор, характеризуя красоту героини рассказа Оли Мещерской, ограничивается лишь самыми общими, я бы сказал даже, скупыми внешними чертами, отдавая себе, конечно, ясный отчет в том, что любое уточнение в этом смысле будет походить на трафарет «папиной книги»: «Девочкой она



ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких... Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. <...> Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, — изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... <...> Незаметно стала она девушкой и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, <...>» (*Бунин И. А.* Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1966. Т. 4. С. 355–360).

В этом портрете, как мы видим, писатель сосредоточивается на душевных качествах девушки, хотя и вовсе не склонен отрывать их и от ее физического облика, и портрет этот, хотя и данный нами в извлечениях, и в самом деле рисует нам девушку незаурядной красоты, впечатление о которой беспредельно усиливается сказанным о «бессмертно сияющих» ее глазах и о ее «чистом взгляде». И если прибавить к этому и самоё «легкое дыхание», которое, несомненно, было ей свойственно, в котором также сказывается внутренняя гармония ее души, то образ истинно красивой женщины встает перед нами во всей своей яркости. Надо сказать, что это «легкое дыхание» как компонент женской красоты и в самом деле очень тонко подмечено в «папиной книге». В нем-то, вероятно, по мысли автора, все частности женской индивидуальности обретают единство. Резкое, слышимое дыхание, без всякого сомнения, вносит диссонанс в гармонию красоты женского существа.

Как бы то ни было, но лейтмотив всего рассказа, включая и синодик признаков женской красоты, содержащийся в «папиной книге», — столько же очевиден, сколько и бесспорен: женщина и красота неразрывны. Женщина должна быть красива. Это разумеется само собой. Таково глубокое убеждение и Оли Мещерской, и автора «папиной книги», и самого писателя И. А. Бунина. «Женская красота» представляется категорией самоочевидной, не нуждающейся в специальном обосновании.

И в самом деле, изящество всегда считалось счастливой принадлежностью и прелестной прерогативой женского существа, и оно в одинаковой мере, хотя и в различном роде, характеризует и девочку, и девушку, и женщину. При этом изяществом отличаются не только женское лицо и женская фигура, изяществом отличаются и манеры женщины и вообще все ее поведение. Но до такой степени в ней слито и то и другое — и изящная внешность и изящный, как в старину говорили, ангельский нрав, что мы нередко по первой судим и о втором и в Прекрасной незнакомке,

нам случайно повстречавшейся, по одной только фигуре заключаем о таящихся в ней сокровищах духа. Я не оговорился: именно по фигуре, и не по выражению лица даже, так как лица ее мы сейчас вовсе и не видим, — женщина идет впереди нас и чуть-чуть левее от нас, — по ее трогательной шее и волосам, по ее плавной походке, по ясному спокойствию, которое она, как кажется, сообщает окружающей ее только-только еще пробудившейся весенней природе, по невыразимой одухотворенности всей ее изящной фигурки мы безошибочно судим о девической чистоте столь счастливо встретившегося нам юного женского существа (илл. 17). Ибо даже мимолетная встреча с таким существом — истинное счастье, не правда ли? Ибо уже одним только тем, что оно живет на свете, даже оставаясь нам незнакомым, оно, понятно, не ведая того, необыкновенно облагораживающе действует на нашу душу, трогает и заставляет звучать в ней лучшие струны. Нетрудно, конечно, понять, что за этим внешним спокойствием повстречавшейся нам девушки скрыта интенсивная деятельность души, — ведь она не может оставаться равнодушной и зову пробудившейся в ней и в природе весны, но эту смятенность духа вы скорее угадываете, чем осознаете, — по трогательно и беспомощно и чуть-чуть удивленно опущенной кисти правой руки. Вот эта гордая выдержка, удивительный такт и необыкновенная сдержанность в выражении своих чувств, не позволяющая им рваться наружу и, кстати, уродовать строгую красоту девичьего лица и манер, — тоже характерная особенность чисто женского изящества.

Есть что-то трогательно беспомощное и во всей фигуре женщины (и девочки и девушки) — сравнительно с мужскою фигурою. И эта трогательная беспомощность женской фигуры как в состоянии покоя, так и в состоянии движения, более всего угадывающаяся со спины, также составляет элемент чисто женского изящества. Этот элемент с переливом изящества в нежность оборачивается неодолимою силою женщины: трогательная беспомощность составляет особое очарование женщины. Все мы называем женщин прекрасным полом и слабым полом. Но если первое определение представляется вполне бесспорным, ибо женщины и в самом деле — живое олицетворение всего, что есть прекрасного в человеческом существе, то второе нуждается в уточнении. Не отрицая, что женский пол и в самом деле представляется слабым сравнительно с мужским, слабым прежде всего в физическом смысле (грубая сила — не женская привилегия), а также в смысле отрицательных сторон душевного склада (жестокость, например, не в женских правилах), следует вместе с тем прибавить, что в этой слабости пола состоит и его сила. Кто в состоянии отрицать совершенно исключительную роль женской нежности в жизни человека, в особенности в его нравственной жизни, но такая нежность была бы не-

возможна в женщине, не будь она представительницей именно «слабого» пола. «Слабость» женского пола является на самом деле его силой еще и потому, что составляет, как мы видим, особенность, одну из особенностей чисто женской красоты. Красота же женщины — несомненная и поистине необоримая сила, эталон всякой красоты, красоты как таковой — составного элемента (наряду с истиной и правдой) идеала добра.

Изящество включает стройность фигуры (стана) и плавность движений. Если первую можно условно назвать гармоничностью, то вторую — грациозностью. Гармоничность означает полную (идеальную) соразмерность органов и их частей в организме, пропорциональное сложение, производящее художественное (музыкальное) впечатление стройности. Грациозность означает такую же художественную соразмерность, но выраженную в движениях, соразмерность, сообщающая им легкость и непринужденность, гармоническое, чтобы не сказать, адекватное соответствие каждого движения вызвавшему его напряжению сил. Между прочим, такое адекватное соответствие между напряжением сил и положением тела угадывается в нем и в том случае, когда оно находится в состоянии покоя, ибо в нем усматривается возможность при соответствующем изменении в напряжении сил занять другое положение, изменить данное положение на другое, т. е. прийти в движение. Так гармоничность незаметным образом превращается в грациозность, как они только что были определены. Грациозность можно было бы охарактеризовать как гармоничность в динамике, тогда как гармоничность — как грациозность в статике. И то и другое — удел живого.

Соответственно изящество можно было бы определить как художественную соразмерность гармоничности и грациозности, стройности фигуры и ее движений, если бы с такой соразмерностью мы не встречались уже у животных. В самом деле, кто из нас не восхищался на редкость красивой лошадью или ветвистым оленем, одинаково отличающимися как завидной стройностью фигуры, так и поразительной плавностью движений? При этом гармоничность и грациозность отличают их (лошадь и оленя) не только в пору зрелости, но проявляются в них своеобразным и щемяще трогательным образом и в раннем «ребячьем» (младенческом) возрасте, чего нельзя сказать о человеческом дитяти. А разве в царстве рыб или в царстве птиц мы не наблюдаем такой же гармоничности в строении их тел, как и грациозности в плавании или полете? Кстати, само выражение «плавность» движений (в том числе и «плавность полета» у пернатых) разве не взято из мира рыб? Но мы не прилагаем к представителям животного мира эпитета «изящный», хотя о «красоте» мы бесспорно говорим применительно к ним. Но о красоте мы говорим

— и, конечно, совершенно справедливо — и применительно к представителям растительного царства и даже к неорганической природе. Кстати, мы нередко говорим «изящный цветок» («изящный закат» мы никогда не говорим), но в том случае, когда цветок этот нарисованный и выступает перед нами одухотворенным творческим воображением художника, объективный же, сам живой цветок красив (не изящен) за исключением разве того случая, когда он преднамеренно выведен человеком и тем самым опять-таки им одухотворен. Но и в этих случаях об «изяществе» мы говорим вполне метафорически, ибо хотя животное наделено душевной организацией, оно лишено, разумеется, организации духовной.

Следовательно, будучи необходимым компонентом изящного, такая чисто физическая соразмерность гармонического и грациозного не представляется еще достаточной, чтобы можно было говорить о наличии изящного. Собственно изящное внутренне и необходимо связано с духовным, поэтическим, оно принадлежность мыслящего и нравственного существа, исключительная принадлежность человека. Истинно изящное, кроме художественной соразмерности гармонического строения фигуры и ее грациозного движения предполагает — и это главное — еще и художественную же соразмерность внешнего и внутреннего облика человека, художественную соразмерность физического и духовного склада. Но такую истинно художественную соразмерность мы в человеке наблюдаем преимущественно в женщине. И изящество как таковое составляет, как уже говорилось, естественную привилегию женского существа.

Истинное изящество сообщает всему облику женщины гармонию и грацию, пронизанные светом истинной человечности, овеянные поэтической одухотворенностью и так же далекие от одной лишь физической, пусть даже и художественной (производящей художественное впечатление) соразмерности стройности фигуры и плавности ее движений, как человек далек от животного царства. Если бы оно (изящество) и в самом деле ограничивалось чисто физической стороной, то его можно было бы измерить по многобалльной системе: например, изящество головы (складывающееся, скажем, из изящества ее формы, изящества волос, овала и черт лица) = (равно) стольким-то баллам, шеи — стольким-то, плеч — стольким-то, и т. д. Очень легко было бы составить себе представление о сумме баллов, составляющей изящество той или иной женщины, и сравнить ее с соответственной суммой баллов любой другой и таким образом установить их сравнительную красоту («изящество»). Но так, вероятно, можно было бы еще подойти к животному (одного и того же вида, разумеется), но только не к человеку. Впрочем, я и такую вероятность исключаю, если принять в соображение сказанное выше о

многообразии живой красоты и бесчисленных сочетаниях ее элементов (признаков). Изящество же в собственном смысле, повторяем, предполагает одухотворенность, которой животное лишено по природе, одухотворенность, сказывающуюся, первее всего, в лице человека, в способности человеческого лица улыбаться, а также отражать малейшие нюансы переживаний человека, сказывающуюся, кроме того, в тончайших модуляциях его голоса. О роли улыбки для определения красоты лица человека очень тонко и в то же время очень верно подметил великий художник и поэт, я бы сказал, великий артист и знаток души человеческой и души женской в особенности, Иван Сергеевич Тургенев. Если улыбаясь, писал он, лицо человеческое не становится ни лучше, ни хуже, — оно посредственно; если улыбаясь, оно становится хуже, считай его безобразным, уродливым; если же улыбаясь, оно становится еще лучше, — оно по-настоящему красиво. А уж Тургенев разбирался, как мало кто другой, в красоте вообще, человеческой красоте в частности и красоте женской в особенности. Недаром так волнуют нас «тургеневские девушки». И будут волновать людей всегда.

Невозможно переоценить нравственное воздействие, оказываемое красивым лицом женщины. Достаточно порой бывает одного ее взгляда, чтобы, как говорят, поразить порок в зародыше. И кто в состоянии отрицать, что именно человеческая одухотворенность сообщает женскому лицу и женскому взору необычайную прелесть и необыкновенную силу. Сочетание властности и нежности в одно и то же время — едва ли не главный секрет очарования прекрасного женского лица. Разумеется, что красота лица женщины столь же многообразна, как и все красивое в жизни — мало того, оно разнообразится положительно бесконечно от народа к народу, от поколения к поколению, от человека к человеку, но всегда и неизменно оно носит на себе печать высокой одухотворенности. Каждому в жизни посчастливилось видеть немало красивых женских лиц, но особенную ценность представляют для нас свидетельства больших художников, увековечивших для нас в своих портретах невыразимое обаяние прекрасного женского лица. Нет, я не оговорился: именно в своих портретах, так как в портретах прекрасных женщин, ими написанных или изваянных, столько же внушено самими этими женщинами, послужившими для них натурой, сколько и собственным представлением художника об идеале красоты, и портреты эти представляют для нас совершенно исключительную ценность, так как позволяют нам, что называется, воочию лицезреть эту одухотворенную женскую красоту, постигнутую вдобавок творческим воображением художника, следовательно, идеально обогащенную им. Женская красота выступает перед нами одухотворенной вдвойне.

Из многочисленных женских портретов замечательного русского портретиста начала прошлого века Ореста Кипренского я воспроизвожу здесь лишь два: это портрет Н. В. Кочубей и портрет А. А. Олениной. Кстати, обеими этими женщинами в разное время был сильно увлечен А. С. Пушкин. А это портрет жены Пушкина Наталии Николаевны работы А. П. Брюллова. Все три женских лица поистине прекрасны, на них можно смотреть и смотреть, не отрываясь, но как же они и разительно разны! Во всем облике Н. В. Кочубей доминирует властность, гордое сознание неотразимости своей красоты (илл. 18). В облике А. А. Олениной, — напротив, мягкость и теплота (илл. 19). В облике Н. Н. Пушкиной отмечается прежде всего мечтательная нежность (илл. 20). Не менее выразителен и детский скульптурный потрет работы С. Т. Коненкова «Ниночка». И ее лицо, хотя и по-детски, но в высшей степени по-человечески одухотворено. Одухотворенность отличает всякое человеческое лицо и в любом возрасте — в особенности же прекрасное женское лицо — до такой степени, что можно смело сказать: без одухотворенности нет человека, без одухотворенности нет женщины (илл. 21).

Ясно, возвращаясь к нашей теме, что красота человеческого существа должна отличаться от красоты животного. И если у животного дисгармоничность и неграциозность выражаются в нестройности телесных форм и неплавности движений, то почему и у человека они должны выражаться в этом же одном и единственном отношении?! Не логичнее ли будет предположить, что в человеке отсутствие красоты выражается также и в нарушении главной для него соразмерности, специфично ему присущей — соразмерности физического и духовного облика.

Таким образом, изящество и красота — вовсе не одно и то же. Красоту мы встречаем в животном мире и очень даже не редко, и не только в органической, но, как говорилось, и в неорганической природе. Изяществом же отличается красота человека и преимущественно, понятно, красота женщины. Изящество может быть определено как одухотворенная красота и встречается оно, к слову сказать, не так уже часто. Изящество как поэтически соразмерное единство физического и духовного «я» в человеке — в большой мере дело его собственных рук, собственных усилий по пути интеллектуального, эстетического и морального самосовершенствования, хотя ясно совершенно, что это больше (и неизмеримо больше) относится к духовному облику человека, нежели к его физическому облику. Было бы вместе с тем грубо ошибочным предполагать, будто человек и вовсе не властен над своим физическим обликом: вполне от него зависит заниматься ежедневной гимнастикой, следить за своей фигурой, осанкой, физической опрятностью, как и многое, многое другое, чем пренебречь решитель-

но нельзя без того, чтобы не утратить совершенно элементов физической красоты, данных ему от природы и, напротив, соблюдение чего безмерно способствует приобретению, умножению и развитию таких физических качеств. Сказанным лишний раз подчеркивается одухотворенный характер всяческого человеческого и в частности женского изящества.

Одухотворенность сказывается во всем облике женщины: в нежном овале ее лица, в необыкновенной плавности линий ее фигуры, в упругости и гибкости ее тела, в бархатистости и эластичности ее кожи, в мелодичности и серебристости ее голоса, в мягкости ее манер, в ее пленительной улыбке, в ее пластических движениях и даже в ее легком дыхании, столь счастливо подмеченном Буниным. Главнее же всего, понятно, эта одухотворенность сказывается в чудесном взоре женщины, в ее дивных глазах. Недаром говорится в народе, что глаза — это зеркало души. «Ее глаза» вдохновили А. С. Пушкина на одно из самых лирических его стихотворений (1828 г.).

Ее глаза

Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей;
Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.:
В 10 т. М.; Л.: 1950. Т. 3. С. 65).

Как поясняется в примечании к этому стихотворению, «стихи являются ответом на стихотворение Вяземского “Черные очи”, где воспевались глаза А. О. Россет. Пушкин пишет о глазах Анны Олениной» (См.: *Томашевский Б. В.* Примечание. // А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л.: 1950. Т. 3. С. 489).



«Ее глаза» вдохновили дореволюционного композитора Б. А. Фитингоф-Шелль («Какой задумчивый в них гений» — отрывок из стихотворения — для голоса с ф-п., СПб., Битнер, б. г.) (См.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: 1974. С. 54).

Мы решительно не представляем себе изящную женщину с невыразительными глазами, как не представляем ее себе с неправильными чертами лица, с угрюмым его выражением, с угловатой фигурой, с несобранными или суетливыми движениями, как не можем представить ее себе и с хриплым, низким или грубым и резким голосом, с шероховатой и вялой кожей. Не представляем ее себе и без красивых, мягких, отливающих матовым блеском и обрамляющих лицо волос, без красивого лба, носа, красивых бровей, ресниц. Но мы одинаково не представляем ее себе и с угловатыми, тем более резкими манерами. Я не говорю уже о том, что образ изящной женщины никак не вяжется в нашем представлении с образом женщины, позволяющей себе безнравственный поступок.

Скажем прямо: безнравственной женщины не бывает, как не бывает безнравственного человека вообще. Безнравственным бывает лишь поступок. Человек — по природе существо, способное к безграничному самосовершенствованию — пока жив, разумеется. И потому нельзя отождествлять человека не только с данным определенным безнравственным поступком, но и со всею суммою таких поступков, им доселе допущенных. Но если нельзя говорить о человеке, что он, допуская безнравственный поступок, безнравствен, то можно и до́лжно говорить, что в данный определенный момент, совершая безнравственный поступок, он находится (пребывает) в состоянии безнравственности. Не говорите, что здесь приложима поговорка «что в лоб, что по лбу», ибо негоже смешивать свойство какой-либо вещи и ее состояние. Если я говорю «безнравственный человек», то я приписываю ему это свойство — безнравственность, тогда как на самом деле он находится лишь в состоянии безнравственности, из которого он может выйти совершив нравственный поступок. Кстати, этот нравственный поступок будет состоять прежде всего в исправлении ранее допущенного безнравственного поступка, если это еще возможно, понятно. Если бы безнравственный поступок делал человека безнравственным, как это нередко себе представляют, т. е. наделял бы человека свойством безнравственности, то совершивший его человек не был бы и вовсе способен на нравственные поступки. Следует вместе с тем всегда помнить, что безнравственный поступок, допускаемый человеком, в условном смысле вечен: никакое время не в силах сделать бывшее не бывшим. И это должно быть признано очень важным предостерегающим мотивом для человека, решившего раз и навсегда следовать во всем безусловным повелениям

собственной совести — совести всего трудового человечества, а значит, и всего человечества эпохи.

Представление о женском изяществе обязательно связано с представлением о высокой нравственности.

Следовательно, нет изящной женщины, в которой красота фигуры не слилась бы с красотой духа, — не слилась бы, понятно, вполне своеобычным и самобытным образом, своеобразным в высшей степени — применительно к возрасту женщины и к ее индивидуальным особенностям, которые, конечно, неисчислимы, не поддаются ни малейшему учету. И кто в состоянии измерить такое изящество?!

Специфически женское изящество (а это и есть специфически человеческое изящество: «изящный мужчина» — ирония) находит свое особенное выражение в каждом из решающих возрастов женщины: в девочке-ребенке, в девочке-подростке, в девушке, в женщине — любимой и любящей, в женщине-матери. Короче говоря, это чисто женское изящество представляется органичным в женщине, присуще ей едва ли не с рождения (даже в колыбели девочку оно отличает сравнительно с мальчиком), хотя и раскрывается это изящество женщины вместе с ее ростом — и физическим и духовным. Коротко говоря, изящество как таковое вполне неразрывно со всем существом женщины — именно как женщины. Дело не меняется от того, что красивых женщин мы встречаем не так уже часто, как раз напротив — очень даже редко. Вопрос ставится по сущности, и иначе как по сущности его и ставить нельзя: если существует красота в мире человека, то это красота женщины. При этом речь идет, понятно, о настоящей, живой, полнокровной красоте — красоте телесной, душевной и духовной в одно и то же время. Такую чисто женскую красоту мы и именуем изяществом. Для мужчины достаточно не быть уродом — в физическом плане, разумеется, а не нравственном, для женщины же одна нравственная красота не исчерпывает и не может исчерпать понятия женской красоты.

Решительно каждый возраст женщины сообщает ее изяществу свой особый колорит. Уже по одной походке мы узнаем девочку. Вся ее фигурка, как и черты лица, как и косы, ее украшающие, буквально дышат грациозностью, немыслимой у мальчика, и выдает ее чисто женское стремление нравиться. Нет девочки (и не может быть — в этом вся суть!), которая не мечтала бы быть красивой, которая не считала бы себя красивой, точнее, не искала бы в себе быть красивой (ревниво не подмечала бы в себе эти черты, даже малейшие черточки красоты и не выставляла их к своей выгоде), — до того понятие о женщине в любом возрасте связывается с понятием о красоте. И девочка, как и женщина, точнее — как женщина всячески

стремится украсить себя, чтобы выглядеть еще более красивой, она, кстати, очень хорошо знает, чтó к ней идет из одежды или украшений и какого цвета и что способно оттенить еще больше ее красоту. И для девочки — как для женщины — также естественно простаивать часами (это, конечно, гипербола, притом избитая, но уже самоё ее появление знаменательно!) у зеркала, как это показалось бы странным и непростительным для мальчиков — до определенного возраста, разумеется, — пока у них не является потребность нравиться девочкам. Недаром Венера часто изображается с зеркалом: «Венера с зеркалом» (или «Венера перед зеркалом») так же естественно звучит, как обидно прозвучало бы: «Аполлон с зеркалом». Правда, древнегреческая мифология сохранила нам сюжет о том, как юноша любовался на собственное изображение, если не в зеркале, то в чистых водах ручья, в которых, как в зеркале, он отражался «весь, во всей своей красе». Правда, сюжет этот весьма и весьма печален, ибо юноша был жестоко наказан Афродитой за то, что не любил ни одной женщины, влюбивши его в самого себя. Он умер от мук неутоленной любви и «на том месте, где склонилась на траву голова Нарцисса (так звали юношу) вырос белый душистый цветок — цветок смерти; нарцисс зовут его» (*Кун Н. А.* Легенды и мифы Древней Греции. М.: 1955. С. 55–56). Однако в дальнейшем образ «Самовлюбленного Нарцисса» приобрел иронический характер и прилагается к мужчине, любующемуся на собственную красоту, тогда как женщине любоваться на себя в зеркале никогда и никем не «запрещалось», ибо это казалось сообразным с самой природой естества.

Одну такую «Венеру с зеркалом» я позволил себе воспроизвести здесь. Откровенно признаюсь, что из всех Венер, изображавшихся доселе перед зеркалом, эта кажется мне самой привлекательной, она, во всяком случае, самая оригинальная из всех мне известных и принадлежит кисти Веласкеса. И в самом деле, обычно Венера изображалась сидящей перед зеркалом и, хотя бы вполоборота, обращенной к нам лицом. В этой же известной картине она изображена лежащей и со спины. Ее лицо мы видим лишь отраженным в зеркале, она как бы любуется на это свое изображение в зеркале, которое услужливо держит перед ней в свою очередь любующийся на нее Амур. Удивительно юное, гибкое и стройное обнаженное женское тело, как и выражение лица женщины, так и излучают тепло и жизнерадостность, отличаются необыкновенным и нежным изяществом (илл. 22).

Для иллюстрации нашей мысли воспроизведем еще одно обнаженное женское тело, принадлежащее кисти Тициана, — в картине «Пастух и нимфа». Нимфа Тициана, как и Венера Веласкеса обращенная к нам спиной, не представляется нам столь же изящной: она больше вызывает

вожделение, нежели доставляет удовлетворение эстетическое (илл. 23). И это именно, как мне думается, и хотел подчеркнуть художник, стремясь придать простоватому буколическому содержанию — в противоположность традиционной идеализации — нарочито, я бы даже сказал, грубо реалистическую окраску, а вместе и интерпретацию. И все же сказочность мотива явственно ощущается и в этом произведении, в особенности если его сопоставить с «Натурщицей» А. А. Дейнеки. Здесь перед нами уже вполне реалистическая трактовка образа обнаженной женщины со спины, уже без какой бы то ни было идеализации (илл. 24).

Неподражаемым изяществом отличается другое полотно Тициана «Венера перед зеркалом», несмотря на то, что богиня предстает перед нами, в отличие от Венеры Веласкеса, непривычно и, конечно, намеренно полной, как бы демонстрируя роскошь своих форм. В особенности приковывает к себе ее удивительно нежное лицо, это незабываемое, исполненное одухотворенности и чисто женской мягкости лицо (илл. 25). Любопытная деталь: смотрясь в зеркало сбоку, женщина стыдливо и инстинктивно прикрывает обращенную к нему левую грудь, оставляя открытой правую, в зеркале не отраженную и поэтому ею не видимую.

Зеркало — это второе «я» женщины (если так еще никто не выразился, то скажу прямо, что эта вырвавшаяся у меня фраза очень удачна!). Женщина изящна, но в ней, во-первых, неистребима потребность постоянно удостоверяться в этом, и, во-вторых, такая же потребность становиться еще более красивой. Даже угловатость девочки-подростка отличается от той же угловатости подростка-мальчика, — отличается своеобразной и почти непередаваемой прелестью: она знает, что ей вот- вот предстоит стать девушкой и соответственно ведет себя. Я не говорю уже о трогательной красоте, связанной с едва уловимым переходом от девочки к девушке, когда она, еще не переставая быть девочкой, уже в чем-то и девушка. И это одинаково сказывается как в ее внешности, так и в поведении. Любопытство, вообще свойственное женщине, в этом возрасте сказывается весьма и весьма по особенному: она всё вопрошает себя, а нередко, если отличается непосредственностью, обращается с этим же вопросом к взрослым, которым доверяет: «Скажите, я еще девочка или уже девушка?» Вроде того, имею ли я уже право влюбиться? И влюблять в себя? Особенной же поэтичностью, понятно, отличается целомудренная изящность девушки. Именно ее воспел в своем известном стихотворении наш соотечественник и современник Сергей Александрович Есенин. Его лирика принадлежит, можно думать, к лучшему созданному во всей мировой поэзии. Недаром А. М. Горький писал о нем, что он — орган, специально созданный для поэзии. Но из всех его

стихотворений, воспевающих девическую красоту, это мне представляется наиболее лиричным (1915–1916 гг.)

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Всё ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

(*Есенин С.* Собр. соч.:
В 5 т. М.: 1961. Т. 1. С. 204–205).

Слов нет, красота девушки вполне заслужила такое стихотворение, но ведь особенным очарованием отличается также и красота женщины, любимой и любящей, высшего своего развития, без всякого сомнения, достигающая в женщине-матери, когда женщина выступает в полном и блистательном расцвете своего высокого человеческого и одновременно женского достоинства. Торжество материнства есть одновременно и торжество женственности, торжество всех женских чар, есть в то же время торжество изящества. Можно думать, что все предыдущие возрасты женщины подготавливают ее — как к венцу — к этому самому ответственному, но зато и самому прекрасному таинству ее жизни.



Ибо это и в самом деле таинство, невзирая на то, что мы вполне постигаем его причину, таинство постепенного созревания в только что родившемся младенце женщины-матери.

Выло бы несправедливо отрицать наличие чудесного в жизни. Как раз напротив: чем больше размышляешь, чем глубже проникаешь в природу вещей, тем все больше истинно чудесного в ней обнаруживаешь. И только человек, наскучивший жизнью, потерявши вкус к ней, способен с одинаковым равнодушием взирать на ничтожное и великое, на безобразное и красивое, на вседневное и редкостное, способен не замечать чудес, которые природа и человеческая жизнь доставляют нашему чувству и уму не так уж редко, как это может показаться на первый взгляд, ибо чудесное содержится даже в самом, казалось бы, примелькавшемся. В самом деле, разве не поражает наше воображение, как чудо, каждый новый красивый восход или закат солнца, каждое новое цветение яблони или вишни, каждое новое наступление весны? Мы не говорим уже о таких, по существу, самых обычных фактах, как рождение или смерть, как созревание и осуществление высокохудожественного замысла, как рождение новой, неслыханной дотоле мелодии. Все это, как и бесконечно многое другое, столь же чудесно, сколь и естественно и вовсе не менее чудесно и поразительно от того, что закономерно. Нас никогда не в состоянии поразить по-настоящему «чудо» в религиозном смысле этого слова, ибо мы знаем заранее, что бог «все может», чему же удивляться? А вот как лишенная разума, вполне стихийная природа «умудрилась» породить разумное и нравственное существо, каков человек, — это и в самом деле поражает наше воображение и наш ум как чудо, невзирая на то, что мы вполне постигаем его причину.

Мы никогда не перестанем удивляться тому как зарождается, созревает, раскрывается и развертывается во всем своем блеске и одухотворенности ослепительная красота женщины — изящество.

Изяществом отличается вся фигура женщины, начиная с ее роста. Рост этот не может сколько-нибудь значительно превышаешь выработанный природой эталон. Не может он и сколько-нибудь значительно быть ниже такого эталона. Во всех случаях рост этот не должен превышать роста мужчины, но должен быть определенно ниже его. Да и во всех отношениях изящная женщина всегда выглядит миниатюрной сравнительно с мужчиной, в противном случае, как бы она ни была гармоничной и грациозной во всех прочих отношениях, она выглядит громоздкой, а громоздкость с изяществом в собственном смысле, конечно, не вяжется.

При соответствующем росте и полноте фигура женщины изящна, как говорится, от головы до ног. Изяществом отличается, как уже говорилось, каждый изгиб тела женщины. Изяществом отличается форма головы и при-



ческа (ведь нет ничего поэтичнее женских волос!). Изяществом отличаются черты лица, очерк глаз, линии бровей и ресниц, форма лба, носа, ушей, подбородка. Изяществом отличается шея. Изяществом отличаются плавно покатые, производящие впечатление детской беспомощности, плечи женщины, женский торс, кожа, руки и ноги, пальцы на них и даже форма и цвет ногтей. Ведь мы с полным основанием, а отнюдь не метафорически только, говорим о красиво посаженной голове, об изящном рисунке бровей. И я нисколько не удивлюсь, если кто-нибудь и в самом деле слышал «шорох ее ресниц»: значит, он обладает утонченным и романтическим, истинно музыкальным слухом. Ну, а ресницы, значит, и в самом деле хороши... Короче говоря, изящество никогда и ни в чем не изменяет женщине, ибо оно свойственно ее природе, свойственно ей именно как женщине.

Изяществом напоён голос женщины. И голос этот одинаково говорит о внутренней красоте женского существа, красоте ее души, ее внутреннего мира, и о телесной, физической ее красоте. И если бы потребовалась материализация идеи о неразрывном единстве красоты тела и красоты духа женщины, то нельзя было бы сыскать лучшую, нежели женский голос. Вот почему в музыке полнее и адекватнее, чем в других отраслях искусства, выражаются тончайшие нюансы человеческих переживаний, тончайшие изгибы души человеческой. Ни одно искусство так не завораживает, так не обволакивает человеческую душу, так властно не заставляет ее звучать в унисон с изображаемым переживанием, как музыка. И интимнейший секрет этого действия музыкального произведения — ни с чем не сравнимая красота обворожительного женского голоса, нежнейших его интонаций. И если и всякое истинное произведение искусства вечно, т. е. доколе живо человечество, будет будить в нем самое заветное, то истинно музыкальное произведение в этом смысле вечно вдвойне. Легко понять, как необычайно возрастает нравственное воздействие музыкального произведения, в особенности же вокальная партия, исполняемая красивой женщиной, когда звучит в нем тема женственности — женской нежности и женской красоты.

О роли женской красоты, в том числе и женского голоса, в жизни человека, об их могущественном нравственном действии написаны многие и многие страницы в истории изящной словесности, и эти страницы едва ли не лучшие в ней. Но даже и среди этих всемирно прославленных и незабываемых страниц (к ним относятся, например, стихи, составившие «Лирическое интермеццо» Гейне) отнюдь не затерялось и живет поныне своею особенною жизнью знаменитое пушкинское стихотворение, посвященное Анне Петровне Керн, с которой он впервые встретился в доме Олениных в 1819 г., когда ей было 19 лет, и вновь встречавшийся с ней

в Тригорском, в котором она гостила летом 1825 г. В день ее отъезда из Тригорского он и вручил ей эти стихи. Я долго думал, воспроизводить ли здесь это стихотворение, столь широко известное, что, казалось бы, давно уже (оно написано в 1825 г.) должно стереться производимое им впечатление. Ан нет! Несмотря на прошедшие полтораста лет, оно стучится в сердце с той же силой, как если бы оно со всей неожиданностью явилось бы только вот сейчас, сию минуту. Недаром оно произвело впечатление даже... на Остапа Бендера. Я очень хорошо представляю себе то ошеломляющее действие, какое оно должно было оказать на современника, в одно прекрасное утро открывшего «Северные цветы» на 1827 год, и какая при этом гордость должна была охватить его — за Пушкина, за родную литературу, за великий русский язык, на котором звучат такие строки:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты.
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.:
В 10 т. М.; Л.: 1950. Т. 2. С. 265.)



Не правда ли, товарищ, я бы в чем-то — и весьма важном — погрешил против своей темы, темы настоящего сочинения, если бы не воспроизвел здесь это стихотворение, хотя оно стократ известно каждому — я думаю, не только в нашей стране, но и в любой другой, где читают люди. Те же, кто его и в самом деле не читал, — как много они теряют!.. Ведь, помимо всего прочего, в этом стихотворении отразились всем известные события его личной жизни, в частности, ссылка в село Михайловское, так трогавшие сердца его друзей и единомышленников во всей стране («В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои»...) Я должен был воспроизвести это стихотворение, так как положительно невозможно писать о красоте женщины и ее значении для нравственного роста человечества и не сослаться на это стихотворение, в котором поистине гениально и так высокопоэтично показано и то, и другое. Любопытно, что и здесь поэт употребляет слово «гений» («гений чистой красоты»), — как и в стихотворении, посвященном Олениной — «Ее глаза»: «Какой задумчивый в них гений». Мысль здесь совершенно понятна: гений и женская красота — одно.

Восемнадцать композиторов положили на музыку эти дивные пушкинские строки, и среди них великий Глинка (1842 г.). Первым среди наших композиторов откликнулся на них А. А. Алябьев (1832 г.), а последним (1961 г.) — разумеется, пока последним — Г. Н. Синисало, поставивший балет в 3 д. на основе произведения М. И. Глинки. Премьера была поставлена в Казани, Госуд. театром оперы и балета 12 апр. 1962 г. Автор сценария и балетм. И. Смирнов, худ. Э. Нагаев (см.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган*. М.: 1974. С. 68–69).

Однако продолжаем углубляться в природу этой столь прославленной красоты женщины. Качество изящества, присущее женскому существу от природы, как талант, как его истинный гений, еще более утончается и обогащается сознательным претворением его в себе женщиною, намеренным культивированием ею в себе этого качества, — с совершенным, по возможности, исключением всего, что в физическом и нравственном отношении ему противоречит — путем систематических физических упражнений, занятий гимнастикой, в особенности художественной гимнастикой (в том числе и фигурным катанием на льду), бегом, плаванием, ходьбой на лыжах, и путем неустанного интеллектуального, эстетического и морального самосовершенствования.

Откуда же у женщины эта дивная черта — изящество? Конечно, первопричину следует искать в ее половом достоинстве. Женщина в половом отношении, следовательно, в главном для нее, именно как для женщины, отношении вполне зависит от мужчины, и природа на протяжении бездны времен позаботилась о том, чтобы женщина была

привлекательна для мужчины, покоряла бы его силою своих чар. Ведь без мужчины женщина не только не в состоянии удовлетворять свои естественные половые потребности, но не в состоянии, — что главнее всего, — выполнить свою роль и назначение матери — продолжательницы рода человеческого. Мужчина во всяком случае не в такой степени зависит от женщины, как она от него. Но эта чисто животная (чисто биологическая) причина неизбежно преломляется через призму общественной природы человека. И эта созданная природой зависимость в половом отношении женщины от мужчины социально преобразуется в обратную зависимость мужчины от женщины. Иными словами, то же изящество, которое явилось прямым действием ее зависимости от мужчины, сделалось со временем, по мере его совершенствования и в процессе общественно-исторического развития человечества, в свою очередь, причиной для коренного изменения установленной природою зависимости — для установления обратной зависимости мужчины от женщины. Между прочим, я предпочитаю говорить «действие» в том случае, когда оно противостоит причине, и «следствие», лишь когда оно противостоит основанию. Если первое имеет онтологический смысл, то второе — логический. А оба смысла эти далеко не всегда совпадают. Так, мы о действии нередко заключаем по причине, и здесь действие выступает в роли основания, а причина — следствия. Поэтому приходится только удивляться распространенному среди наших ученых, в том числе и в учебниках и курсах, термину «причинно-следственное отношение», термину, как это очевидно, не выдерживающему критики. Женщина, продолжаем, однако, нить нашего повествования, не только не чувствует себя угнетенною этою зависимостью (в половом отношении, о котором единственно здесь и идет речь) от мужчины, но, напротив того, преисполнена сознания своего высокого назначения именно как женщины, и это гордое чувство, переворачивающее рожденное природой соотношение, таится в покоряющей силе женской красоты.

К многим тысячелетиям «скульптурной» работы природы, изваявшей женщину в качестве изящного существа, присоединились, таким образом, многие же тысячелетия скульптурной работы общества, еще более усовершенствовавшей это изящество женщины. Нечего и говорить о том, что как природа, так и история (общество) оформляли женщину в качестве изящного существа вполне стихийно, повинуясь заложенным в них закономерностям. Сама же женщина помогала им (природе и истории) в этом вполне сознательно, творчески преобразуя себя систематическим физическим трудом и физическими упражнениями, равно как и всесторонним совершенствованием своего духовного

«я», также служившего к развитию ее изящной натуры, и с этими реальными усовершенствованиями всего облика женщины, причиной которых уже явилась сама женщина и совершавшимися, как это ясно само собой, в течение длительного времени, и природа и история не могли уже «не считаться» в их дальнейшей, повторяю, чисто стихийной скульптурной работе, пока они совместными усилиями и не сотворили того изящества, которое поражает нас в современной женщине, как чудо и которое составляет первую черту женственности — как таковой.

Короче говоря, женская красота — продукт природы и истории, естества и культуры, продукт стихийного и разумного начала в природе вещей, одинаково «позаботившихся» о том, чтобы сделать равными, зависимыми друг от друга, оба пола, составляющие две половинки единого человечества. При этом, очень справедливо было сказано (Е. Евтушенко), женщина отнюдь не унизилась до равенства с мужчиной, (экая честь!), но именно своею женственностью, нравственно воздействуя на мужчину тем именно, что составляет ее исконное женское начало, поднимает его до собственного уровня.

Конечно, от нас не скрыты и слабости прекрасного пола, и об этом едва ли следовало бы говорить, как не скрыты и злоупотребления ими своей красотой, но совершенно естественно, что не они интересуют нас в этом сочинении, посвященном женственности, так же, как, впрочем, и слабости мужского пола. Говорят, например, о женском вероломстве, женском коварстве и т. д. и т. п., но не приходится доказывать, что и вероломства и коварства мы больше чем достаточно находим и у мужчин. Впрочем, и то и другое, притом как у женщин, так и у мужчин, — явления вполне социального свойства и вместе с социалистическим переустройством общества и с его вечным совершенствованием уже на коммунистических началах эти уродующие прекрасное человеческое лицо явления исчезнут, как ночные кошмары с пробуждением дня. В целом же женские слабости не в пример легче мужских слабостей и жестокостей. Но не о них, повторяем, не о женских слабостях идет у нас речь, а, как раз напротив, о том именно, что составляет нравственную силу и славу женщины, что составляет истинный лик женщины, а не о том, что уродует его, речь идет об истинно человечном в женщине — о женственности и об ее первом элементе — изяществе. Но и в этом свете для нас не секрет, и об этом мы уже, кажется, говорили, что изящество, о котором трактуется в этой главе, конечно, не повседневное явление. Как раз напротив, осуществление его очень трудно, но ведь и все прекрасное трудно, как утверждает в «Этике» Спиноза, — и существует оно, прибавим от себя, скорее в идеале, чем в действительности, хотя и не только в идеале. Но даже и

идеал этот — не следует забывать — порожден, конечно же, той же действительностью, что лишний раз свидетельствует о том, что если его осуществление и трудно, то не так уж и редко («Этика» Спинозы, как известно, заканчивается словами: «...Все прекрасное так же трудно, как и редко» (*Спиноза Б*. Этика. М.: Соцэкгиз, 1932. С. 222)). И в жизни и в женщине гораздо более красоты, чем мы об этом подозреваем, и это очень и очень обнадеживает, настраивает на оптимистический лад.

Каждый читатель в ходе изложения, несомненно, воспроизводит перед своим умственным взором не раз виденные им на самом деле, в самой жизни те или иные фрагменты из написанной нами картины женского изящества. А может статься, что тому или иному читателю даже посчастливилось встретить женщину, соединившую в себе все элементы изящества в незабываемое целое. И уже безусловно возникали перед ним немеркнущие произведения искусства, в которых женская красота нашла свое идеальное воплощение. К этому нам остается еще прибавить, что облик изящной женщины в действительности бесконечно богаче нарисованного нами, ибо разнообразится бесчисленными особенностями и оттенками: красивыми бывают не только синие или серые глаза (всяких оттенков), но и черные или карие очи, и не только прямые пепельные волосы, но и волнистые темные; и разного рода сочетания, составляющие в той или иной из знакомых нам женщин ее совершенно особое, одной ей присущее очарование, если при этом учесть и не поддающиеся выражению оттенки ее духовного существа, — поистине не знают границ. Сколько красивых — и нежных и строгих в одно и то же время — женских лиц и сколь разные они: разнообразие женского изящества так же неисчерпаемо, как и разнообразие всего живого, растущего и развивающегося на свете. Красота жизни индивидуальна — в самой высокой степени, и было бы безрассудством сочинять ее каноны!

До чего разнообразна красота одних только женских волос. А ведь волосы — чрезвычайно характерная черта женского облика! Мы не представляем себе женщины, которая не заботилась бы о своей прическе, и вполне уважаем в ней эту черту, тогда как с известным пренебрежением относимся к мужчине, слишком много внимания уделяющего своей прическе и вообще внешности. О романтическом действии своих волос женщина знает с самого раннего, дошкольного возраста и ухаживает за ними всю жизнь: девочкой — за своими косичками, которые она то и дело повязывает яркими шелковыми (или капроновыми) бантами; девушкой — за своей косой, которую она то и дело перебрасывает через плечо к себе на едва развившуюся грудь или же обвивает вокруг головы, женщиной — за своей прической, нередко весьма и весьма замысловатой. Волнующее действие

женских волос в их естественном «неубранном» виде очень хорошо, как мне кажется, показано на картине Тициана «Мария Магдалина» (1540-е годы, галерея Питти во Флоренции). Волна этих запоминающихся волос едва прикрывает ее наготу, оставляя совершенно открытой ее красивую грудь; мягкость, необычайную тонкость, шелковистость, «женственность» этих дивных волос вы как бы ощущаете на ощупь (илл. 26).

Трудно, очень трудно в творениях мирового искусства, в которых женские образы представлены весьма и весьма многообразно, отобрать такие, которые наглядно продемонстрировали бы перед нами сказанное в настоящей главе. Кто-кто, а большие художники разбирались в природе женской красоты. Конечно, элементы вкуса здесь почти неизбежны, но ведь не к ним сводятся творения как старых, так и новых мастеров. Тем не менее, несмотря на очевидные трудности в выборе иллюстраций для настоящего издания, я попытался сделать это, хотя и заведомо знаю, что каждый из моих читателей может предложить образцы женского изящества в искусстве более впечатляющие, нежели иные из предлагаемых мною, хотя шедевры мирового искусства, на которые я здесь ссылаюсь, едва ли могут быть оспорены, — ведь они давно уже получили всеобщее признание благодарного человечества. Я попытался это сделать, во-первых, для того, чтобы сказанное словами обрело живую плоть в руках художника; было бы просто неразумно пренебречь нетленными художественными ценностями, созданными на протяжении веков, коль скоро они так помогают нам разобраться в природе женской красоты и, стало быть, женственности, единственного предмета настоящего трактата. Тем более, что я глубоко убежден, что они с неопровержимостью (а лучше — аподиктично, с очевидностью) свидетельствуют в пользу развиваемых нами в этом сочинении взглядов. Я это делаю, во-вторых, для того, чтобы самому лишний раз насладиться лицезрением прославленной женской красоты, неописуемым никакими словами совершенством красоты женщины. Ведь в этих произведениях, и не только скульптурных, но и живописных, и воочию видишь и осязательно ее ощущаешь. Я не скрою, что каждый раз, как я буду брать в руки эту книгу (когда она увидит свет, разумеется), которую, кстати, я успел полюбить (почему мне не признаться и в этом?) и которую мне очень хотелось бы сделать изящной, как по содержанию, так и по форме — под стать теме, каждый раз, как я буду ее просматривать, мне будет приятно вновь встретиться с этими излюбленными мною женскими образами.

С одним таким образом Прекрасной незнакомки (так я его условно назвал — на манер известной картины И. Н. Крамского, хранящейся в Третьяковской галерее; впрочем, ее точное название, кажется — «Неиз-

вестная» — 1883 г.), с одним таким образом я Вас уже познакомил, читатель, — этот образ взят мною из картины Э. П. Борисова-Мусатова «Весна». И вот сопоставьте эту картину одетой девушки Борисова-Мусатова, хранящуюся в Русском музее, с картиной обнаженной девушки Жана Огюста Доминика Энгра «Источник», хранящейся в Лувре (илл. 27). Казалось бы, что может быть общего между этими столь разнородными картинами двух авторов, которых к тому же разделяют и национальность и время: русский художник родился (1870 г.) спустя три года после смерти французского художника (1867 г.). А роднит обе эти женские фигуры одна общая черта — изящество, как оно нами определено выше — как специфически женская красота, в которой органично сплавлены воедино ее физический и духовный облик. Удивительным, чисто женским изяществом веет на нас как от первой фигуры одетой и обращенной к нам спиной русской девушки (о красоте ее лица, как уже говорилось, мы можем только догадываться), так и от смотрящей прямо на нас (это — для образности: она даже не подозревает присутствия кого бы то ни было) обнаженной юной француженки.

Теперь сопоставьте обе эти фигуры с фигурой Склонившейся девушки из храма № 2 в Аджанте (Индия), о которой во «Всеобщей истории искусств» как нельзя более справедливо сказано, что она «полная грации, изящества и нежной женственности» (*Виноградова Н.*, *Прокофьев О.* Искусство Древней Индии // Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1956. Т. 1: Искусство Древнего мира. С. 435) (илл. 28). Четырнадцать столетий и тысячи километров отделяют эту девушку-индианку от знакомых уже нам и почти что наших современниц русской и французской девушек. А женское изящество присуще им троим едва ли не в одинаковой степени и, что главнее всего, присуще каждой из них совершенно по-своему, по особенному. Поразительное изящество всех трех женских фигур, в особенности же, понятно, фигур обнаженных, можно с полным основанием уподобить дивной симфонии: это настоящая музыка человеческого тела. И это как бы разрозненные Три грации.

А вот три грации, соединившиеся в танце («Танцующие Оры»), и принадлежат они резцу итальянского скульптора прошлого века Карло Финелли. (илл. 29) Статуя создана в 1824 г. Хотя нет прямых указаний, чтобы она называлась «Три грации», но это, несомненно, оригинальная трактовка именно этой темы. Сюжет Трех граций, столь излюбленный художниками во все времена, восходит своими истоками, как многие другие «вечные сюжеты», к древнегреческой мифологии, — именно к мифу о суде Париса, в котором трое богинь оспаривали друг у друга право называться Прекраснейшей. Вот как повествует об этом

уже цитировавшийся нами Н. А. Кун: «В обширной пещере кентавра Хирона отпраздновали боги свадьбу Пелея с Фетидой. <...> Веселились боги. Одна лишь богиня раздора Эрида не участвовала в свадебном пире. Одиноко бродила она около пещеры Хирона, глубоко затаив в сердце обиду на то, что не позвали ее на пир. Придумала, наконец, богиня Эрида, как отомстить богам, как возбудить раздор между ними. Она взяла золотое яблоко из далеких садов гесперид; одно лишь слово написано было на этом яблоке — «Прекраснейшей». Тихо подошла Эрида к пиршественному столу и, для всех невидимая, бросила на стол золотое яблоко. Увидали боги яблоко, подняли и прочли на нем надпись. Но кто из богинь прекраснейшая? Тотчас возник спор между тремя богинями: женой Зевса Герой, воительницей Афиной и богиней любви златой Афродитой. <...> Обратились к царю богов и людей Зевсу богини требовали решить их спор.

Зевс отказался быть судьей. Он взял яблоко, отдал его Гермесу и велел ему вести богинь в окрестности Трои, на склоны высокой Иды. Там должен был решить прекрасный сын царя Трои Приама, Парис, которой из богинь должно принадлежать яблоко, которая из всех — прекраснейшая. <...>

Вот к этому-то Парису и явились богини с Гермесом. <...>

Смутился Парис. Смотрит он на богинь и не может решить, которая из них прекраснее. Тогда каждая из богинь стала убеждать юношу отдать яблоко ей. Они обещали Парису великие награды. Гера обещала ему власть над всей Азией, Афина — военную славу и победы, Афродита же обещала ему в жены прекраснейшую из смертных женщин, Елену, дочь громовержца Зевса и Леды. Недолго думал Парис, услыхав обещание Афродиты: он отдал яблоко ей. Таким образом, прекраснейшей из богинь была признана Парисом Афродита» (*Кун Н. А.* Легенды и мифы Древней Греции. М., 1955. С. 247–249).

Вообще говоря, смысл Трех граций состоит именно в том, чтобы показать красоту обнаженного женского тела во всех ракурсах: с лица, со спины и в профиль. Однако и художники и скульпторы во все времена допускали также и отступления от этой традиционной трактовки образа, сводившиеся главным образом к различному расположению фигур. Можно сослаться, например, на Три грации кисти Рафаэля: 1500–1502 гг. Музей Конде. Шантийи (илл. 30) . У Финелли же и вовсе новая трактовка. Прежде всего, в отличие от традиционных Трех граций, эти три девушки показаны одетыми — в легкие платьица. Затем, если в традиционных Трех грациях фигурируют девушки с вполне развитыми формами, то здесь с едва созревшими, почти девочки. Если, далее

(по традиции) девушки показаны в состоянии покоя, то здесь — в движении, в плавном танце. Наконец, последняя особенность композиции: фигуры обнявшихся девушек расположены в ряд и лицом к нам. Нельзя не согласиться с тем, что эта трактовка Трех граций удачно выражает мысль, что грациозность как таковая характеризует именно движение, гармоничность движений. И вот почему вся группа производит удивительно музыкальное впечатление, как танец маленьких лебедей в балете П. И. Чайковского. Автор скульптуры как бы говорит: мои три юные девушки очень грациозны, это вы видите сами, но сколько еще более грациозной прелести откроется в них, когда они продемонстрируют перед вами весь танец целиком, когда во время движения каждая из них будет раскрываться перед вами все более и более, со всеми неповторимыми особенностями единственно только ей присущих красот.

О «пляске граций» и «нимфах, сплетенных в хоровод» писал К. Н. Батюшков. Привожу соответствующий отрывок:

А когда в сени приютной
Мы услышим смерти зов,
То, как лозы винограда
Обвивают тонкий вяз,
Так меня, моя отрада,
Обними в последний раз!
Так лилейными руками
Цепью нежною обвей,
Съедини уста с устами,
Душу в пламени излей!
И тогда тропой безвестной,
Долу, к тихим берегам,
Сам он, бог любви прелестной,
Проведет нас по цветам
В тот элизий, где все тает
Чувством неги и любви,
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови,
Где, любуясь пляской граций,
Нимф, сплетенных в хоровод,
С Делией своей Гораций
Гимны радости поет, —
Там, за тенью миртов зыбкой,
Нам любовь сплетет венцы,
И приветливой улыбкой
Встретят нежные певцы.

Приводя этот отрывок, автор книги «В созвездии Пушкина», Всеволод Рождественский справедливо заключает: «Гармоничная свежесть, ясность, чистота стиховой ткани не могли не пленять современников, не говоря уже о светлом, радостном колорите мысли... Гармония русской поэтической речи, по существу, впервые была освоена Батюшковым, поддержана Жуковским, а в дальнейшем развита и углублена юным Пушкиным» (*Рождественский В.* В созвездии Пушкина. М.: Современник, 1972. С. 56–57).

В стихотворении из цикла «Подражания древним» (ориентировочно 1833 г.), говоря о трех чашах, которые «бог веселый винограда» позволяет «выпивать в пиру вечернем», поэт первой называет чашу, выпиваемую «во имя граций, обнаженных и стыдливых» (см.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 3. С. 244). Это стихотворение («Бог веселый винограда») положил на музыку Б. В. Асафьев (для голоса с ф-п., 1836 г.) (Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: Сов. композитор, 1974. С. 23).

В балете изящество тела женщины обретает свой особый и в высшей степени выразительный язык. Мы видели, что оно — тело женщины — и в состоянии покоя говорит, и говорит весьма красноречиво, но — молча. В движении же, в особенности в целесообразно и музыкально организованном движении, при всем его строго рассчитанном лаконизме, оно говорит явно и внятно. Балет — это язык женского тела. И это до такой степени верно, что все тончайшие модуляции женского голоса находят свое отчетливое выражение в движениях женского тела. И если бы потребовалось предметное доказательство строжайшего единства души и тела в человеке (в данном случае — в человеке-женщине), то убедительнейшее такое доказательство — балет, в его высоких, строгих, классических формах, разумеется. Балет — это самораскрывающееся женское изящество, изящество, говорящее на своем адекватном языке, кстати, языке общечеловеческом.

Эта дивная симфония женского облика, плавно льющаяся и сладостная мелодия обнаженного женского тела была бы немыслима, не будь женская красота красотой человечески одухотворенной, не являй женское изящество адекватного единства и телесной и духовной организации. Мне представляется, что это очень убедительно показано Леонардо да Винчи в картине «Леда». Леда, согласно греческой мифологии была дочерью царя Этоли́и Фестия и женой царя Спарты Тиндарея. Весть о ее дивной красоте дошла до самого Зевса, который являясь к ней в образе лебедя, сделал ее своей женой. «И было у нее от него, — так излагает миф Н. А. Кун, — двое детей: прекрасная, как богиня, дочь Елена и сын,

великий герой Полидевк. От Тиндарея у Леды было тоже двое детей: дочь Клитемнестра и сын Кастор.

Полидевк получил от отца своего бессмертие, а брат его Кастор был смертным. Оба брата были великими героями Греции». (*Кун Н. А.* Легенды и мифы Древней Греции. М.: Учпедгиз, 1955. С. 206). Дружба Диоскуров (двух братьев) сделалась легендой в веках.

На картине Леонардо да Винчи изображена прекрасная обнаженная женщина, стыдливо обнимающая за шею лебедя. Нежное смущение изображено на ее выразительном лице (илл. 31). К несчастью, подлинник картины до нас не дошел: по преданию, она была уничтожена, как соблазнительная, последней женой Людовика XIV мадам де Монтенон, но сохранились наброски и копии с нее. «В этом образе плотски конкретной, обнаженной женщины, замирающей в объятиях мощного лебедя, в то время как у ее ног среди трав и цветов из яйца вылупливаются два ее сына-близнеца Кастор и Поллукс, — пишет автор монографии о Леонардо да Винчи М. А. Гуковский, — художник опять, и теперь уже без религиозной символики, вернулся к той теме о зарождении жизни, которая его всегда занимала. Женщина и лебедь, дети, вылупливающиеся из яйца, обильный, окружающий сцену пейзаж, все это — проявление единого могучего порыва творческой силы природы, рождающей жизнь, объемлющей в едином целом людей, животных и растения». Автор справедливо замечает, что «занимающий всю центральную часть картины образ совершенно обнаженной Леды трактован так рельефно, что кажется скульптурным, округлости тела моделированы обычной леонардовской светотенью...» (*Гуковский М. А.* Леонардо да Винчи: Творческая биография. Л., М.: Искусство, 1967. С. 158).

Читатель, вероятно, заметил некоторые расхождения в частностях между мифом, как он изложен Н. А. Куном и тем же мифом в трактовке Леонардо да Винчи (в изображении М. А. Гуковского). Но в этом нет ничего удивительного: во-первых, сам миф мог иметь различные редакции в древности (в частности в Греции и Риме) и, во-вторых, художник волен видоизменить его сообразно собственному замыслу. Но возвратимся к самой картине. Казалось бы, художник стремился оттенить грациозность фигуры женщины, именно приравняв ее к прославленной грациозности лебедя: подчеркнуто выпуклая линия нижней части женского торса, начинающаяся у талии, идущая вдоль правого бедра и заканчивающаяся у колена, можно сказать, в точности воспроизводит на картине такую же выпуклую линию лебединой фигуры. По всему видно, что этой линии бедра мастер придавал особое значение, коль скоро он ее оторочил светлой округлостью, кажущейся столь неожиданной в картине и своим сиянием

напоминающей нимб. А между тем, если сопоставить фигуру женщины в целом с фигурой лебедя, легко увидеть именно контраст между женской красотой, красотой в высшей степени теплой и человечной, красотой одухотворенной, с холодной, я бы даже сказал, хищной, во всяком случае «бездушной» и отталкивающей, красотой лебедя. И если можно и должно говорить о грациозности лебедя, то об изяществе применительно к нему никак говорить не приходится. Изящество как таковое, повторяем, характеризует человеческую, именно, женскую красоту.

Чисто человеческая теплота женского изящества отличает решительно все женские образы, созданные гениальным воображением великого флорентийца, включая, разумеется, и знаменитую Мону Лизу. Но особенно живо это чисто женское тепло истинного женского изящества ощущается, как мне кажется, в картине «Коломбина» (по предположению, на ней изображена та же Джоконда), хранящейся в нашем Эрмитаже. Эта картина — убедительнейшее свидетельство, что теплота и красота женщины неразрывны в ее истинной человечности — женственности. Мне представляется даже, что нежная и чисто женская теплота — главный пафос картины, что очень хорошо оттенено и удивительно мягкими и теплыми красками, которыми она написана, так же как главный пафос «Моны Лизы» (илл. 32), как это общепризнанно, глубоко развитое чувство собственной значительности, «спокойное и уверенное самоутверждение» женщины (*Данилова И. Е.* Предисловие // Боттичелли: Сборник материалов о творчестве. Пер. с фр., англ. и итал. М.: ИЛ, 1962. С. 11). И тем не менее не здесь мы воспроизведем «Коломбину» Леонардо да Винчи, но дадим ее несколько позже — в главе о нежности — для характеристики одного из тончайших нюансов женской нежности — нежной кокетливости. Впрочем, уже одно то, что зачастую затрудняешься отнести тот или иной женский портрет в ту или иную графу, трактующую о той или иной черте женственности, — говорит о внутреннем родстве всех этих черт (черт женственности). А что касается изящной Дамы с горностаем (илл. 33) — портрет семнадцатилетней Цецилии Галлерани, гостившей у нас, в Москве (ее резиденция — Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), то известно, что для ее написания великий мастер «и краски выбрал самые нежные». И это понятно: и изящество и нежность и все другие черты женственности не существуют обособленно, но взаимно проникают друг в дружку, образуя единое истинно человечное целое, именуемое женственность: женское изящество есть нежное изящество; женская нежность есть изящная нежность. И так же, если поразмыслить, обстоит дело и с другими чертами женственности. Но о них — на своем месте. А теперь перейдем ко второй из названных в предыдущей главе черт женственности — к нежности.

Нежность

Изящество женщины изливается вовне как нежность — до такой степени, что можно, как говорится, без опасения впасть в ошибку сказать, что изящество — это и есть сама нежность, а нежность — само изящество, если в поведении человека вообще органически слиты нравственная чистота помыслов с нравственной же чистотой их выражения в поступке. Мы уже говорили, что сама красота женщины нередко характеризуется как нежная красота. Можно, стало быть, до некоторой степени и с известным основанием определить женскую нежность как изящество женщины в его проявлениях, в ее отношениях к окружающему, — и не только к людям, но и к животным, к растениям, — ко всему живому. Я говорю «до некоторой степени и с известным основанием», так как нежные чувства проявляют и женщины, не отличающиеся физическим изяществом. Однако и в таких случаях нежная женщина отличается, если не внешним, то внутренним, духовным, изяществом. Как бы там ни было, но нежность женщины очень близка к ее же изяществу и составляет вторую черту женственности. Потому вторую (а не первую), что мы всегда отправляемся от внешнего к внутреннему и от него — к еще более внутреннему: ведь первое, что бросается в глаза нам в незнакомой еще женщине — это именно ее внешность, ее внешний облик. Отправляясь от него, мы, даже еще не зная ее сколько-нибудь близко, судим об ее нежности; узнав поближе — об ее же стыдливости; узнав еще ближе — о силе ее любви; еще ближе — о ее материнских чувствах и, наконец, о ее доброте — качествах ее души, в которой последовательно как бы отложились и сплавились все перечисленные внутренние черты женственности. Надо только помнить, что само изящество, сама красота женщины, хотя оно и воспринимается нами в первую голову со стороны его внешности, не есть одна только физическая красота, но одновременно и красота духовная, как это показано в предыдущей главе.

Можно было бы даже сказать, продолжаем нашу мысль, что нежность — оборотная сторона изящества — до того они близки одна другой, если бы она не составляла самостоятельную черту женственности. Это до такой степени верно (мы говорим о внутренней близости этих двух понятий), что даже и в том случае, когда нежность женщины нисколько не проявляется вовне сознательно, как это имеет место, например, когда женщина объята сном, она, нежность эта тем не менее изливается на нас невольно самим изяществом женского обнаженного тела. В этом каждый легко убеждается, когда смотрит на скульптуру С. Т. Коненкова «Сон», хранящуюся в Третьяковской галерее. Каждая черточка этого прекрасного женского тела столь же изящна, сколь и нежна, и действует на нас так же неотразимо, как если бы женщина сознательно одаряла нас своею нежностью. Эта нежность, которой дышит каждый член лежащего перед нами юного женского существа, сродни его же хрупкости, до которой боишься дотронуться и которую можно только благоговейно созерцать... То впечатление трогательной беспомощности, которое оставляет в нас красота женщины и о котором мы говорили в главе об изяществе, здесь, в нежности женской как бы трансформируется и усиливается впечатлением о необычайной хрупкости женского существа, его душевной ранимости, впечатлением, диктующим весьма бережное к нему отношение и говорящее о ее тонкой, чтобы не сказать, тончайшей душевной и духовной организации (илл. 34).

И хотя это и так, но нежность уже потому составляет особую черту женственности, не сводимую к ее изяществу, что она (нежность) свойственна и женщинам, утратившим былую красоту или даже, как уже говорилось, и вовсе ею не отличавшимся. И потому если справедливо, что истинно изящная женщина нежна, то далеко не всегда справедливо обратное утверждение: истинно нежная женщина изящна. Читатель, конечно, догадывается, что я намеренно говорю здесь об «истинно» изящной женщине, ибо внешность, как это известно каждому, нередко обманывает. Но как бы то ни было, нежность — неотъемлемая черта женственности, чего нельзя сказать о самом изяществе. Невозможно представить себе женщину (а ведь мы говорим об идеальной женщине, способной реально облагораживать людей, и ищем секрет этого ее облагораживающего действия), которой не была бы присуща нежность, — до того нежность представляется специфически женской чертой. Нежность женщины уже давно стала общим местом и воспета всеми поэтами человечества — всех времен и всех народов. И эта нежность до того пронизывает все женское существо, что изливается на окружающее без всякого участия ее сознания, сказывается буквально в каждом ее жесте. Слов нет, жесточайшая эксплуатация женского труда в обществе част-

ной собственности, равно как и беспросветная нужда, которую нередко приходится испытывать женщине и ее детям в таком обществе, сплошь и рядом ожесточают женщину, но ведь такое общество безжалостно уродует ее и физически. Но это только говорит о нравственном долге покончить с таким эксплуататорским обществом, но никак, не о том, что женщина не является ни изящным, ни нежным существом. Как ни были враждебны женщине обстоятельства на протяжении всей классовой предыстории человечества, они не смогли подавить ни красоты, ни нежности женщины, присущих ей по природе. И как же может быть иначе? — классовое строение общества преходяще, женщина же со своею красотой и нежностью вечна — доколе живо человечество, разумеется.

Нежность, коль скоро она сочетается с изяществом (раз уж мы трактуем об идеале женственности, то такое сочетание мыслится само собой), одинаково отличает как внешний, так и внутренний облик женщины, как ее физическую, так и духовную натуру. Нежностью дышит лицо женщины, ее фигура, ее кожа, тончайшие изгибы ее торса, волнующий рисунок ее груди, нежностью характеризуется голос женщины, ее уста, взгляд, прикосновение ее руки, я бы сказал, воздушное прикосновение. И в этом голосе, и в этом взгляде, и в этом прикосновении сказывается уже непосредственно внутренняя нежность, нежность, присущая всему ее внутреннему облику, внутреннему существу. А чудесная женская улыбка, — именно, нежная улыбка? С чем только не сравнивали эту улыбку — и с утренней зарей, и с вечерней звездой. Но разве заря и звезда, как бы хороши они ни были сами по себе, отличаются хотя бы малой толикой той светлой одухотворенности, какой пронизана женская улыбка? По-моему ее ни с чем и не сравнить, ни с чем не сравнить нежность этой улыбки, ее лучезарность, ее целительность, ее громаднейшее воздействие на людей, а ведь женщина расточает их много и много, одаривает ими многих и многих — по своей великой душевной, чисто женской же доброте. Чтобы не быть голословным, я продемонстрирую Вам, читатель, лишь одну такую, поистине волшебную и, конечно же, неотразимую женскую улыбку. Это Апсара (илл. 35), фрагмент скульптуры храма Бантеай Срей в Камбодже (ныне Кампучия).

Эта улыбка свидетельствует о том, что нежность женщины складывается из внутреннего изящества, глубокой задушевности и чисто женской кокетливости, и нежность эта не меньше сказывается в ее голосе, чем в этой ее улыбке. Будь этот голос высоким или грудным, тембра мягко-бархатистого или звонко-серебристого, — он во всех случаях отличается от грубого мужского голоса, отличается особенною, нежною певучестью. Непреднамеренная вкрадчивость женского голоса, позво-

ляющая ему проникать до глубины человеческого существа (я полагаю, — что и до глубины животного существа), — есть, вероятно, единственная вкрадчивость, не вызывающая и тени укора, единственная, что способна ее, вкрадчивость, как таковую, оправдать.

Необыкновенной нежностью веет от всей изящной женской фигурки работы итальянского скульптора Лоренцо Бартолини «Нимфа, ужаленная скорпионом». Нежность эту, сказывающуюся во всем облике девушки: и в ее лице, в тонких чертах этого лица, и в ее прическе, и в наклоне головы, и во всей ее позе, в том как, опершись правой рукой о землю, она левой обхватила левую же ступню, внимательно всматриваясь в место укуса, нежность эту, говорю я, осязаешь почти физически. Фигурка эта украшала площадку Халтуринской лестницы Ленинградского Эрмитажа (илл. 36). Каждый, кто проходит мимо нее, невольно останавливается в радостном изумлении, смотрит на нее, не отрываясь, — с такой хорошей, с такой доброй улыбкой, совершенно забывая при этом, что ведь укус скорпиона смертелен; он просто находится в плену глубокой симпатии к этой нежной девчушке. И эта улыбка — несомненное свидетельство огромного нравственного воздействия этого милого, скромного и очень юного женского существа.

Нежность доминирует и в знаменитой мраморной группе итальянского скульптора Антонио Кановы «Три грации». Уже одно то, как доверительно-интимно обнялись эти прелестные девушки в едином дружелюбном порыве, как нельзя более ярко об этом свидетельствует. Это — не грубое, не страстное объятие, способное причинить боль, но мягкое и ласковое, так нежащее и тело и душу (илл. 37). Действие этой нежности на нас может быть уподоблено действию легкого дуновения ветерка, когда в знойный летний полдень мы любуемся на спокойную и тихо поблескивающую рябь моря. На такую нежность способна только женщина, и нежность эта светится не только в лицах, но и светится как бы изнутри тела каждой из трех девушек, вроде как бы их девичья душа излилась не только в этом нежном объятии, но и в нежных изгибах и линиях их тел, в каждой интимной складочке этих тел, составив с ними одно и в высшей степени женственное целое. И разве может статься, чтобы эта нежность, это внутреннее изящество, отлившееся во внешние формы этих дивных девических тел, не изливалась на десятки тысяч людей, ежедневно посещающих Эрмитаж и не влияла в той или иной степени и форме на их нравственное образование, если даже фотография этой скульптуры так неотразимо действует на каждого?!

Иначе как нежной не назовешь и женскую головку французского скульптора Адана, украшавшую Зал Ватто в Эрмитаже, головку, на-

званную им «Аллегория воды». Смотришь на это лицо и поражаешься: до чего оно естественно в женщине и до чего оно было бы неподходящим в мужчине, иными словами, до чего же оно тонко и нежно, истинно женственно! Каждый, кто смотрит на это лицо, не может решить, где же кончается физический и начинается духовный, нравственный облик женщины (илл. 38). И в самом деле, не надумана ли эта разграничительная линия и не выражает ли это нежное женское лицо то строжайшее и органическое единство физического и духовного в одно и то же время, о котором говорилось в самом начале этого сочинения?

Нежность женская до того запечатлелась в сознании человечества, что наложила известную печать и на его мировосприятие, обогатив его такими нюансами, которые без этой нежности были бы немыслимы. Мы с полным основанием говорим о нежной сквозящей зелени берез, о нежном закате, о нежных красках и в природе и в живописи, и если мы все это воспринимаем как нечто само собою разумеющееся, иными словами, если эта метафора вошла в плоть и кровь нашего сознания, то лишь потому, что в нем прочно обосновалась женственность и одна из ее характерных черт — нежность. Уже один этот факт свидетельствует о той роли, которую играет женственность в нашей жизни. К чему мы только не применяем эпитет «нежность». Послушаем В. И. Даля: нежному противостоит грубое, черствое, жестокое. Мы говорим о резьбе самой нежной работы. Мы говорим о нежном растении (о нежном деревце или нежном цветке) или животном, говорим о нежном (чувствительном, восприимчивом, крайне чутком) слухе; говорим о нежности осязания у незрячего; говорим о нежном друге, о нежных чувствах, о нежных речах, о нежной любви, о нежном голосе, нежном (детском) возрасте, о том, что с цветком надо обращаться нежно (бережно), говорим, наконец, о том, что «женское сложенье нежнее мужского» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 2. С. 562).

Поистине, надо считать великой удачей человечества, что оно нашло точные слова для выражения самых, казалось бы, тонких и ускользающих от материализации в слове вещей. Во всяком случае я, как только подумаю, что люди могли бы и не найти этих слов, никак не в состоянии достаточно нарадоваться тому, что слова эти все же найдены. Кстати, я совершенно не понимаю тех, кто «принципиально» выступает против высоких (выспренних, по их выражению) слов. Мне лично представляется, что без таких слов, как добро, нравственная чистота, идеал, человечество не только было бы беднее, но и было бы попросту говоря несчастным, и в его жизни мало было бы чего завидного... И это — даже в том случае, если бы речь шла только о словах. Не следует забывать, что

слова эти людьми созданы и ради людей же, — без всякого сомнения во благо, а не во зло. А ведь за этими истинно высокими словами скрывается реальное содержание (надо в нем только по-научному разобраться), да еще какое, от которого дух захватывает... И вот я думаю, какое счастье для человечества, что существует такое слово — «нежность», женская нежность. Не будь этого слова, как бы выразить существо вещи столь, казалось бы, неуловимой, неосязаемой, но столь неоспоримо реальной и необоримо покоряющей нашу душу, обращающую ее на путь добра. Я бы лично не сумел найти это слово, думаю, что многие бы сказали о себе то же. Такое слово мог найти только народ — «народ-языкотвóрец», как говорил о нем Маяковский.

Совершенно невозможно переоценить силу нравственного воздействия женской нежности на людей, на людей всех возрастов, притом как мужчин, так и женщин. Нежность женскую с одинаковой и нежной благодарностью принимают как дети, так и взрослые, она, словно бальзам, утоляет боль и исцеляюще действует на душу человеческую. А через нее — через человеческую душу — она снимает и физическую боль и излечивает также и физически. В этом секрет особой нравственной роли сестер милосердия (мне больше нравится это старинное их наименование, нежели современное «медицинская сестра», «медсестра» — просто плохо). Я полагаю, что чарам нежной женщины (или женской нежности) подвластны и животные, домашние во всяком случае, ибо перед лаской ничто устоять не в состоянии. И если и растения чувствуют, то и они безусловно чувствуют разницу между женским и мужским прикосновением (впрочем, я не думаю, что сила их чувствительности заходит так далеко, и сказал я это больше ради иллюстрации своей мысли о нежности как женской прерогативе по преимуществу). Сейчас появилось немало Дам с собачками. Иногда ревнуешь к этим животным: ведь ту нежность, которую женщины уделяют им, они могли бы распространить на нас, на людей... Но таково только первое чувство. Стоит чуть-чуть подумать, как убеждаешься в том, что у женщины вполне достанет нежной ласки, чтобы осчастливить ею все живущее. И скорее от избытка нежности, нежели от нежелания одарить ею нас, она переносит ее и на животных. Я не говорю уже о том, что сама эта любовь к животным, сострадание к их мучениям, характеризующие каждого нравственно образующего себя человека, является одной из характерных особенностей женской нежности и доброты, ибо в наибольшей мере присущи именно мягкому и ласковому женскому нраву. Особую же, поистине нежную чуткость испытывает женщина к человеческой боли. Можно смело сказать, что она нередко воспринимает чужую боль как свою собственную. Впрочем — об этом на своем месте, в

главе «Доброта». Здесь же мы можем сказать лишь следующее: Женщина источает нежность и ласку, как солнце свет и тепло.

Ласковость и нежность не отделимы друг от друга. Ласковость должна быть рассматриваема как сторона нежности и, как последняя, есть преимущественно женская принадлежность. Я намеренно употребляю здесь это слово «принадлежность» (а не, скажем, свойство, женское свойство), так как оно подверглось искажению и профанации в частнособственнической психологии: обычно, когда говорят о «принадлежности», то имеют в виду именно это — принадлежность вещи тому или иному владельцу. Я же хочу вернуть этому слову его, как мне представляется, исконный смысл и употребляю его здесь в высоком нравственном смысле. Я исхожу при этом из того, что слово это существовало еще в первобытнообщинном обществе и приобрело частнособственнический смысл лишь с возникновением частной собственности и с разделением общества на классы эксплуататоров и эксплуатируемых. Если даже оно в ту пору употреблялось и в значении личной собственности (только не частной, конечно), то это последнее ничем не отделялось — и скорее всего было производным от других значений этого слова, означавших попросту говоря «свойство, качество, нераздельное, неотъемлемое, связанное, соединенное с чем-[либо]» — в данном случае с ласковостью, внутренне и необходимо соединенной с нежностью. Определение, взятое нами в кавычки, как, несомненно догадывается читатель, принадлежит Далю (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 3. С. 428).

Так постепенно выясняется для нас сама категория нежности. Не улыбайтесь, читатель — именно категория. Ибо хотя нежность так же неоспорима, как и женственность, обязательным компонентом которой она является, неоспорима, как и сама женщина — первоисточник и женственности и нежности, но постижение ее природы (природы нежности) есть постижение ее именно в понятиях, а это последнее вещь до чрезвычайности трудная, когда речь идет о таких, казалось бы, вполне эмоциональных вещах. А ведь именно таково назначение нашего трактата — проникнуть в природу женственности и составляющих ее черт.

Особенность нежности в том, как мы видели, что она охватывает собой как физический и душевный облик женщины, так и духовный, нравственный ее облик. Это эстетически-психологически-этическая категория в одно и то же время. Нежностью, как уже говорилось, отличается вся фигура женщины. Особенною, я бы даже сказал, пронзающей нежностью наделены самые потаенные места телесного сложения женщины, чем лишний раз оттеняется исконное женское начало нежности. Нежными являются ее душевный склад и душевные переживания,

недаром мы говорим о нежной женской душе. Нежным является и ее духовное, нравственное мироощущение. Это последнее слово («мироощущение») ближе всего выражает суть дела, когда речь идет о нежном, я бы сказал, специфически женственном восприятии окружающего.

И опять, паки и паки, приходится поражаться необыкновенному богатству русского языка. В самом деле, сколько слов существует в нем для такого фундаментальной важности явления человеческой общественной и личной жизни, каков взгляд человека на мир — на окружающее и на себя самого, на жизнь, ее смысл, и назначение в ней человека: мировоззрение, миросозерцание, миропонимание, миропредставление, мировосприятие, мирочувствование, мироощущение. Если вдуматься во все эти термины, выражающие, как уже говорилось, одно и то же явление духовной жизни общества, то можно обнаружить в каждом из них свои особенные оттенки, свой особенный угол зрения, свой особенный акцент, лишь в совокупности своей выражающие все богатство взгляда человека на себя и окружающее, на все то, что называется нами жизнью — жизнью природы, общества и нас самих как людей. С известным основанием можно также сказать, что в порядке исчисления нами терминов усматривается процесс углубления, развития и последовательного освоения такого общего взгляда на мир, вследствие какового освоения он становится плотью от плоти нашей, кровью от крови нашей, неотъемлемым свойством нашего физического и духовного существования.

Оставляя до другого случая подробное раскрытие сказанного (оно нам сейчас ни к чему, да и у меня у самого нет еще полной ясности в этом деле, и сказанное мною скорее плод интуитивного прозрения, нежели основательного размышления), повторяю лишь, что для всего склада умонастроения женского эта высшая ступень проникновения в природу вещей (мироощущения) скорее даже интуитивного, нежели дискурсивного (умопостигаемого) характерна в самой высокой степени. Такой взгляд предполагает глубочайшую убежденность, предполагает вживание в него — всеми своими нервами, всеми фибрами своей души. В случае выстраданного человеком мироощущения все клеточки его существа участвуют в создании и усвоении того образа мыслей, который составит прочную основу для образа действий человека. И потому совершенно естественно, что тот образ мыслей, на котором сказывается нежность — глубина глубин женского существа, — не может не быть определен именно как мироощущение. Если мироощущение вообще есть такой образ мыслей и такое умонастроение, которые сделались вторым «я» человека, его внутренним, духовным, нравственным «я», его истинным самосознанием, то не ясно ли, что в человеке-женщине это внутреннее

«я» нравственного самосознания необычайно обогащено, пронизано и окрашено той нежностью, которая составляет неотъемлемую черту женственности — как таковой. И если столь велико нравственное воздействие на людей человека-мужчины, выработавшего и развивающего в себе такой высокий строй мышления, такое, сделавшееся неотъемлемой чертой всей его сущности истинно человечное мироощущение, то каково же должно быть воздействие подобного истинно человечного мироощущения, напоенного вдобавок высокопоэтическим ароматом женственности, всепокоряющей нежностью женского существа. И вот почему правильно было подмечено, я только не помню, кем именно, и это, разумеется, не к моей чести, что то начинание в общественной жизни может рассчитывать на успех, в котором участвует женщина, которое пользуется поддержкой женщины, и что чем более женщин принимает живое участие в том или ином общественном движении, тем более решительная победа ему обеспечена.

За примерами далеко идти не надо. Торжеству поначалу гонимого христианства как идеологии немало способствовало массовое участие в нем женщин, своим фанатизмом воспламенявшим сердца. Всемирно-исторические победы коммунистической идеологии в наши дни тоже в очень и очень немалой мере обязаны беззаветному и жертвенному героизму женщины: мировое освободительное движение женщин — неотъемлемая часть современного международного рабочего и коммунистического движения. В этой связи автор не может не выразить своей радости и своего счастья в том, что и он — коммунист, что и он принимает посильное участие в том величайшем движении эпохи, которое должно привести в обозримое еще время к торжеству коммунизма на всей планете. Нет и не может быть в наше время более высокого смысла для существования человека как человека, чем участие в этом самом благородном движении человечества, благородство которого во много крат возрастает от того, что самую кровную заинтересованность в нем проявляют лучшие женщины Земли.

Когда речь идет об изяществе, или женской красоте, — продолжаем, — мы не можем его мыслить без нежности, т. е. изящество мыслится нами как нежное изящество, как нежная женская красота. В то же время нежность мы вполне в состоянии мыслить и без физического изящества (не следует лишь при этом забывать, что и физическое изящество — именно как изящество — одухотворено нравственно, о чем подробно говорилось в предшествующей главе). Поэтому не будет, мне думается, ошибочным утверждать, что нежность как внутреннее, душевное и духовное, изящество нередко (и очень даже не редко) обретает собственную жизнь, не за-

висящую от физического изящества, и тем бо́льшую, тем более самостоятельную жизнь, чем менее ему соответствует изящество физическое.

Во всяком случае, женская нежность покоряет ничуть не меньше, чем чисто физическая красота. Но зато в отличие от физической красоты, которая, к несчастью, проходит с годами, нежность отличает женщину на всем протяжении ее жизни, хотя и выражается, конечно, по-разному в различные возрасты женщины, скажем, у девочки и у ее прабабушки — старушки (бабушки в нашей, социалистической, стране — женщины, как правило, если не молодые, то и не старые; о них говорят, что они пожилого возраста).

Девочка-ребенок нежна больше сама по себе, почти не выявляя своей нежности вовне, я говорю «почти» не выявляя, так как выявляет она свойственную ей по природе нежность обязательно, по большей части бессознательно для нее самой, не намеренно. В этом само́м по себе нежном возрасте женщины ее нежность напоминает прекрасный цветок, только-только еще расцветший, но который уже явственно выказывает всю силу таящегося в нем неуклонно растущего очарования. По мере своего роста и по мере превращения девочки-подростка в девушку растет и женская ее нежность, приобретая все более и более оттенок стыдливости: в ней растет сознание того, что нежность, которую она обнаруживает в себе и все больше и больше проявляет вовне, органично связана с особенностями ее пола и усиливается в ней, идет как бы об руку, именно с процессом ее полового созревания как женщины.

Неизмеримо больше, чем девочка, проявляет нежность девушка в расцвете своей невинной еще девической красоты, но проявляет ее при этом в высшей степени стыдливо и сдержанно. Она уже в полной мере осознает свое высокое достоинство женщины, отдает себе ясный, хотя и чисто интуитивный еще, отчет в женственности вообще и в столь важном его элементе, какова нежность. Она очень хорошо понимает, что без нежности нет самой женственности, идеал которой она всеми силами своей души и со всей непосредственностью юности, со всей силой свойственного юности доверия к высоким нравственным ценностям стремится воплотить в себе, в своей индивидуальности. Когда я говорю, что девушка обнаруживает и проявляет неизмеримо больше нежности во всем, чем девочка, и одновременно же говорю, что она проявляет эту нежность сдержанно, даже в высшей степени сдержанно, то в этом не следует усматривать противоречия. Хотя эта нежность и в самом деле сдержанная, но и сдержанность этой девической нежности, сообщая ей особую и совершенно неповторимую прелесть, неповторимую ни в каком другом возрасте женщины и неповторимую еще к тому же ни в какой другой девушке ее же возраста,

сдержанная нежность эта, говорю я, весьма и весьма заметна и заметно же воздействует на нашу душу и наше сознание, сея в них семена добра, которые, можно не сомневаться, если и не тотчас же, не немедленно, то потом, рано или поздно, но созреют обязательно, дадут свои желанные плоды. Ведь мы не забываем, что сдержанность эта девичья всецело продиктована свойственной же девушке в высшей степени стыдливостью, той чертой женственности, которая не только не в состоянии ослабить в ней эту нежность, но и усиливает и украшает ее неизмеримо.

По особому тоже проявляет свою нежность женщина — любимая и любящая. Эта нежность по-разному проявляется и не может не проявляться по отношению к любимому и по отношению к нам, всем остальным смертным. Это прежде всего должно быть отмечено, хотя это и ясно само собой и в особых комментариях не нуждается. Конечно, нежность к любимому отличается особенной теплотой, которой мы, остальные смертные, можем только позавидовать, но за которую мы, конечно же, никаких претензий к милому существу, ее проявляющему, иметь не можем. Но даже и в отношении к любимому женская нежность, естественно, проявляется по-разному, когда она проявляет ее еще к юноше или же к мужу. Никто тоже за это женщину (или девушку) порицать не может, так как существуют законы пола, перейти которые нет возможности не порывая с самой женственностью, но, порывая с ней, женщина перестает отвечать своему призванию. Но даже в отношении к нам самим, к тем самым остальным смертным, о которых говорилось выше, нежность женщины приобретает новые черты сравнительно с пленительной нежностью девушки. Не переставая быть стыдливою, она в то же время выступает в полном расцвете, женщина ею одаривает щедрее, чем девушка, ибо нежность ее уже лишена той сдержанности, которая сковывала ее еще в девушке и которая сообщала ее девической нежности свой особый колорит. Женщина любимая и любящая нежна откровенно, хотя и стыдливо в одно и то же время и, кстати говоря, ибо нечего греха таить — даже до некоторой степени кокетничает этою своею стыдливостью (чего и в помине не было и не может быть в девушке, стыдливость которой подавляюще действует на ее душу и сознание). Впрочем эта кокетливость тоже к лицу женщине, очень к ней идет и очень ее красит. Нежную кокетливость женщины очень ярко изобразил Леонардо да Винчи в картине «Коломбина», о которой речь шла выше (в главе об изяществе). Эта кокетливость, придающая особое очарование женскому существу, пронизывает собою всю картину: и в том как изображенная на ней женщина обнажила свою левую грудь, и в том как она намеренно стыдливо при этом потупила свой взор... Но явственнее всего эта

нежная кокетливость сказалась в левой руке женщины, в пальцах, придерживающих готовый соскользнуть с ее плеч хитон (илл. 39). Я думаю также, и за это мы тоже не склонны на нее обижаться («мы» разумеются в данном случае мужчины), женщина любимая и любящая больше распространяет свою нежность на мужчин, чем на женскую половину человеческого рода. Впрочем, я полагаю, что женщины к ней за это не будут питать плохих чувств, сразу по одному этому узнав в ней — в женщине любимой и любящей — свою сестру. Ну, а что касается детей, то их женщина любимая и любящая одаряет еще бóльшею нежностью, нежели мужчин. И за это мы все решительно, и мужчины и женщины, выражаем ей нашу глубокую и нежную благодарность. Такая нежная ласковость к детям обоего пола и всех возрастов вполне естественна в женщине любимой и любящей, которая готовится сама стать матерью. Это последнее обстоятельство накладывает, как можно думать, свой особый отпечаток на нежных чувствах женщины, о которой идет разговор. Эта нежность, если можно так сказать, утончается и подготавливает в женщине исподволь ту совершенно исключительную нежность, которая как бы невзначай объявится в ней с рождением ребенка, когда она сделается Матерью (напечатать это слово здесь непременно с большой буквы. — *Автор*).

У женщины-матери исконно женская нежность получает, как вы уже, конечно, догадались, высшего и самого щедрого своего выражения. Материнская нежность справедливо прославлена на всех языках Земли. И всегда она отождествлялась, как отождествляется и поныне, с материнской лаской и материнской же любовью. И хотя о материнском чувстве как таковом мы будем говорить особо (в главе «Материнство»), мы не можем обойти его и здесь, характеризуя женскую нежность вообще — как черту женственности, как не смогли обойти его и при характеристике женственности с той ее стороны, которая выражается в изяществе и как, вероятно, не сможем обойти его и при характеристике других сторон женственности — стыдливости, любви и доброты.

И это понятно: чувство материнства есть то основное чувство, к которому тяготеют все решительно стороны женственности и без которого они как бы лишаются своего объединяющего стержня. Так и здесь, ибо это в полной мере относится и к нежности. — В нежности девочки угадывается дремлющая в ней и одновременно в ней же тихо зреющая материнская нежность. Достаточно обратить внимание на то, как она опекает брата, даже нередко ее старше, — чтобы в этом убедиться, что называется, воочию. А если брат ее при этом страдает непоправимым физическим и душевным недугом?! Вы представляете, сколько безграничной нежности она проявляет к нему — убогому? И вспомнилось мне, как в небольшом

южном городе, в котором я вырос, маленькая девочка ухаживала за своим взрослым братом, страдавшим тем именно неизлечимым недугом, о котором я говорил (у него была удивительно маленькая головка) и сколько трогательной нежности, которую иначе как материнской и не назовешь, она вкладывала в это ухаживание! Эта девочка была у всех на устах и сколько же уважения она снискала за это свое в точном значении слова подвижничество. И как же она заступалась за своего безнадежно больного брата, если кто-нибудь из мальчишек по неразумию и мальчишечьей же жестокости смел его обидеть. Ее яростный гнев не знал пределов и обращал почти в паническое бегство обидчиков, которые уже не смели больше позволить себе такое. Конечно, и в мальчишках при этом пробуждалась совесть, когда они видели, как против их всех выступает столь слабое и столь истинно благородное существо, как эта восьмилетняя девочка, оскорбленная в своих лучших чувствах, борющаяся за благородное, правое дело — защищая, что называется, грудью слабого брата. Впрочем, и это очень любопытно, его еще мальченку, лежащего посреди мостовой, несколько лошадей, несшихся табуном, старательно обегали, не причинив вреда... И об этом долго говорил весь город, кстати, усмотрев в этом особый перст божий. Если память мне не изменяет, то верующие, и христиане и иудеи, устроили даже по этому поводу торжественный благодарственный молебен. Интересно, как мы, безбожники, должны были бы поступить в этом случае — не пройти же мимо него просто так, как будто ничего особенного и не приключилось. Спасение жизни человека, да еще при таких исключительных обстоятельствах, обязательно должно быть отмечено, если жизнь человеческая чего-нибудь да стоит, тем более если она высшая нравственная ценность.

И в классе тоже: девочки сплошь и рядом опекают мальчиков, воздействуют на них в лучшую сторону бессознательно исходящим от них нежным, почти материнским очарованием. Правда, мальчики, как правило, охраняют девочек, как мужчина женщину, но не перестают при этом испытывать их чисто нравственной опеки. Из сверстников девочки почти всегда чувствуют себя старше мальчиков, считают их зачастую легкомысленными, способными на всякие глупости и жестокости, тогда как сами относятся к жизни гораздо более серьезно, чем мальчики. Это сказывается уже и в отношении мальчиков и девочек к своим чисто домашним обязанностям — в помощи, оказываемой ими родителям по дому. Если мальчики, нечего греха таить, сплошь и рядом увиливают от исполнения своих обязанностей или же часто выполняют их кое-как, лишь бы поскорее освободиться и заняться чем-нибудь более заманчивым (футболом или хоккеем, например), то девочки, как правило, относятся к своему дол-

гу серьезно и сплошь и рядом оказывают своим матерям помощь даже не по силам. До того они считают себя обязанными именно помочь, помочь по-настоящему матери в ее трудной подчас жизни. Откликаются скорее девочки, чем мальчики, и на призыв помочь другим людям — больным, одиноким, инвалидам войны. Девочки обнаруживают и большее прилежание в учении, чем мальчики. В общем, с какой стороны ни подходить к делу, девочки «взрослее» своих сверстников. Впрочем, это осознается и самими мальчиками. При этом на мальчиков не может не действовать, наряду с нежностью, и чисто женская красота, изящество девочек, начиная с их миниатюрной (сравнительно с мальчиками) и хрупкой фигурки. И то и другое — и нежность и красота девочек, а еще точнее — их нежная красота, — одинаково облагораживающе действует как на мальчиков, так и на девочек, в столь важный (именно школьный) период их жизни, когда складывается характер человека. Что касается мальчиков, то это ясно само собой. Что же до девочек, то уже самый факт облагораживания ими других, своих друзей мальчишек, не может не облагораживать их самих — сознанием своей поистине высокой нравственной роли, чтобы не сказать, миссии. Между прочим, чтобы не забывать об этом сказать дальше, на своем месте (в главе «Доброта»), — нравственная поддержка и благословение женщины, к которому мужчина привыкает еще с самого нежного, детского возраста, когда он находился под неотразимым влиянием прелестной девочки, были могущественным фактором роста революционера, его революционного самосознания, во всех решительно революционных организациях мира.

Поэтому только приходится удивляться тому, что мы в свое время поддались влиянию по старинке мыслящих педагогов и ввели раздельное обучение мальчиков и девочек в школах, тогда как оно было решительно ликвидировано Великой Октябрьской социалистической революцией 1917 года. А ведь Декрет о единой трудовой школе, об отделении ее от церкви и о совместном обучении мальчиков и девочек был подписан не кем иным, как бессмертным Лениным, человеком, дороже которого не рождала история. И как хорошо, что мы в своей стране восстановили ликвидированное совместное обучение мальчиков и девочек в школе. Насколько я понимаю, и в других странах великого социалистического содружества практиковалось это благотворное во всех отношениях совместное обучение, кстати, до некоторой степени влияющее и на будущее семейное устройство жизни мальчишек и девчонок.

Но то же облагораживающее начало женской нежности, закладываемое еще в самом раннем детском возрасте, возвращаемся к нашей девчушке, растет и несказанно углубляется с возрастом девочки. Становясь

девушкой, она, можно даже сказать, определяющим образом действует на нравственное сознание неравнодушного к ней, к ее расцветшей нежной и стыдливой красоте юноши. Если в нем были хорошие задатки, они расцветают в нем с полной силой. Если в нем было мало таких задатков, он, испытывая могучее облагораживающее действие приглянувшейся ему девушки, в настоящем значении слова перерождается, обретает нравственный образ мыслей и действий, не узнает самого себя, — даже в том случав, если девушка не разделяет его чувства. До того неотразима девическая нежная красота. Она поистине способна творить чудеса.

Становясь женщиной, девушка наша начинает играть совершенно исключительную роль в жизни мужа. Повседневное и многолетнее общение с нею неприметно (не так, как нравственное воздействие девушки на влюбившегося в нее юношу), но зато систематически, верно и глубоко очеловечивает его, облагораживает его характер и мирочувствование. И это понятно: женщина-жена входит во все поры его существования, переиначивает то, что нужно в нем переиначить, растит в нем то, что заслуживает роста. Конечно, и ее обогащает общение с мужем, но мы здесь об этом не распространяемся, так как тема наша, напротив, в том и состоит, чтобы вскрыть и показать нравственное влияние нежной женственности на человека и выяснить его причины. И если я все же упомянул здесь о том, что и женщина-жена обогащается за счет его душевных качеств и нравственных сокровищ его духа, то единственно с тем, чтобы подчеркнуть, что, обогащаясь на его счет, она заимствованное у него возвращает ему сторицей, так как получает возможность еще более основательно воздействовать на него же — во благо.

Становясь матерью, наша женщина получает совершенно исключительную возможность своею поистине неиссякаемой материнской нежностью нравственно воздействовать на своих детей, становясь же бабушкой и прабабушкой — на своих внуков и правнуков. Но это до такой степени ясно, что едва ли следует об этом здесь распространяться, тем более, что нас ждет впереди глава о материнстве. И легко понять, сколь велико в жизни человеческой это нравственное воздействие женственности вообще, коль скоро так значительно и глубоко влияние лишь одной стороны женственности, какова нежность — предмет заканчиваемой главы, хотя, и об этом, конечно, нельзя забывать, эта сторона женственности связана тончайшими, но очень прочными нитями со всеми остальными ее сторонами, о которых речь впереди. Мы неоднократно здесь говорили и о том, что нежность женская несет в себе печать той стороны ее женственности, которая называется женскою стыдливостью. К ее рассмотрению мы сейчас и переходим.

Стыдливость

В предыдущей главе говорилось о том, что изящество женщины, ее специфически человеческая и женская красота, изливается (переливается) в нежность. Так же и нежность, скажем мы сейчас, в свою очередь изливается (переливается) в стыдливость. Забегая несколько вперед, скажем также (чтобы внести полную ясность в нашу мысль), что и стыдливость изливается (переливается) в любовь, любовь в материнство, материнство в доброту. Именно этим предопределяется нить нашего повествования, последовательность рассматриваемых нами вопросов женственности, структура нашего трактата. Женственность в нашем понимании выступает как нечто единое в своих проявлениях, чертах, сторонах. Являясь истинною человечностью в женщине, она и должна нести на себе отпечаток пола, явственно сказывающийся в перечисленных нами и в переходящих друг в друга ее характернейших чертах. Последние в своей совокупности образуют целое женственности.

Материнство является переломным моментом в жизни женщины во всех отношениях — в том числе и в смысле количества охватываемых ее нравственным влиянием людей. Если до материнства (включительно) круг людей, непосредственно охватываемых ее нравственным воздействием, движется в направлении последовательного сужения при одновременном углублении самого этого воздействия, то с материнства же (тоже включительно) этот круг, напротив, расширяется до размеров всего человечества, притом воздействие это не только не теряет в глубине и силе, но необычайно усиливается, вырастая до размеров уже не женского только, но общечеловеческого качества, ибо в нем уже, как в доброте, мало остается специфически женского.

Нет, я не оговорился, когда к материнству отнес и конец сужения и начало расширения круга охватываемых нравственным влиянием женщины людей. В этом именно сказывается переломный характер мате-



ринства в данном отношении, что сделается для нас исчерпывающе понятным из дальнейшего изложения.

Обращаясь в этом плане к перечисленным сторонам женственности, скажем так. — Изящество женщины доступно любованию многих, и знакомых, и больше незнакомых ей людей, и в самом этом любовании сказывается нравственное воздействие женщины. Нежность женщины, естественно, больше всего действует на людей, на которых она непосредственно распространяется, т. е. на более узкий круг людей, нежели изящество, но зато это воздействие уже глубже. Стыдливость женщины воздействует на еще более узкий круг непосредственно соприкасающихся с ней, с одновременным дальнейшим углублением этого воздействия. Нравственное воздействие любви женщины, несравненно более сильное, нежели во всех предыдущих случаях, распространяется лишь на любящего ее и любимого ею (непосредственным образом, ибо опосредствованно оно распространяется и на других, хотя влияние это, само собой, и не так глубоко: все мы, а не только имеющий счастье быть любимым, испытываем на себе обаяние знакомой любящей женщины, в той или иной мере, разумеется, и, конечно же, в неизмеримо меньшей степени, чем сам ею любимый).

Воздействие материнства, — и о нем следует, как ожидает уже читатель, сказать особо, — так же, как и воздействие любви, непосредственно распространяется на одного, в случае материнства — на собственное дитя. И если мы говорим, что в нем — материнстве — еще более сужается круг охватываемых нравственным влиянием женщины людей, чем даже в любви, то в том единственном, но немаловажном смысле, что любимый женщиною человек может со временем смениться другим любимым ею же человеком, т. е. женщина может разлюбить одного и полюбить другого (недаром существует такое понятие, как «первая любовь»), тогда как любовь матери и в самом деле и в точном значении слова сосредоточивается на одном-единственном человеке — ее собственном чаде. Конечно, у матери бывает, как правило, не один ребенок, а несколько детей. Но не это правило должно быть принимаемо во внимание, когда мы хотим разобраться в сути дела, так как в принципе ее материнская роль ничуть не уменьшается, но выступает в своей полной силе, т. е. исчерпывающим образом, и в случае рождения ею одного-единственного дитяти: она сосредоточит на нем, как уже было сказано, всю свою любовь и претворит в нем всю силу своего материнского нравственного влияния. А только об этом и идет у нас речь.

То обстоятельство, что мать как правило имеет все же не одного только ребенка, но нескольких ребят, и обусловливает то, что в нем же — в материнстве — мы имеем уже новое расширение круга охватываемых непо-

средственным воздействием, ведь сила материнского чувства и его нравственного действия, конечно, нисколько не уменьшается с рождением каждого нового ребенка, т. е. нравственное влияние это отнюдь не теряет в глубине. Я бы даже сказал, что оно становится еще глубже, так как с каждым новым ребенком воспитательный опыт матери растет, не говоря уже о том, что с каждым таким новым ребенком сама мать растет в нравственном отношении, растет, следовательно, и эффективность ее нравственно-воспитательной роли. И именно здесь — в многодетности — создается почва для перерастания собственно материнского чувства в женскую доброту, т. е. для последовательного и невиданного доселе в жизни женщины увеличения количества охватываемых этим ее нравственным влиянием людей — буквально до масштабов всего человечества, при полном сохранении глубины и силы этого влияния. Ведь сильнее материнского чувства нет ничего на свете, и сильнее, чем оно есть, ему уже быть не суждено — по самой природе вещей. И женщина, без всякого сомнения, вознеслась бы в собственном сознании до небес, если бы не присущая ей от природы стыдливость — родная мать скромности, стыдливость, в которую, как уже говорилось, естественно изливается (переливается) ее нежность. Ведь каждому ясно, что ежели бы такая спесивость и в самом деле завладела женщиной, она уронила бы себя нравственно и, следовательно, не смогла бы нравственно влиять на людей. Именно своею нежною красотой женщина так неотразимо действует на людей, и эта же ее неотразимость и порождает в ней ту нравственную стыдливость, которая не позволяет ей возноситься над облагодетельствованными ею и которая составляет такую же характерную черту женственности, что и изящество и нежность.

Корень женской стыдливости, как и корень женственности вообще, — и в животном происхождении человека и в его социальной природе. Но в отличие от ранее рассмотренных нами черт женственности — изящества и нежности, в которых фактор природный играет довольно весомую роль, — ведь красоту как производящее художественное впечатление единство гармоничного и грациозного — первое условие изящного — мы наблюдаем уже у животных. Наблюдаем у них и инстинкт нежности, — и не только во взаимных отношениях между родителями и детьми, но и во взаимоотношениях животных, в частности детенышей, между собою, не говоря уже о взаимоотношениях самцов и самок, — стыдливость уже характеризует, как можно думать, только человека и преимущественно женщину. Я говорю «как можно думать», так как некоторые замечают подобие стыдливости и у представителей животного царства, когда, например, собака, сперва не узнавшая друга дома и залаявшая на него, спохватывается и начинает юлить перед ним, ви-

лять хвостом, «лезет целоваться», т. е. как бы извиняется в допущенной ошибке. Но, во-первых, можно возразить, что в данном случае мы имеем дело с животными домашними, в постоянном общении с человеком научившимися вещам, ранее им (как животным) чуждым, во-вторых, это можно отнести к стыдливости разве лишь в очень условном смысле, ибо может быть объяснено и другими причинами, например, радостью от того, что пришедший не враг, а свой. И если мы тем не менее сказали, что корень женской стыдливости и в природе (не только в обществе), то единственно в том смысле, что корень самого пола в животном происхождении человека, в его животном начале.

Мое глубокое убеждение в том, что стыдливость характеризует существо мыслящее, следовательно, общественное. Если мы и говорим, что животное «думает», то никак не приходится говорить, что оно «мыслит»: мы уже знаем, что рассудок животного и разум человека — вовсе не одно и то же и различаются они между собою, как различаются животное и человек, биологическое и социальное существо. И если в общественном существе биологическое наличествует в снятом виде, то в биологическом существе общественное может иметь лишь весьма ограниченный, зачаточный характер. Точно так же обстоит дело с рассудком и разумом: если разум содержит в себе рассудок в снятом виде, то в рассудке разум может иметь лишь самые зачаточные формы. Но хотя это и так, и стыдливость — принадлежность человеческого существа, биологический корень стыдливости женской, которой посвящена эта глава, — в той же первоначальной зависимости в чисто половом отношении женщины от мужчины, о которой говорилось выше. Женщина инстинктивно боится показать себя навязчивой по отношению к мужчине, от которого она зависит в удовлетворении насущной половой потребности, и отсюда — специфически женская стыдливость.

Но это только начало женской стыдливости, ибо и в случае перевернутого отношения зависимости, о котором тоже говорилось выше, в перевертывании ее в пользу женщины благодаря особым чертам женского изящества, стыдливость женщины сохраняется вполне, хотя и приобретает новые черты и новую окраску. Здесь уже стыдливость высшего порядка, стыдливость женского существа, чувствующего и понимающего свое превосходство и власть над мужчиной в половом отношении и стыдящегося этого превосходства и этой власти как чего-то положительно недозволенного нравственно, — вроде как бы партнер в игре, прибегающий к сторонним средствам в «борьбе» со своим соперником. В целом же, в слиянии обеих сторон женской стыдливости выражается застенчивость женщины, которая так к ней идет и так в ней пленяет: если с одной стороны женщи-

не как бы неловко от того, что она воплощает в себе столько физической и духовной красоты (вспомните, что только что родившаяся из пены морской Венера Боттичелли как бы приносит извинение за свою красоту), ей совестно этой победоносной своей красоты, то с другой стороны она при этом испытывает и, естественно, не может не испытывать, и чувство чисто женского удовлетворения и чисто женской же гордости от сознания того, что не она зависит от кого-то в половом отношении, но, наоборот, от нее зависят. Ведь стыдливость женщины очень тесно связана с ее же красотой (изяществом), вселяющей в нее гордость, и с ее же нежностью, внушающей ей скромность. Вот это своеобразное слияние женской гордости с женскою же скромностью и образует специфически женскую же застенчивость. И нежность неизменно сопутствует женской стыдливости, окрашивает ее в нежные тона, и недаром мы говорим о нежной стыдливости, или о нежной застенчивости, женского существа, в которой угадывается и специфически женская, тоже нежная, гордость.

Женщина попрежь всего стыдится своей наготы. Эту вековечную женскую стыдливость хорошо, как мне представляется, показал Огюст Роден в своей известной, выполненной в мраморе, скульптуре «Ева», хранящейся в Дрезденской галерее (илл. 40). В отличие от традиционного и столь распространенного в мировом искусстве, я бы сказал, чисто формального жеста женской стыдливости, идущего от античности жеста стыдливости кокетливой, о которой еще блистательный Апулей писал, что жест этот скорее призван «искусно оттенить» прикрываемое «женское место», нежели «прикрыть стыдливо», Ева Родена до того просто и естественно и до того глубоко поглощена столь свойственным женщине чувством стыдливости, что даже забывает прикрыть это место. Она озабочена только одним: как можно вернее закрыть свое лицо и отвести свой взор, горящие от стыда. Поэтому в ее лице не заметно даже и намека на то несколько жеманное и исполненное лукавого кокетства смущение, которое можно наблюдать даже у женщины, застигнутой врасплох. Просто поразительно, как мгновенно лицо женщины обретает соответствующее выражение, и это заставляет думать, что оно столько же рассчитанно, сколько и инстинктивно, отрабатывалось в течение веков и, передаваясь из поколения в поколение, стало второй природой женщины. Что здесь имеется элемент рассчитанности, тоже не приходится сомневаться, так как женщина очень хорошо понимает, какой эффект производит на мужчину и то, что он застал ее «в таком виде», и нарочитые ее испуг и смущение, — что и тем и другим она только привлекает его к себе, во всяком случае, не отталкивает. Однако не следует забывать, что Роден изваял Еву, — прародительницу человечества, и впервые познан-

ный стыд был не иначе, как жгучим стыдом. Таковым же бывает стыд каждой женщины, когда она испытывает его впервые, можно думать, в девическом возрасте, когда она еще не научилась красоваться им.

Стыдясь своей наготы, женщина в то же время не может не гордиться ею, не может не знать, что нагота эта — неотъемлемая характеристика женской красоты и предмет вожделения. Ведь она не может не знать, что прекрасная нагота эта, эта вожделенная ее нагота, составляет ее славу. Эта специфическая особенность женской стыдливости — она и стыдится своей наготы, и гордится ею в одно и то же время (и не хочет ее показать, и хочет, чтобы ее видели и оценили, но только невзначай — вопреки ее намерению, она даже изобразит при этом гнев, впрочем, не всегда искренний), особенность эта хорошо схвачена и выражена в мраморной скульптуре сидящей женщины работы Жигмонда Штробля «Лилия» (1922 г.), хранящейся в Ленинградском Эрмитаже (илл. 41). Чтобы почувствовать особенность исходящего от нее очарования и лучше проиллюстрировать нашу мысль, сопоставим ее с другой и тоже замечательной фигурой сидящей женщины, выполненной в бронзе Аристидом Майолем около 1905 г. и хранящейся там же. По всему видно, что эта вторая женщина «вынужденно» (принудительно) позирует перед нами, ужасно тяготится этим, и хотя и являет нам, в отличие от первой женщины, всю свою обнаженную фигуру целиком, но стыдится при этом страшно, закрывает, как и Ева Родена, от жгучего стыда свое лицо, и только и ждет, когда же наконец окончится этот мучительный сеанс, причиняющий ей столько невыносимых страданий. Несомненно, что такая стыдливость присуща девушке, впервые открывшей себя в таком виде, впервые в жизни познавшей такой яростный стыд (илл. 42). Другая же, напротив, гордо демонстрирует свою наготу (это видно по тому, как она закинула свои руки за голову, чтобы открыть не только свою фигуру, но и свое лицо), но в то же время тоже не может скрыть охватившего ее чувства смущения, стыда. Она как бы говорит: смотрите, любуйтесь на меня, наслаждайтесь созерцанием моей красоты, в том числе и моей застенчивостью, моим неподдельным смущением, моей женской стыдливостью. При этом она хорошо знает, что женская стыдливость составляет столь же характерную черту красоты женской, сколь и ее сверкающая нагота. И в этом она, конечно же, не ошибается, так как стыдливость, как и изящество, — черта женственности, а женщина наша знает, что в данный момент она выступает в ответственной роли олицетворенной женственности, что, смотря на нее, люди оценивают не ее самоё, но именно женственность как таковую, которую она, по своему убеждению, воплощает в себе и вот сейчас демонстрирует перед нами. В отличие от своей «бронзовой»

подруги, она не закрывает лица рукой, хотя тоже, разумеется, могла бы это сделать, напротив, как уже упоминалось, она откинула обе руки, как и Девушка Коненкова, назад, ибо отлично понимает, что женское лицо в ансамбле женской красоты занимает ведущее место, тем более, что именно на нем в первую очередь и в данном положении изображено стыдливое смущение, и лицо это оказалось таким же прекрасным, как и все тело женщины, столь счастливо (ведь есть и некрасивые лица) венчающим это удивительно женственное тело и в сочетании с ним образующим эту торжественную красу всего ее облика.

Кто в состоянии отрицать, что и стыдливость входит в удивительный ансамбль женской красоты, чем лишний раз подтверждается отстаиваемый нами тезис о красоте женщины как гармоническом единстве красоты физической, телесной, и красоты духовной, нравственной? В животном мире, как уже говорилось, мы не встречаемся со стыдливостью, хотя и встречаемся со многими элементами чисто физической красоты. Следовательно, стыдливость, выражаемая в лице женщины и во всей позе ее обнаженной фигуры (обратите внимание на то — возвращаемся к «Лилии» Штробля, — как крепко и потому неловко прижала она, в отличие от девушки Майоля, бедром к бедру согнутую правую ногу к левой и как эта неловкость, стыдливостью вызванная, сказывается во всей ее фигуре), следовательно, продолжаю, стыдливость составляет важный элемент прославленной женской красоты, чем опять-таки лишний раз подтверждается сказанное ранее о связи всех черт женственности.

Конечно, в том, что женщина стыдится так своей наготы, сыграли свою — и немалую — роль религиозные наслоения в ее сознании. Религия на протяжении многих столетий объявляла плоть греховной, и такое, изуверское в своей основе представление, к несчастью, всасывалось женщиной, что называется, с молоком матери. Но главное, конечно, не в этом: ведь сами религиозные представления, как бы они ни уродовали жизнь человеческую на деле, являются именно наслоениями, лишь отражающими в сознании человека вполне объективные факты и вполне, разумеется, земного происхождения, отражающими их, как это не менее очевидно, в искаженном, переворачивающем все вверх ногами виде. Надо сказать, что в этих религиозных представлениях в немалой мере отразился и частнособственнический инстинкт мужчины в частнособственническом обществе, о чем мы уже имели случай говорить выше, обществе вполне безнравственном, превратившем красоту женщины в личное владение — никому не позволено ее лицезреть, кроме ее законного властелина. Но и первобытные религии, в которых прекрасная нагота женского тела не только не осуждалась, но и культивировалась и превозносилась, не смог-

ли помешать тому, что женщины, как правило, в обыденной жизни этой своей наготы стыдились, и не только потому, что некоторые из них имели основания стыдиться тех или иных изъянов в своем сложеньи, но и по принципу: что дозволено богиням и их жрицам, то не позволено простым смертным. И это очень хорошо показано в известной картине Тициана, условно называемой: «Любовь земная и любовь небесная». На ней изображены две равно прекрасные женщины, но одна из них одета, а другая сияет своей наготой. Что хотел здесь показать мастер, как не то, что стыдливость как таковая — особенность земной женщины, а не богини: боги не стыдятся своей наготы, так как сама их нагота божественна, красота же женщины неразрывна со стыдливостью (илл. 43). Женская стыдливость, как можно думать, имеет биологическую подоплеку, к тому же социально преобразованную. Стыдливость делает женщину еще более желанной, еще больше разжигает страсть в мужчинах и властно привлекает их к себе и в то же время той же стыдливостью, заставляющей ее скрывать свою наготу, женщина ограждает себя от алчных взоров мужчин. Такова, если можно так выразиться, «диалектика» женской стыдливости.

Нечего и говорить о том, что стыдливость женщины индивидуальна в высшей степени, испытывается и проявляется каждою по-своему. Слов нет, и изяществу, и нежности женщины свойственны совершенно индивидуальные особенности, делающие их — и изящество, и нежность — столь непохожими на соответственные качества любой другой женщины, но там этот неизбежный отпечаток индивидуальности, личности женщины как человека, не так явствен, как в случае стыдливости, так как и изящество, и нежность, как мы видели, суть столько же внешние, как и внутренние качества женщины (при этом в нежности больше от этого внутреннего мира женщины, нежели в изяществе), тогда как стыдливость — уже чисто внутреннее ее качество (хотя оно, как правило, и проявляется вовне, но может, однако же, и не проявиться, когда женщина научилась не выдавать своих чувств, не обнаруживать их), и потому уже целиком зависит от личностных данных женщины.

Но, как ясно само собой, было бы неправомерным на том основании, что стыдливость одной женщины не похожа на стыдливость другой, что она отличается неповторимыми особенностями, отрицать стыдливость как общую черту, свойственную женщине вообще, иными словами, как черту женственности, так же точно, как нельзя отрицать и изящество и нежность, хотя они тоже отличаются индивидуальными особенностями. Мы уже знаем, что красота и нежность разнообразятся бесконечно применительно к индивидуальным особенностям женщины, не переставая при этом, разумеется, быть красотой и нежностью. И то же в полной

мере относится и к стыдливости, хотя она и прямо проистекает из внутреннего, интимного, строя женщины как личности.

Это чувство стыда, заложенное, как мы видели, в самом женском начале, растет в женщине вместе с ее нравственным ростом, достигая своего апогея в женщине-матери. Благодаря своей высокой миссии материнства женщина осознает себя носительницей и блюстительницей нравственности по природе, и ей стыдно за малейший промах, допущенный ею самою в этом отношении, — в нравственном отношении. В слишком кричащем противоречии любая нравственная бестактность, любое проявление безнравственности, находится с исконной и прославленной красотой женского существа. Женщина не мыслит себя отделенной от нравственности, и ей приходится не меньше краснеть за допущенную ею самою бестактность, чем и за бестактность других, в том числе и мужчин. Между прочим, это нравственное превосходство женщины, если и не всегда прямо, то косвенно признается и мужчинами, когда они сплошь и рядом выражают недоумение, как это такое (тот или иной безнравственный поступок) могла допустить женщина (мужчина, мол, это другое дело, от него всего можно ожидать!).

Женщину отличает повышенная стыдливость по сравнению с мужчиной еще, следовательно, и потому, что она осознает в себе и повышенную в сравнении с ним нравственную ответственность, проистекающую опять-таки из ее специально женской, материнской миссии. И так же, как она опекает зреющий в ней плод, она нравственно опекает и все человечество. Вот почему стыдливость так украшает женщину, и решительно ничто другое так ее не уродует, как холодное бесстыдство. Некрасивая внешне женщина может отличаться другими чертами женственности, столь, как мы видели, привлекательными, но бесстыдная женщина — урод, как бы внешне она ни выглядела. Впрочем, по моему глубокому убеждению, бесстыдных женщин не бывает, как не бывает и безнравственных женщин, о чем мы уже имели случай говорить. Женщина может проявить бесстыдство в том или ином случае жизни, но этот бесстыдный поступок так же не способен сделать женщину бесстыдной, как и безнравственный поступок — безнравственной. Даже и проявляя бесстыдство, женщина отдает себе отчет в том, что она поступает вопреки собственной природе — как женщины. Слишком глубоко сидит в ней это чувство стыдливости, заложенное в ней от природы, вскормленное с раннего детства и росшее в ней вместе с ее собственным физическим и духовным ростом. Отдает она себе, конечно, отчет и в том, что истинная красота женщины, в том числе и телесная, есть красота одухотворенная, стало быть, нравственная, и что она так же не вяжется с бесстыд-

ством всякого рода, как, напротив, вполне согласуется с женственною стыдливостью. Иными словами, красота и бесстыдство, как и красота и безнравственность — «две вещи несовместные», как и «гений и злодейство», как о том писал Пушкин в «Моцарте и Сальери» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1950. Т. 5. С. 366).

Те, что говорят о «демонической красоте», отличающей человека, полного зла, в том числе и женщину, — не ведают, что говорят. Стремясь оторвать эстетику от этики с целью сделать первую независимой от второй, они утверждают, что эстетические категории имеют вполне самостоятельное значение и к ним этические определения и оценки не приложимы. Красота — это-де эстетическая категория, а не этическая (таковой некоторые эстетики признают добро, или, по их терминологии, благо). И в доказательство того, что красота — категория чисто эстетическая, «равнодушная» к добру и злу, они и ссылаются на существование некоей демонической красоты: хоть и зло, но красивое. Здесь не место распространяться о том, насколько ученые, о которых шла речь, далеки от истины, насколько ложны сами их исходные установки, скажем лишь, что на самом деле истина, правда и красота совпадают в своем высшем выражении в добре — верховном идеале человечества, этическом по существу, и потому не могут быть автономны по отношению к нравственному самосознанию человечества и тем более противоречить ему. Стало быть, если красота представляется противоречащей добру, она уже не красота, и демоническая красота — сама нелепость. Но встанем на минутку на их точку зрения и допустим, что такая демоническая красота и на самом деле существует. Но ведь признавая существование такой демонической красоты, они должны будут признать, что наряду с ней существует и «ангельская красота» человека, в том числе и женщины, исполненного добродетели. В самом деле, где есть основание признавать существование злой красоты и отрицать существование красоты доброй? Но если возможна и такая красота, то она неизбежно выше первой, стало быть идеальнее, истиннее как красота. Где же тогда основание именовать первую — «демоническую» — красотой? Ведь всё, как известно, познается в сравнении, и если добрая красота — истинная красота, то злая — ложная красота, а на самом деле — безобразие. Даже сам Демон, как свидетельствует об этом поэт, прекрасно разбиравшийся и в нравственности (достаточно сослаться на процитированные нами слова из «Моцарта и Сальери») и в красоте, даже Демон не смог устоять перед нравственной красотой духа, которую Пушкин же называет «нежной красотой». А ведь демоническую «красоту» нежной, а тем более стыдливой, никак не назовешь. Воспроизводим замечательное стихотворение Пушкина (1827 г.)

Ангел

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости, он рек, тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал».

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.:
В 10 т. М.; Л., 1950. Т. 3. С. 16.)

Кто в состоянии отрицать, что здесь показано торжество истинной, нежной женской красоты над демонической, «мрачной» красотой, о которой толкуют некоторые писатели, стремящиеся сделать свой предмет (эстетику) автономным от этики? И кто, далее, может отрицать, что нежная женская красота здесь прямо связывается с нравственной, духовной красотой женщины и так же прямо связывается со стыдливостью? — «Главой поникшею сиял».

Какие прекрасные слова: невозможно из женской красоты изъять стыдливость, залог всех нравственных добродетелей, и чтобы она попрежнему оставалась сияющей красотой, тогда как это духовное сияние придается ей именно стыдливостью! Двадцать композиторов написали музыку к этому пушкинскому шедевру. Среди них А. Г. Рубинштейн (для голоса с ф-п., 1879) и Ц. А. Кюи (для голоса с ф-п., 1900). Любопытно, что в наше, советское время — лишь два композитора — Н. К. Метнер (для голоса с ф-п., 1918–1919) и сравнительно недавно Б. Бриттен (для голоса с ф-п., в вокальном цикле «Эхо поэта» (на англ. яз., 1965) (см.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: Сов. композитор, 1974. С. 17). Видимо сказалась общая антирелигиозная атмосфера, наступившая в нашей стране после победы Великого Октября.

Ранимость нравственного чувства женщины, вследствие особой тонкости этого чувства, и порождает женскую стыдливость в ее наиболее высоком, наиболее развившемся выражении. Ибо эта сторона женственности, быть может, в большей мере, нежели другие ее стороны, развивалась и со-

вершенствовалась на протяжении человеческой истории, вместе с общественным и нравственным развитием всего человечества, ибо она, может быть, в большей мере, чем рассмотренные нами в предыдущих главах стороны женственности (изящество, нежность) связана с нравственным чувством и с нравственным сознанием человека: где нет стыда, нет и совести.

Связь стыда с совестью, с угрызениями совести неоспорима. Стыдливость — состояние души, как правило сопутствующее угрызениям совести. Тем не менее это не такое душевное состояние, которое можно было бы отнести к нравственным правилам. Как, вероятно, помнит читатель, воспитание себя в нравственных правилах создает благоприятную душевную атмосферу для образования себя же в духовных принципах истинной человечности (об этом говорилось в главе «Существо женственности»). Таким образом, под нравственными правилами мыслятся такие душевные состояния, которые составляют положительные условия нравственности, например, та же правдивость (в главе «Доброта» о нравственных правилах в их соотношении с женственностью будет сказано подробнее). Стыдливость же представляет отрицательное условие нравственности — ведь чувство стыда сопровождает неисполнение нравственного закона или же его прямое нарушение. Впрочем, это одно и то же, ибо неисполнение нравственного закона — форма (одна из форм) его нарушения. Веление совести — закон и подлежит неукоснительному исполнению. Принципы же истинной человечности, или же нравственный закон, есть не что иное, как безусловное повеление совести. Нравственные правила, далее, предписываются человеку, вступающему на путь добродетели, решившему образовать себя в духе нравственных принципов и жить в соответствии с ними, но каким образом можно предписать стыдливость? Так же как нельзя предписать человеку угрызений совести, если он их не испытывает на самом деле, так же нельзя предписать ему и стыд, если он этого чувства не испытывает сам. Наконец, нравственные правила, именно как правила (а не принципы) знают исключения, — в тех случаях, когда руководствование ими идет вразрез с нравственными принципами. Стыдливость же, по самому существу, по самой природе этого чувства, не может иметь исключений: ведь нельзя предписать человеку, что в таких-то обстоятельствах он обязывается к тому, чтобы не испытывать стыд, если он испытывает его на самом деле.

Следовательно, стыдливость, будучи душевным состоянием, отнюдь не безразличным в нравственном отношении, тем не менее нравственным правилом не является. Но может быть — она нравственный принцип? Это уже и вовсе, как говорится, ни с чем не сообразно. Ведь принцип, как мы уже отмечали, относится к духовной жизни человека, стыдливость же — явление душевное. Кроме того, принцип содержит в себе цель нравствен-

ности, как и нравственное правило — внутреннее средство для ее реализации, а какую цель содержит в себе стыдливость, рассматриваемая сама по себе (сама в себе)? «Будь стыдлив!» (допустим, что выставляется такой «принцип») — ради чего? Ради самой стыдливости? Стыдливость ради самоё себя — ради стыдливости же? Ведь принцип, в отличие от правила, не может иметь цель вне себя. И если бы был провозглашен «принцип» стыдливости, то в чем состояло бы его собственное содержание, в чем заключался бы его собственный нравственный смысл? Мы не говорим уже о том, что такой «принцип» был бы совершенно неисполним (— по предписанию, разумеется), как о том только что говорилось.

Чувство стыда дано человеку от природы — от его социальной природы, конечно. Даже в той его разновидности, разновидности низшей, которая неразрывна с чувством пола. О ней можно лишь сказать, что она своими корнями уходит в глубь органической природы, и только, именно естества, предопределившего половые признаки и половое деление людей. Но на этом роль природы и заканчивается, так как стыдливость и в половой сфере — явление не природного, но именно социального порядка. В половой жизни животного стыд отсутствует. Стало быть, и женская стыдливость, на которой явственно сказывается отпечаток пола и которая составляет необходимую сторону женственности, — тоже вполне общественное явление, и не только в ее высшем, чисто нравственном выражении, но и в ее низших истоках, непосредственно связанных с половою жизнью женщины.

Женская стыдливость, как уже отмечалось, развивалась и утончалась в процессе общественно-исторического развития. Чем ниже уровень общественного развития, тем ниже и уровень стыдливости. Но чувство стыда, столь свойственное женщине в цивилизованном обществе, развивается и наполняется соответствующим содержанием и на протяжении индивидуальной жизни женщины, — разнообразится, в частности, с возрастными ее особенностями.

Наивной застенчивостью характеризуется женская стыдливость главным образом у девочки, хотя она и окрашивает ее в любом возрасте женщины, сообщая женской стыдливости вообще ее поэтическое очарование. Особенность этого рода стыдливости — в ее вполне бессознательном характере. Она не осознается в качестве таковой и отличается полной непосредственностью. В ней еще нет и не может быть той лукавинки, того милого самого по себе оттенка кокетливости, который так пленяет нас в стыдливом жесте Афродиты Книдской, прикрывающей свою наготу. Стыдливость девочки, повторяем, непосредственна и ярче всего свидетельствует об исконности этого чувства в женском существе, пребы-

вающем на определенной ступени общественно-исторического развития. Если и в мальчике мы встречаемся с подобного рода непосредственной стыдливостью, которую мы определили как застенчивость, то это лишь слабое подобие застенчивости девочки, и проходит она с возрастом, как правило, быстрее, чем у девочки: «краснеет, как девочка», — сделалось поговоркой. Стыд, охвативший девочку и заставивший ее покраснеть, продолжается дольше, чем у мальчика, и носит гораздо более невыносимый для нее, «жгучий» характер. Особый характер приобретает застенчивость у девочки-подростка, которая как бы стыдится еще и своей неизбежной в этом возрасте угловатости, — как чисто физической, так и связанной с ней угловатости манер. Такую стыдливость можно было бы назвать трогательной и она-то и сообщает красоте женщины в этот переходный для нее период от девочки к девушке ту особую и непередаваемую прелесть, о которой говорилось выше (в главе об изяществе). Здесь уже повторяем, к чисто детской застенчивости прибавляется и едва приметная доля стыда за уродующую чувство изящного, от природы заложенного в женщине, угловатость фигуры и манер девочки-подростка.

Нарастает это чувство стыда (стыдливость), обогащается в своем содержании и приобретает всё новые особенности и оттенки вместе с половым созреванием женщины, с постепенным превращением девочки-подростка в девушку. Этот знаменательный переход в жизни женщины сопровождается чувством острого стыда от сознания утраты безмятежного в половом отношении и целомудренного в своей сущности чувства девичества. Появление месячных является внешним выражением этого перехода и ближайшей причиной новой трансформации девичьей стыдливости, к которой примешивается обостренное чувство чисто полового любопытства. Как бы она ни была подготовлена матерью, девочка испытывает при этом понятный испуг, который тоже присоединяется к ее чувству стыда, придавая ему вместе с упоминавшимся уже любопытством совершенно особую и неповторимую в дальнейшем окраску. Такое же переживание, но, быть может, еще более жгучее, охватит девушку в тот решающий для ее жизни момент, когда она станет женщиной — смешанное чувство острого стыда и острого же сожаления, соединенное с гордым сознанием реализации на деле заложенного в ней женского начала, чувство утраты девственности. Но пока она еще не стала женщиной, мы наблюдаем у нее уже гармоническое слияние стыдливости в ее непосредственности, или застенчивости, со стыдливостью, связанной с исчерпывающим осознанием ею своих расцветших вполне чисто женских прелестей, слияние, тоже неповторимое в своей девственной целости, свежести и лиричности, в своей затаенной интим-

ности, в своей юной романтичности и тончайшей поэтической ароматичности и которое с дальнейшим развитием (ростом) женщины уступает место уже другим, хотя и по-своему не менее прелестным выражениям женской стыдливости, когда фактор застенчивости хотя и остается, но превращается уже в оттенок и занимает определенно подчиненное положение в столь характерном для женщины чувстве стыдливости.

В женщине — любимой и любящей — женская стыдливость получает свое высшее специфическое выражение — именно как женская стыдливость, которая в дальнейшем, по мере созревания в женщине матери, будет приобретать, чем дальше, тем больше, уже общечеловеческий и чисто нравственный характер, так что женская стыдливость в собственном и точном смысле — это стыдливость женщины любимой и любящей. Здесь стыдливость непосредственнейшим образом связана с само́й интимной стороной жизни женщины, с таинством тайн этой жизни, с ее прямыми половыми взаимоотношениями с мужчиной, которые, собственно говоря, и делают ее женщиной — как таковой: ведь не сама по себе она женщина, но именно по отношению к мужчине, в каковом отношении и стыдливость выявляет свою полную природу, выражает себя в исчерпывающей мере — как стыдливость женская. И именно здесь она достигает своего апогея, перерастая самоё себя. И если женщина до известной степени перестает уже стыдиться мужчины (своего мужа), прежде всего, понятно, что касается до ее наготы и половой сферы, то не потому, конечно, что она становятся бесстыдной, но потому, что присущая ей по природе стыдливость на этой стадии ее жизни, коль скоро она готовится сделаться матерью, приобретает новую особенность, вернее, даже не новую вовсе, но усиливает в женщине ту именно особенность, которая связана именно с ее потенциальной материнской природой, становится стыдливостью больше нравственного, нежели физического свойства.

Материнская стыдливость имеет уже совершенно новую особенность, отличающую ее от женской стыдливости в собственном смысле. В материнской стыдливости сказывается, прежде всего, стыд нравственного существа человека, испытывающийся им от сознания до обидного примитивного и чисто животного характера как самого полового акта, так и наслаждения, с ним связанного. При всем том, что половая жизнь представляется насущной потребностью и естественной необходимостью, человек не может не осознавать ее вполне низменного, чисто физиологического свойства, оскорбляющего его нравственное достоинство. Такое сознание преимущественно обнаруживается в женщине как существе более нравственном, чем мужчина, как существе нравственном, можно сказать, по самой природе, в женщине-матери. Ибо до этого, до материнства,

половой акт выступает еще в своем опоэтизированном виде — как акт полного слияния с любимым, когда чудо прикосновения, знакомое нам еще с самой ранней юности, если даже не с самого детства, вырастает до размеров чуда превращения двух любящих друг друга существ в одно...

Можно думать, что в женщине-матери, еще носящей в себе или родившей уже новое до беспамятства любимое существо, эта поэтическая сторона интимной близости с мужчиной, хотя и постепенно, быть может, но заметно ослабевает и выступает на первый план, получает все большее выражение знакомое ей с самого начала физической близости чувство стыда, о котором говорилось выше. Нечего и говорить о том, что этот новый оттенок стыдливости в женщине-матери, состоящий в том, что несмотря на такое сознание и легкое чувство брезгливости, с ним связанное, женщина не перестает нуждаться в интимном общении с мужчиной и не перестает в этом смысле с ним общаться даже после того, как в ней самой эта потребность уже угасает (ведь должна же она идти ему навстречу), — этот новый оттенок сообщает женской стыдливости новую прелесть, обогащает сознание женщины сознанием ее интимного родства с ее младшими сестрами из животного царства, сознанием своей великой и кровной общности с природой как целым.

Если принять во внимание, что женщина-мать также идет, как мы только что сказали, в этом смысле навстречу мужу, считая своим долгом и удовлетворение его собственной насущной и естественной потребности, то новая прелесть, привносимая в женскую стыдливость этим новым оттенком, состоит еще и в моменте жертвенности: уступая мужчине, женщина, сама не испытывая потребности, как бы жертвует ради него, если угодно, ради его слабости своим стыдливым и слегка брезгливым чувством, вызываемым в ней натуральной стороной взаимоотношений полов.

С преклонным же возрастом женщины, с углублением и развитием ее великого материнского чувства, распространяющегося уже не только на собственных детей, но и на детей своих детей, но и на всех решительно детей на всем белом свете, и не только на детей, но и на взрослых, которых она считает, в особенности мужчин, как и своих собственных ставших уже взрослыми детей, за взрослых детей же, с углублением и развитием этого материнского чувства женщины до материнской опеки над всем человечеством, над всеми решительно людьми, без единого изъятия, женская стыдливость вырастает до размеров чисто нравственной стыдливости, превращается уже в непосредственную нравственную застенчивость, ибо становится второй природой женщины — в великий стыд и великое страдание за человека и человечество, если они поступают не так, как до́лжно.



Любовь

Я написал это заглавие, и волна нежности нахлынула на меня, мягко и властно обволокла душу. Мы вступаем с вами в самую заманчивую главу жизни женщины, быть может, жизни человека вообще. Уже само слово «любовь» окружено ореолом и овеяно славой. Конечно, жизнь человека складывается из множества и притом самых разных интересов: здесь и трудовая деятельность и общественная, и научные, художественные, литературные занятия, и спортивные увлечения. И было бы вполне бесцельным делом попытаться перечислить эти интересы, составляющие в своей совокупности поистине неисчерпаемое богатство жизни разумного и нравственного существа, призванного по самой сущности преобразовать старый и создать новый, очеловеченный мир в природе, обществе и в себе самом, в собственном сознании, — мир добра. И все же, кто захотел бы свести жизнь к этим социальным интересам, мало понял бы в ней, ибо жизнь — это не только общественные интересы, но и биологическое явление, если хотите, биологическая потребность в том, что живет (коль скоро оно живет), а значит в ней — в жизни — играют и не могут не играть — свою роль и половые отношения. Любовь и олицетворяет собою это вполне органическое единство и биологического и общественного в человеке.

В самом деле, стоит поставить вопрос, какое же место среди названных нами самых разнообразных жизненных интересов — деятельности, занятий, увлечений — занимает любовь, чтобы тут же и выяснилось для нас, что любовь — это вовсе не «интерес» в жизни — не деятельность, не занятие, не увлечение (увлекаться можно марками!). Любовь — сама жизнь. В самом деле, можно ли сказать, что человек «интересуется» любовью, «занят» любовью, или даже «увлекается» любовью (хотя мы часто и говорим о «любовных увлечениях»; но это уже в другом смысле). Нет, мы говорим, что человек объят любовью, ибо любовь — чувство, притом такое, которое захватывает человека целиком, захватывает всего человека, не только его духовное, но и физическое существо. Кстати уже само по себе это слово —

чувство — говорит об органичном слиянии общественного в человеке с физиологическим в нем. Любовь — это чувство, а влюбленность — состояние этого чувства, включающее в себе его возникновение, развитие и кульминацию. И когда говорят, что любовь — род недуга (Пушкин это говорит), то этим и хотят подчеркнуть, что любовь от воли человека не зависит, что она сильнее его, ибо в ней сердцевина жизни (человек может иногда презреть жизнь, но только не любовь и только не в состоянии влюбленности), и приходит к человеку любовь и уходит из его жизни не спросясь. Но никогда он не живет такой полнотой жизни, никогда жизнь так чарующе не действует на его воображение, как именно в ту пору, когда он объят любовью (какое и в самом деле точное слово придумали люди, не правда ли, — объят любовью?). Любовь — это поэзия человеческой жизни. Можно смело и с полным основанием сказать, что ни одно другое человеческое чувство не имеет в себе такого заряда высокой поэтической одухотворенности, как то чувство, к которому нам с вами предстоит прикоснуться в этой главе.

Для женщины любовь, в силу ряда причин, о которых отчасти говорилось выше и которые обусловлены особенностями ее физиологической, или «материнской», организации, приобретает особенное, не будет преувеличением сказать, исключительное значение. Она прежде всего и непосредственнейшим образом увязывает жизнь женщины с жизнью мужчины. Жизнь женщины как бы перехлестывает через край ее собственного существа и полновластно входит в жизнь, дотоле ей чуждую, — в жизнь мужчины. Я с понятным трепетом принимаюсь за эту тему, столько же важную, сколько и запутанную самыми разноречивыми мнениями многих писателей на протяжении веков: кто рассматривает любовь как возвышеннейшее чувство в человеке, кто, напротив, сводит ее к тривиальной потребности. И я, вероятно, не стал бы пробираться через эти дебри — дебри любви, — если бы меня к этому не обязывала моя тема, тема настоящего сочинения. По честному же говоря, не стану лукавить: тема любви и сама по себе занимает меня давно.

Не приходится, конечно, доказывать, что женская любовь — такая же характерная черта женственности, как и рассмотренные уже нами ее черты — изящество, нежность, стыдливость. Это очевидно само собой и не представляет особых трудностей для понимания. Зато настоящую трудность представляет выяснение особенностей женской любви, — в отличие от любви мужской. Еще в ранней моей юности, когда я был полон романтических мечтаний, моя старшая сестра, славившаяся своей необыкновенной красотой, сказала мне, не припомню, в какой связи, что женщина, в отличие от мужчины, отвечает на любовь. Я помню зато очень хорошо, что я был уязвлен этими словами в своей мужской гордости и с запальчивостью

возразил, что в них сказывается чисто женское самомнение и что на самом деле никакой разницы между любовью женщины и любовью мужчины нет, если, дескать, это настоящая любовь. В ответ сестра только снисходительно улыбнулась: мол, станешь старше — поймешь. И действительно, ответный характер любви женщины, преимущественно ответный характер любви, понятно, — является, как я сейчас думаю, главной и основной особенностью любви женщины сравнительно с любовью мужчины, ибо этой особенностью объясняются решительно и все остальные особенности этой поистине легендарной любви. Ведь любовь женщины, как и любовь вообще, давно стала легендой, о ней сложены и слагаются прекрасные стихи, ей посвящена и посвящается проникновенная музыка, о ней создавали и создают блистательные шедевры литературы (художественной прозы) и искусства — графики (рисунка), живописи, ваяния, о ней писали и пишут целые философские трактаты (достаточно напомнить в этой связи знаменитый трактат Стендаля). Романы, в которых нет любви, вообще не читаются, никем не признаются, — даже если это исторические романы. Да и само слово «роман» сделалось на нашем языке синонимом любви. А сколько таких романов насчитывает всемирная литература? В общем, не счесть всего созданного о любви — с целью разобраться в ее природе.

Тем не менее остается вопросом: а поддается ли вообще сколько-нибудь удовлетворительному объяснению чувство, такое, по-видимому, капризное и так по-разному проявляющееся в каждом отдельном человеке, какова любовь вообще и любовь женщины в особенности, не ускользает ли оно от любых попыток такого анализа — совершенно? Ведь нельзя отрицать, что если чувства вообще индивидуально окрашены, то во сколько крат больше должно нести в себе печать индивидуальности чувство, кажущееся средоточием всей жизни человека, — по крайней мере в момент, когда оно им владеет. И, быть может, ни в чем другом общечеловеческое с такой силой не проявляется в индивидуальном воплощении, как именно в любви.

Но такая аргументация только кажется неоспоримой. На самом же деле остается фактом: как бы ни были многочисленны черты различия между людьми, общего между ними еще больше, и совершенно ясно, что не эти различия должны лечь в основу анализа сущности человека и его чувств, но как раз это общее, приобщающее каждого, невзирая на все его неизбежные индивидуальные особенности, к трудовому человечеству. Справедливо, что чувство любви является перед нами общечеловеческим чувством — при всей его индивидуальной окраске, и этот-то общечеловеческий характер и делает возможным его удовлетворительное объяснение. Иными словами, индивидуальные многочисленные особенности человеческой любви, как

бы многочисленны они ни были, не в силах скрыть от нас те ее общие особенности, которые отличают ее как таковую и составляют существенное в ней — ее природу. Если бы дело обстояло таким образом, что особенное и единичное заслоняло для нашего разумения общее и существенное, то мы лишены были бы возможности вообще познавать — познать что бы то ни было в природе вещей. Единичное не только не может помешать познанию общего, но только общее делает возможным познание самого единичного.

Коль скоро мы сделали предметом этой главы столь обширную тему, как любовь, мы должны его ограничить со всех сторон, чтобы не было ни малейшей двусмысленности в том, о чем у нас пойдет речь, и для того, разумеется, чтобы нам легче было разобраться в самом предмете. *Первое*. Речь будет идти не о любви в широком смысле этого слова — не о любви к природе, животным или цветам, не о любви к произведениям искусства, не о любви даже к человеку вообще или же к детям в особенности, родным или неродным, но единственно о любви мужчины и женщины, или о половой любви. *Второе*. Речь идти будет не столько о супружеской любви, но о той именно любви мужчины и женщины, которая предшествует супружеской любви и которую, как это выяснится из дальнейшего, нельзя отождествить с последнею без того, чтобы сразу же выпустить из своих рук нить повествования. Коротко говоря, речь будет идти главным образом о любви, которую мы условно назовем поэтической, или романтической, любовью и чистым выражением (или, как принято говорить, чистым случаем) которой является любовь двух юных существ. Ибо хотя любовь пожилых мужчины и женщины, не завершившаяся еще совместным жительством, во многом и даже в существенном напоминает любовь двух юных существ, она, однако же, осложнена тем важным обстоятельством, что обременена опытом жизни, скрывающим от нас лежащую в ее основе, как и в основе поэтической (романтической) любви, о которой мы будем трактовать здесь, целомудренную, девственную чистоту. *Третье*. Речь будет у нас идти не столько о любви мужчины к женщине, сколько именно о любви женщины к мужчине, — ведь мы вообще трактуем о любви как неотъемлемой черте женственности, и только. Совершенно естественно вместе с тем, что в ходе изложения нам все же придется касаться и других форм женской любви и любви мужчины и женщины вообще, и не только такой любви, но и любви к детям и любви к человеку вообще, — с тем чтобы как можно яснее и четче очертить характер той любви, которая составляет главный предмет этой главы.

Юность, о которой у нас пойдет речь, нашла, как мне представляется, свое адекватное пластическое изображение в мраморной статуе девушки, установленной на одной из площадей Барселоны, работы Хосе Клары

(1902 г.). Статуя так и называется «Юность» (илл. 44). Сколько мечтательной задумчивости в лице ушедшей в себя девушки и какой поэзией и чистотой веет от всего ее лучезарного облика. Стоя на людной площади, она, должно быть, многих и многих вдохновила на подвиги во имя добра, быть может, даже на прямые революционные выступления, вовсе, вероятно, и не подозревая о том, что на нее смотрят — так поглощена она своими девичьими думами, ибо кто в состоянии отрицать, что думает она сейчас именно о любви к ней отважного юноши. Достаточно всмотреться в ее лицо, чтобы убедиться в том, что отнюдь не тяжелые думы владеют ею, но думы, хотя и весьма важные и значительные, но отрадные. А что отраднее в ее возрасте и вместе важнее, чем думы о любви? Гордость, светящаяся в ее лице, весьма сдержанна, не переходит в мелкую и вульгарную горделивость. Эта гордость свидетельствует о том, что она любима и, конечно, беззаветно любима, до обожания, — как только можно любить вообще и как только можно любить в особенности в эти годы — трижды благословенные годы юности. Несомненно также, что и она любит, так как не встреть эта любовь к ней ответного чувства, она, эта неразделенная любовь, какой бы глубокой ни была, не смогла бы так поглотить все ее существо. Значит, и она любит, а коль любит, то тоже беззаветно, может быть, даже сильнее, чем любит ее юноша, если это только возможно. Не следует забывать, что любовь женщины, хотя и имеющая ответный характер, не знает пределов, как не знает пределов и ее самопожертвование в этой любви.

Было бы, понятно, ханжеством и лицемерием скрывать от самих себя тот неоспоримый факт, что в основе самой что ни на есть поэтической любви лежит самый что ни на есть банальный инстинкт — половой инстинкт. Даже самая возвышенная, повторяю, самая идеальная, пусть даже самая платоническая любовь была бы, как это самоочевидно, беспочвенна, если бы не противоположность полов и порожденный ею половой инстинкт, так или иначе сказывающийся в каждом живом человеке.

Но хотя это и так, и любовь и в самом деле невозможна без полового инстинкта, и не только в смысле происхождения ее из этого инстинкта, но и в смысле его постоянного соприсутствия, сопутствования ей в качестве подосновы, было бы глубоко ошибочно и ни с чем не сообразно сведéние любви к этому инстинкту. Отождествление любви с половым инстинктом так же не состоятельно, как и совершенное игнорирование последнего в деле выяснения ее природы. Любовь теснейшим образом связана с общественной и трудовой, творчески-революционной, нравственной природой человеческого существа. И если физиологическую предпосылку и даже основу любви (точнее — подоснову) и в самом деле составляет половой инстинкт, то ее содержание коренится в общественной природе человека.

Объективная творчески-преобразовательная природа человека проявляется в любви со стихийной силой, как это показано в нашей «Этике» (*Мильнер-Иринин Я. А.* Этика, или Принципы истинной человечности. М.: Наука, 1999. С. 444–445). Повинуясь этой своей природе, любящий образует из любимой настоящее произведение искусства, иными словами, идеализирует ее, наделяя в своем романтическом воображении любимую такими качествами, которыми она заведомо не обладает, претворяя в создаваемом им самим образе любимой идеал прекрасного. Любопытнее всего при этом то, что он не поступает так вполне сознательно, что идеальный образ любимой, столь явственно отличающийся от реального ее облика, создается в воображении любящего непреднамеренно, — до того в нем живет потребность в идеальном образе любимого существа, пред которым он смог бы склониться... До того в нем живет эта неизбывная тоска по прекрасному.

Любовь сообщает любимой такую характерную черту, какова загадочность. В глазах любящего любимая окружена тайною, и дело не только и даже не столько в особенностях строения ее тела, которые всегда будут пленительны для мужчины, по крайней мере пока он их не познал, сколько в прелестных чертах ее духовного облика, хотя и рожденных большею частью им, любящим, самим, силою его собственного воображения, но рожденных им, как уже говорилось, непроизвольно и так срастающихся в нем с ее действительным — и телесным и духовным — индивидуальным обликом, что воспринимается им как исходящий от нее самой ореол таинственности. И этот ореол, которым он же окружил любимую, возбуждает в любящем чувство, которое иначе как обожанием не назовешь. Недаром во все времена и у всех народов это чувство так и называют — обожанием. И если и в самом деле существует божество для человека, то это его Единственная, его любовь. И оно, божество это, в отличие от всех решительно божеств на свете, вполне реально, ибо естественно. Между прочим, культ «Прекрасной Дамы» (илл. 45), занимающий столь большое место в раннем поэтическом творчестве Александра Александровича Блока, есть извечный культ всех влюбленных — на всем белом свете, — с существенной, впрочем, поправкой: без всякой примеси мистицизма, столь характерного для начала литературной деятельности Блока и навязанного ему мистической поэзией Владимира Соловьева. Не приходится доказывать, что в юные годы этому прекрасному божеству приносятся особенно обильные жертвы. В жертву своему кумиру юноша приносит всю свою жизнь — без остатка, посвящает ему все свои помыслы, связывает с ним все свои чаяния и надежды, воплощает в нем все свое счастье.

Будучи вполне идеальным образом, образ любимой играет, однако же, вполне реальную творчески-преобразовательную роль, ибо делает как любимую, так и любящего и в самом деле выше, чище, благороднее, человечнее, иными словами, поднимает и ее и его на новую нравственную, духовную высоту. Любимая, сумевшая внушить столь возвышенное к себе чувство, проникается еще бóльшим сознанием собственного достоинства, присущим ей по природе как существу изящному и, нередко бессознательно для себя самой, стремится приблизиться к идеальному образу, возбужденному ею в любящем. Так же и любящий, одержимый возвышенным идеальным образом любимой, плененный этим, им же самим созданным образом, до такой степени, что готов от счастья любви к такому редчайшему существу, к своей Единственной, обнять и расцеловать каждое повстречавшееся ему дерево и весь мир целиком, очищается, тоже нередко бессознательно для самого себя, ото всего безнравственного, безобразного в себе, в свою очередь всеми силами стремится приблизиться к идеальному образу любимой. Так самым непосредственным образом связана любовь с нравственным ростом человека и человечества. Так самым интимным образом связана любовь с самóй творчески-преобразовательной сущностью человека, без привлечения которой она оказалась бы для нас книгою за семью печатями.

Вы, конечно, обратили внимание на то, что роль творящего начала в создании идеального образа, иными словами, роль первоначальной влюбленности здесь отдана ему, а не ей. Она же выступает здесь в роли дарительницы счастья и эталона для создания идеального образа. Ибо хотя в основе любви лежит отношение любящего и любимого существ и в принципе можно себе представить обратное соотношение, а именно, роль творящего начала в создании идеального образа любимого существа приписать ей, тогда как его наделить ролью дарителя счастья и эталона для создания идеального образа, и хотя в действительности так нередко и бывает, но каждому ясна известная «искусственность» такого обратного соотношения, чтобы оно было правилом (а не исключением). Ведь идеальный образ прежде всего внушается внешностью (влюбляются и в самом деле, как правило, с первого взгляда), изящной внешностью. Изящество же в собственном смысле отличает, как мы видели, именно женщину. Поэтому роль реального эталона для создания идеального образа любимого существа приличествует ей, тогда как роль творящего начала в его создании должна быть отведена влюбившемуся в нее мужчине. И женщина, следовательно, и в самом деле отвечает на любовь.

Конечно, от нас не скрыто то обстоятельство, что бывает и по-другому: он влюблен в нее, она же в другого, который, в свою очередь, тоже

влюблен в другую (не в нее). Об этом, кстати, хорошо сказано у Гейне (привожу в переводе Алексея Николаевича Плещеева).

Красавицу юноша любит;
Но ей полюбился другой.
Другой этот любит другую
И на́звал своею женой.

За первого встречного замуж
Красавица с горя идет;
А бедного юноши сердце
Тоска до могилы гнетет.

Старинная сказка! Но вечно
Останется новой она;
И лучше б на свет не родился
Тот, с кем она сбыться должна!

(См.: *Плещеев А. Н.* Полное собрание стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1964. С. 294.)

Конечно, повторяем, бывает и так и даже, как видим, очень часто: ведь сказано, что эта старинная сказка вечно остается новой. И все же не этот случай характеризует естественный механизм любви, если позволено выразиться столь прозаически в таком романтически-поэтическом деле. Механизм этот в его чистом виде, не обремененном случайностями, представляется мне именно таким, как он обрисован выше, хотя возможны различные отклонения от него, к числу которых относится и изображенный Гейне классический случай. Отклонения эти, по моему глубокому убеждению, связаны с реальной сложностью человеческой любви и с преобладанием в ней то физиологического, то психологического, то возрастного, то чисто нравственного факторов, неизбежно затемняющих этот естественный (и простой) механизм любви. Разобравшись в этом механизме, мы можем разобраться в любом другом случае, не разобравшись же в нем, любой решительно случай любви останется недоступным нашему пониманию.

Хотя, продолжаем углубляться в нашу тему, любви, как это хорошо известно, все возрасты покорны, она, однако, со всей силой непосредственности выступает в юные годы, в весеннюю пору жизни человека. Природа «позаботилась» о том, чтобы в этот ответственнейший для воспроизведения человеком себя в потомстве период жизни любовь была озарена для него особенным, сказочным блеском, была окружена для него особенным ореолом значительности и обаяния. Когда я говорю о природе, что она позаботилась о воспроизведении человеческого потомства, то я имею в виду,

как это, вероятно, ясно само собой, что она одновременно позаботилась и о воспроизведении себя самой в том же человеческом потомстве, если не отрицать (а кто в состоянии отрицать это?), что человек — часть природы. Природа справедливо «решила», что для воспроизведения себя в человеке — этом разумном и нравственном существе — одного полового инстинкта недостанет (он вполне достаточен в животном мире), ибо человек в своем общественно-историческом развитии, по мере последовательно-поступательного утверждения им себя в своем человеческом качестве и всё большего удаления от животного состояния, постепенно выходит из-под эгиды животных инстинктов, коль скоро даже всевластный инстинкт самосохранения не сохраняет над ним своей прежней силы, если человек нередко предпочитает смерть скотскому образу жизни. Вот почему природа и проявила особую «изобретательность» в том, чтобы сделать любовь столь приманчивой для человека и именно в юные годы. Как правило, в эти годы любовь представляется самым важным в жизни, захватывает все клеточки человеческого существа, чудесным образом превращает отрока в юношу, а девочку-подростка в девушку, наделяет их необычайной взаимной притягательной силой. Человеческий организм испытывает настоящее потрясение, многократно описанное в литературе, потрясение столь же бурное, сколь и радостное и не раз сравнивавшееся с весенним половодьем, и с весенним же пробуждением целой природы; весь он и физически и душевно коренным образом перестраивается под знаком любви. «Революция» физическая сопровождается «революцией» духовной, невиданно доселе и резко умножаются и душевные и нравственные силы. Любовь пробуждает их, ранее дремавших, во всяком случае, не развернувшихся еще в полную мощь, к жизни, приводит из потенциального в деятельное состояние, и в этот многообещающий, самый прекрасный в жизни человека период для него нет решительно ничего невозможного.

У Петефи есть такие строки (привожу в переводе Л. Мартынова):

Вот оно что значит мудрость!
Было ясно мне, дитяти,
То, о чем иные старцы
Не имеют и понятья:
Знал я, что лучи живые
Посылает только солнце,
Но оно горит не в небе,
А пылает в нашем сердце,
И «любовь» оно зовется!

(*Петефи Ш*. Собр. соч.:
В 3 т. Будапешт: Корвина, 1964. Т. I. С. 441.)



Поэт заявляет о себе, что он начал влюбляться «чуть не с самой колыбели» и в этом сомневаться не приходится: многие могли бы заявить о себе то же самое. Но высшего, поистине классического своего выражения любовь, конечно же, достигает в чувстве юноши и девушки. Это чувство неувядаемо, оно дает о себе знать во всю последующую жизнь, и если что-либо способно скрасить закатные дни человеческой жизни, то, наряду с мыслью о добрых делах, совершенных в этой жизни человеком, — лишь не покидающее его ощущение этой великой любви юности.

Где найти слова, чтобы в должной мере охарактеризовать это чувство — олицетворение самой юности, — его непосредственность, его поэтичность, его нежность, его трепетность, его проникновенность, его возвышенность, его девственную чистоту и покоряющую силу, тревожно-счастливое состояние, им сообщаемое? Признаюсь, что я много потратил времени в поисках таких особенных слов, но так и не нашел, и не оставалось ничего другого, как обратиться к словам самым простым, самым обыденным. И это понятно: я не смог сказать ничего такого, что не было бы известно всем и каждому задолго до меня и для чего давно уже, с тех самых пор, как существуют люди, найдены слова столько же простые, сколько и точные, под стать пронзительной естественности самого чувства. Мы увидим из дальнейшего, что эти слова не только не теряют в убедительности, но как раз напротив, носят на себе отпечаток особой весомости, наложенный на них их неизменной повторяемостью на протяжении многих и многих, поистине неисчислимых, поколений людей на всех языках мира. «Я люблю Вас». Что может быть весомее этих трех слов, столь простых каждое в отдельности и столь выразительных в своем сочетании, слов в этом сочетании не только не истершихся в своем значении вследствие их столь частого в человечестве употребления (вероятно, миллиарды раз!), но продолжающих волновать в каждом решительно случае объяснения в любви так, словно они сказаны впервые в истории, словно они вот-вот возникли. И так обстоит со всеми самыми простыми словами, к любви относящимися. Такова волшебная сила любви. Именно любовь сообщает им, самым обыкновенным, казалось бы, словам их необыкновенную прелесть.

Одновременно и знойное и нежное и стыдливое томление первой девической любви очень хорошо показано в хранящейся в Эрмитаже мраморной скульптуре Антонио Кановы «Амур и Психея». Между прочим, этот замечательный итальянский мастер много лет жил и творил в России, так что в некоторой мере мы можем считать его своим соотечественником. Скульптура изображает прекрасную в своей юности спящую девушку, к устам которой со страстным поцелуем прильнул Амур. Любовное том-

ление сказывается во всей ее как бы расслабленной обнаженной фигуре, в смущенном выражении ее лица, в угадываемом колыхании ее невинной груди, которой касается нежно обхвативший ее за плечи Амур, в страстно напряженной позе девушки, в том, как она откинула назад свою прелестную головку, как бы защищаясь от нахлынувшего на нее впервые заставшего ее врасплох и радующего и пугающего ее в одно и то же время чувства. Можно ли сомневаться в том, что после такого божественного поцелуя девушка встанет со своего одинокого девичьего ложа внутренне созревшей для любви. А пробудить любовь — в этом и состояло назначение поцелуя. В этом же и божественная миссия Амура (илл. 46).

Веселый, шаловливый, коварный, а подчас и жестокий мальчик — так рисовался воображению древних этот единственный сын богини любви (*Кун Н. А.* Легенды и мифы Древней Греции. М.: Учпедгиз, 1955. С. 57). Как ребенку, да еще капризному, ему приводилось иногда и плакать, когда, например, он был ужален осой, и матери приходилось утешать его и гладить по головке. Он пронзал сердца людей извечною любовью, и образ его неизменно, начиная с Древней Эллады, поражал воображение художников и поэтов, запечатлевших тем самым немеркнущее значение любви в жизни человеческой. Мы уже видели, как Амур беспокоит спящих девушек, очень хорошо зная, что во время сна девушки менее всего защищены от «любовной напасти» (удивительное народное выражение, не правда ли?). А вот образ Амура, действующего в открытую, нисколько не стесняясь при этом, — ведь он выполняет божественную волю своей прекрасной матери Венеры. Мы воспроизведем здесь лишь два скульптурных образа этого чтимого всем человечеством божества. Первый из них «Эрот» (илл. 47) является римской копией I в. н. э. с оригинала греческого скульптора Лисиппа (третья четверть IV в. до н. э.). Другой под названием «Амур» (илл. 48) принадлежит резцу называвшегося уже нами в главе об изяществе французского ваятеля Фальконе (XVIII в.) . Следовательно, двадцать два века отделяют одну скульптуру от другой, и если они обе одинаково волнуют и сейчас, в третьей четверти XX в., то это ли не доказательство неистребимого обаяния любви? Кстати, обе замечательные скульптуры хранятся у нас — в Ленинградском Эрмитаже. Если на второй скульптуре Амур еще только лукаво своим пальчиком грозится, как бы говоря: «Погоди, ты у меня еще попадешься, ты у меня еще влюбишься, вот увидишь!», то в первой он показан в момент, когда приводит свою угрозу в исполнение: вот он изогнулся, прицеливается, и можно не сомневаться в том, что его золотая стрела попадет-таки в цель — безразлично будет ли это «он» или «она». При этом сколько недетской серьезности и мудрости в данный

ответственный момент заключено в его сосредоточенном взгляде: ему как бы дано «свыше», чисто интуитивно, знать, что его труд, который он принимает за игру, очень нужен, что он одновременно и приносит счастье, и способствует продолжению человеческого рода.

В этой связи нельзя пройти мимо замечательной мраморной группы Пьетро Тенерани «Венера и Амур» (тоже — Эрмитаж). И богиня любви и ее сын делают, конечно, общее дело, значительность которого не может быть преувеличена, друг друга понимают с одного взгляда, друг друга нежно любят — материнскою и сыновнею любовью. Сейчас богиня возлежит перед нами задумчивая и прекрасная в своей наготе. Амур же одновременно и любуется на ее божественную красоту и старается угадать ее мысли — ведь его стрелы, по повелению богини, несут людям, и не только людям, но и богам, не одни лишь радости и счастье, но нередко и муки любви и даже гибель от нее (илл. 49). Недаром сам Зевс, отлично зная, сколько горя и слез принесет с собой в мир сын «Златой Афродиты», выразил пожелание, чтобы его умертвили еще при рождении и, вероятно, добился бы этого, если бы мать не поспешила надежно скрыть свое дитя — в лесных дебрях, где его вскормили своим молоком две свирепые львицы (см.: *Кун Н. А.* Легенды и мифы Древней Греции. М.: Учпедгиз, 1955. С. 57–58). Только раз причинил горе своей матери Амур, — когда сам влюбился в земную девушку Психею, красоте которой позавидовала сама богиня красоты. Нелишне, пожалуй, напомнить, что греческая мифология была воспринята римлянами: Зевс получил имя Юпитера, Афродита — Венеры, Эрот — Амура.

О любви написано очень много. Можно думать, что ни о чем другом так много не написано, как о любви. И тем не менее, по уверению великого английского драматурга, «нет печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте» (*Шекспир У.* Полн. собр. соч.: В 8 т. / Пер. Т. Щепкиной-Куперник. М.: Искусство, 1958. Т. 3. С. 130). Слов нет, повесть эта и в самом деле весьма и весьма печальна. При мысли о ней кровоточит душа. Но ведь не менее печальна и повесть о любви Паоло и Франчески, о которой повествует великий итальянский поэт за четыре столетия ранее английского собрата. Спустившись во второй круг ада, в котором томятся сладострастные, непрерывно влекомые по кругу и мучимые ужасным вихрем, Данте находит в нем Франческу из Римини (Франческу да Римини), которая и рассказывает ему о своей несчастной любви, приведшей ее в ад:

«Я родилась над теми берегами,
Где волны, как усталого гонца,
Встречают По с попутными реками.



Любовь сжигает нежные сердца,
И он пленился телом несравнимым,
Погубленным так страшно в час конца.

Любовь, любить велящая любимым,
Меня к нему так властно привлекла,
Что он со мной пребыл неразлучимым.

Любовь вдвоем на гибель нас вела; <...>
<...>
Но если знать до первого зерна
Злосчастную любовь ты полон жажды,
Слова и слезы расточу сполна.

В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте сладостный рассказ;
Одни мы были, был беспечен каждый.

Над книгой взоры встретились не раз,
И мы бледнели с тайным содроганьем;
Но дальше повесть победила нас.

Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,

Поцеловал, дрожа, мои уста.
И книга стала нашим Галеотом!
Никто из нас не дочитал листа».

Рассказ Франчески да Римини произвел на поэта потрясающее впечатление, как о том свидетельствует он сам:

Дух говорил, томимый страшным гнетом,
Другой рыдал, и мука их сердец
Мое чело покрыла смертным потом;
И я упал, как падает мертвец.

(*Данте*. Божественная комедия:
Ад / Пер. М. Лозинского. М.: ГИХЛ, 1940. С. 62–63.)

В приведенных строчках мы, кстати, видим явный намек на то, что женщина отвечает на любовь: «Любовь сжигает нежные сердца. И он пленился телом несравнимым». Он первый влюбился в нее, она же зажглась ответным к нему чувством: «Любовь, любить велящая любимым, / Меня к нему так властно привлекла, / Что он со мной пребыл неразлучимым». Лишь в порядке исключения женщина и мужчина ме-



няются в этом местами, и такие исключения редко приводят к счастливой любви — к любви взаимной.

Прекрасная иллюстрация Дорэ к приведенному месту из Дантова «Ада», в котором повествуется о любви Паоло и Франчески, показывает нам вечные адовы муки, к которым они приговорены в наказание за любовь (илл. 50).

И все же, как ни печальны обе повести и как ни велико несчастье, постигшее любовь Паоло и Франчески, Ромео и Джульетты, любовь эта не может не почитаться вместе и за великое счастье, ведь в обоих случаях мы имеем дело с взаимным и глубоким чувством и в обоих случаях смерть (а в первом случае — и вечные муки) не разлучила влюбленных. И кто может усомниться в том, что и Паоло и Франческа, и Ромео и Джульетта продолжали бы любить друг друга даже и зная наверняка о печальном конце, их ожидающем? Можно не сомневаться в том, что они любили бы друг друга еще крепче, если бы это только было возможно... И в памяти людей не этот насильственный и гибельный конец, но эта пламенная любовь живет и разгорается все с новой силой в каждом новом поколении влюбленных. Не эту ли мысль стремился воплотить в своей великолепной скульптурной группе «Ромео и Джульетта» (1905 г.) Роден (Ленинградский Эрмитаж). Всепоглощающая страсть буквальным образом слила в одно неразличимое целое две души и два тела (илл. 51). Мы не видим их лиц, ибо они любят друг друга до самозабвения, каждый живет в другом и не имеет уже собственного лица. Любовь снивелировала все их индивидуальные особенности, с тем, чтобы они — Любящий и Любимая — во все века остались неразлучными, являли собой не два лица, а одно, кстати, общечеловеческое лицо, именуемое «Любовью». Ромео и Джульетта бессмертны. Бессмертие же по самой природе имеет всеобщий характер. Только всеобщее бессмертно, личное же, по необходимости, ограничено и преходяще, и только совесть в тебе — начало бессмертия, ведь оно приобщает тебя к всеобщей совести человечества! Не приходится доказывать, что только такая любовь согласуется с совестью и из совести проистекает. И в этом залог ее бессмертия. Но желая быть верным исторической правде, я воспроизвожу также и сцену смерти Джульетты, — хотя в принципе она бессмертна, — как она рисовалась воображению постановщиков спектакля «Ромео и Джульетта» в театре Олд-Вик в Лондоне в 1929 г. Ромео — Джон Гилгуд, Джульетта — Адель Диксон. (Фото воспроизведено в приложении «Иллюстрации» // *Шекспир У.* Полн. собр. соч.: В 8 т. М.: Искусство, 1960. Т. 8). Мы видим, что и мучительная смерть не смогла обезобразить чистое и прекрасное, дышащее благородством лицо девушки. Эта

сцена смерти от любви потрясает сердца и будет потрясать их, доколе живо будет человечество (илл. 52).

Любовь Ромео и Джульетты на самом деле бессмертна, как бессмертна и любовь Паоло и Франчески, как бессмертна любовь многих и многих других «Его» и «Ее», как вечна и бессмертна, — доколе не прейдет род людской, — сама любовь. Ведь она олицетворяет собою саму весну в жизни человека, в жизни каждого отдельного человека — Вечную весну, как она предстает перед нами в изображении того же Родена в мраморной скульптурной группе, тоже хранящейся в Ленинграде, в Эрмитаже, и так и называющейся «Вечная весна» (после 1884 г.). Два очень юных обнаженных существа, озаренные солнцем, обнялись в нежном и страстном поцелуе. В этом поцелуе сосредоточилась для них вся жизнь, вся природа. Лучше сказать: для них — двоих — в этот момент нет решительно ничего: ни солнца, ни неба, ни земли, на которой они стоят, ни растений, ни птиц, решительно никого и ничего, кроме этого поцелуя, которому не предвидится конца (илл. 53). Такова эта любовь юных — она поистине безгранична, такова весна нашей жизни, она поистине вечна. Любовь с самой глубокой древности, во всяком случае уже в античности, отождествлялась с весной, что явствует хотя бы из того, что древнеримская богиня Венера, первоначально выступавшая в роли богини весны, с проникновением греческих культов стала отождествляться, как уже говорилось, с Афродитой, греческой богиней любви.

Даже боги не в состоянии воспрепятствовать любви: как ни старалась Венера помешать любви Амура и Психеи (пошла молва среди людей, что девушка эта превзошла красотой самоё богиню), к каким только ухищрениям и козням она с этой целью ни прибегала, любовь оказалась сильнее ее (сильнее богини любви!), как об этом свидетельствует бессмертный автор «Золотого осла». И это несмотря на то, что Психея из-за своего извечного женского любопытства (впрочем, на сей раз вполне оправданного) сама подала повод для Венериных козней. Художник Б. Дехтерев иллюстрирует как раз тот момент, когда Психея, нарушив прямой запрет Амура, отважилась лицезреть его (она не должна была его видеть — бога), — в то время, когда он был объят сном. (илл. 54) Этот момент изображен и скульптором Бароцци в мраморной группе (середина прошлого века), установленной на площадке Халтуринской лестницы в Эрмитаже (илл. 55). И Дехтерев живописными средствами и Бароцци — средствами ваяния изобразили Психею наклонившейся со светильником в руках над спящим богом, и разглядывающую его; она ни разу еще не видела своего супруга. Горячая капля масла, неосторожно уроненная ею и больно его обжегшая, выдала ее. Амур немедленно

улетел, попеняв ей, а Венера в виде наказания за ослушание божественной воли обрушила на нее все искусы, из которых она, не без помощи Амура, неизменно выходила победительницей.

Генрих Гейне посвятил этому сюжету стихотворение (приводим в переводе А. В. Кочеткова):

Психея

В пальчиках — светильник малый,
В сердце — пламенник большой, —
Пробирается Психея
К другу спящему в покой.

В жар и в дрожь ее бросает, —
Всех живых прекрасней он.
Бог любви, разоблаченный,
Убегает, пробужден.

Восемнадцати столетий
Казнь бедняжке суждена.
Грех великий: обнаженным
Бога видела она!

(*Гейне Г.* Избр. произведения: В 2 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 1. С. 228.)

Впрочем, сила любви Психеи к Амуру тронула сердце Юпитера и он даровал Психее бессмертие и навсегда соединил ее с Амуром.

Вообще тема Амура и Психеи вдохновила многих и многих поэтов, живописцев, скульпторов, вероятно и композиторов. И в этом нет ничего удивительного. Ведь древняя сказка о необыкновенной любви Амура и Психеи и выпавших на их долю испытаниях составляет, по единодушному мнению, жемчужину знаменитого романа Апулея, которым зачитывался, по его собственному признанию, лицеист Пушкин и которым «столько столетий подряд восхищается поколение за поколением», — как хорошо об этом пишет автор вступительной статьи к роману (*Маркиш С.* Апулей // Апулей. Золотой осел: Метаморфозы в одиннадцати книгах. [М.]: ГИХЛ, 1956. С. 18). Этой же теме посвящена и прелестная скульптура 1800 г. Кановы, хранящаяся в Эрмитаже. Безмятежное и безоблачное счастье ушедшей в себя влюбленной пары, проникает глубоко и в нашу душу и вселяет в нее светлую умиротворенность. Это в высшей степени интимное чувство умиротворенности, столь же величавое, сколь и непритязательное, довольствующееся жизнью как жизнью, усматривающее в ней, как таковой, единственный источник красоты и смысла, исполненное спокойной радости бытия, составляет настоящий секрет женских образов, созданных

древними греками и римлянами и воспроизведенных великими мастерами эпохи Возрождения и всех последующих эпох. И когда смотришь на Амура и Психею Кановы (илл. 56), невольно проникаешься мыслью о том, а существует ли на самом деле иной смысл в жизни, кроме любви, до такой степени поглощены своим чувством эти герои античности. Нет никаких сомнений в том, что смысл в жизни человека один-единственный — и это полная и свободная реализация его творчески-преобразовательной и нравственно-революционной сущности в добре. И в этом великом историческом деле любовь занимает весьма и весьма почетное место, пронизывая высоким лирическим очарованием всю жизнь человека на Земле и всю его деятельность по творчеству добра.

Человек любит, и он весь во власти этой своей любви, весь в любимом существе. Он ищет одиночества, если он не может быть с ней, — с тем, чтобы думать о ней и только о ней и, стало быть, все же оставаться хотя и мысленно наедине с любимой. Если бы он мог весь раствориться в своей возлюбленной, он почел бы это за великое для себя счастье. От нее исходит для него какой-то особенный и насыщенный лиризмом аромат, который обволакивает его всего, распространяется на всю Вселенную и заставляет забыть обо всем на свете, кроме ее очей. И этот тончайший аромат сообщает всей жизни не передаваемую ни на каком языке прелесть. Он весь окружен этой романтической атмосферой любви своей, и выйти из нее значило бы для него то же самое, что и перестать дышать.

Человек любит, и он не мыслит себя вне этой любви. Любовь зреет и растет в нем с каждым днем, с каждым часом и вырастает до размеров стихийной и покоряющей силы. Он, вероятно, немало поражается сам, как столь хрупкое существо могло внушить к себе столь огромное чувство, едва в нем вмещающееся и то и дело рвущееся наружу, чувство столь глубоко его захватившее, потрясшее все его существо и окрасившее незабываемыми, иногда ослепительно яркими, а чаще до боли нежными красками все его существование. Он ни за что не поверил бы в возможность такого чувства в другом, если бы не испытал его на самом себе.

Человек любит и он своею исключительною любовью как бы обретает в собственных глазах власть над любимой, считает чем-то само собою разумеющимся свое право на ответное чувство. Здесь перед нами весьма удивительное состояние, в котором сказывается, вероятно, диалектика жизни: с одной стороны, любимая в его глазах вырастает до уровня божества, притом единственного божества на свете, на ответное чувство которого он и мечтать себе не позволяет, с другой же стороны, сила его любви столь безмерна, что он, независимо от неизбежного чувства самоуничижения, считает ее принадлежащей по праву ему, и только ему. Между

прочим, это сознание до того непререкаемо в нем, что невольно передается и ей, она чувствует себя чем-то обязанной ему, даже в том случае, когда сама не испытывает к нему любви. Здесь, по-видимому, действуют законы внушения: его уверенность до некоторой степени сообщается и ей.

Человек любит, и он всем своим существом взывает к любимой, мысленно призывает ее в судьи всех своих поступков, ибо для него любимая — богиня, олицетворение всего истинного, красивого и правдивого в мире, олицетворение самого идеала — добра, всего того, ради чего стоит жить на свете, что сообщает всей жизни ее высший смысл и назначение. Если с любимой всё для него приобретает смысл и значение, то без нее — всё, напротив, теряет для него и смысл и значение. Только с ее любовью ему нужна жизнь, без ее любви — жизнь кажется ему ничтожной и жалкой, «насмешкой рока над землей». Короче говоря, жизнь и «она» — это одно.

Человек любит, и вся природа ради него полнится поэзией, преображается для него этою любовью, становится настоящей соучастницей его любви, изукрашивается ради него всеми цветами радуги. — Солнце светит ярче, небо голубеет глубже, трава зеленеет влажнее, луна сияет загадочнее, ветерок шепчет упоительнее, звезды взирают на землю значительнее. Вся природа вступает в интимный союз с ним, чтобы восславить возлюбленную, — так, как будто и она — природа — влюблена вместе с ним. И люди, и звери, и птицы, и даже обычно неразговорчивые рыбы — все живое поет вместе с ним величественный гимн любви, во славу его любимой, Единственной, ибо ничто во Вселенной не может сравниться с ней, ибо она — любимая — истинное средоточие и украшение Вселенной.

Человек любит, и он не узнает самого себя. Он одержим идеалом прекрасного. Ничто мелкое к нему не смеет пристать. Его волнует и трогает по-настоящему только великое, — истинно прекрасное, поэтическое и возвышенное. Он искренне удивляется тому, как это еще только вчера его могли интересовать такие пустяки, которые сейчас оскорбляют его высокое достоинство человека. Только великому открыта сейчас его душа. Только героическое владеет его воображением. Он сам готов на подвиги во имя истины, правды и красоты, во имя верховного идеала человечества, этического идеала добра. Всё то, что вчера еще могло поколебать его волю к борьбе за правое дело, все это с негодованием отбрасывается им сегодня как недостойное его, любящего, как нечто такое, что способно уронить его в глазах любимой, в самых строгих для него на свете глазах, в глазах, в которых светит беспредельная любовь к нему (если и она его любит), в глазах неизбывной нежности, но и неподкупной честности, в глазах, которые всё видят, всё проникают, всё понимают и всё прощают, — но только не малодушие и подлость.

Человек любит, и любовь пробуждает в нём героя. Всё то, что казалось невозможным вчера, представляется вполне осуществимым сегодня, лишь бы вело к торжеству доброго. Человек по природе и есть герой — ведь он революционер по природе, преобразователь старого и творец нового, очеловеченного, мира. Любовь встряхивает человека, пробуждает в нем тоску по прекрасному — добру, тоску по истине, тоску по правде, тоску по красоте, — если тоска эта была в нем заглушена обстоятельствами, возвращает ему его истинно человеческую природу.

И становясь героем романа, он становится вместе и героем в высшем значении этого слова — беззаветным борцом за все доброе, рыцарем без страха и упрека.

Такова сила нравственного воздействия женского начала в жизни человека. Такова сила любви к женщине.

В силах ли женщина устоять перед такою любовью, в силах ли она не отвечать на такую любовь? Думаю, что нет. Если только она сама не влюблена в другого. Не «не любит другого», но именно «не влюблена» в него. Ибо любить и быть влюбленным, как на это уже намекалось в начале главы, — вовсе не одно и то же. Влюбленность, включая в себя зарождение и развитие этого чувства (чувства любви), включает в себя и его кульминацию, после которой если чувство и не становится менее сильным и менее глубоким, то приобретает новые черты — становится спокойнее, уравновешеннее. Так вот в таком, послекульминационном состоянии этого чувства, женщина, увлекшись необычайной силой новой в нее влюбленности, еще может на нее ответить взаимностью, т. е. изменить прежней любви, но только не тогда, когда она сама влюблена, когда сама пребывает в этом состоянии влюбленности в другого. Не отвечает она на любовь и в том случае, когда над ней довлеют факторы, таящиеся в индивидуальных особенностях ее физического и душевного склада, именно таящиеся в ней особенности, о которых она может и не подозревать, ибо они действуют на нее неведомо для нее самой. Но даже и в том случае, когда она не отвечает любовью на любовь, она не может не поддаться обаянию этого внушенного ею же великого чувства, его нравственно-преобразующему действию. И в результате не только в случае взаимной любви, но и в случае неразделенной любви становятся совершеннее как люди и он и она — и любящий и любимая.

Таким образом, формула «он и она» остается в силе даже в том случае, когда «она» не отвечает на любовь, ибо формула создается любящим: коль скоро есть любящий, есть и любимая. В случае же взаимной любви, которая ведь тоже не невозможна, эта формула углубляется и обогащается в своем содержании не только вдвойне, но и во много крат больше,

обозначая уже собою новое и в высшей степени блистательное, яркое качество. Взаимная любовь на человеческом наречии зовется «счастьем».

Вы скажете, что я увлекся, что я обещал говорить не столько о любви мужчины к женщине, сколько именно о женской любви. И я не стану отрицать этого — сам вижу, что увлекся. Но ведь особенность любви такова, что она касается и может касаться только двоих — даже, как мы видели, и в случае неразделенной любви. Но и в этом печальном случае женщина не отвечает на любовь, если здесь не играют своей роли особенности физического и душевного склада, о которых говорилось выше, либо потому, что отвечает на любовь другого, либо потому, что сама влюблена в другого. В случае «нормальной», т. е. ответной, любви женщины сохраняет полную силу сказанное ранее о реальном облагораживающем влиянии как на нее саму, так и на него самого факта создания им по поводу нее идеального, заведомо не реального, образа. В случае же ее влюбленности в другого (не ответной, но прямой любви) она испытывает все те чувства, что испытывает и влюбленный в нее, но гораздо живее и острее. В самом деле, не встретив взаимности, она переживает все муки Татьяны Лариной, так как ко всем прочим мучениям от неразделенной любви, которые переживает в такой ситуации мужчина, присоединяется и выступает на первый план чувство уязвленной женской гордости — уже от одного только сознания того, что не ей, а ему должно принадлежать первое слово (первое признание) в любви. И унижение, испытываемое ею сейчас, когда он не ответил любовью на ее любовь, присоединяется, усиливая его, к ранее испытанному унижению, которому уже раз подверглось ее женское самолюбие — когда она первая объяснилась в любви:

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 5. С. 69–70.)

Она преступила закон женской стыдливости, не дозволяющий женщине объясниться первой — ведь именно она должна послужить прообразом для создания идеального образа любимого существа. В невозможности объясниться первой и состоит прежде всего «перелив» стыдливости в любовь. И переливается она — по самой природе — в любовь ответную. Здесь же влюбленность прямая, и стыдливость женщины принимает особенно жгучий характер...



Музыку к письму Татьяны, наряду с композитором А. Д. Столыпиным (для голоса с ф-п., 1881 г.) написал еще в 80-х же годах Абай Кунанбаев (на казахском и русском языках). Она вошла в его Онегинский цикл песен (всего 12) (издан М.: Музгиз, 1954). Всего же на мотивы Евгения Онегина написали музыку свыше 50-ти композиторов, в том числе П. И. Чайковский, Г. М. Римский-Корсаков, А. С. Даргомыжский, А. Н. Верстовский, А. Т. Гречанинов, Р. М. Глиэр, С. С. Прокофьев, А. Ф. Гедике (Сон Татьяны для голоса с ф-п. Op. 90, 1949. Рукопись ГЦММК, ф. 47, ед. хр. 798–799) (см.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган*. М.: Сов. композитор, 1974. С. 50–54).

Следовательно, главное, я увлекся любовью мужчины к женщине при сознательном стремлении к обратному — изобразить любовь женщины к мужчине, — именно потому, что женская любовь имеет ответный характер, и нельзя ее понять сколько-нибудь удовлетворяющим образом, не показав той любви, ответом на которую она — любовь женщины — является, не показав мужской любви. Меня, стало быть, помимо моей воли, увлекла сама логика предмета, логика темы, которой мы занимаемся. И логика эта, объективная логика вещей, лишний раз подтвердила тезис об ответном характере женской любви.

Особенности любви мужчины и женщины продиктованы уже особенностями их телесного сложения — физиологическими особенностями. Общеизвестно, что мужчина и женщина отнюдь не находятся в равном положении относительно столь важного для обоих чувства. Если с обманчивостью этого чувства (а чувства, как известно, обманывают, и нередко), мужчина ничего не теряет, то женщина, напротив, рискует всем, — ведь ей предстоит рожать. Поэтому даже и с чисто физиологической точки зрения женщина, как правило, отвечает на любовь. Инициатива же в любви принадлежит мужчине. Легко понять, к каким беспорядочным половым отношениям свелась бы любовь, если бы не это мудрое правило, установленное самой природой и прямо проистекающее из физиологических особенностей мужчины и женщины. Достаточно представить себе картину, не только обратную этому правилу, но ставящую оба пола даже в равное в этом смысле положение, чтобы исключить любовь — истинную, поэтическую, романтическую любовь — из жизни человека. Ведь даже в животном мире мы наблюдаем нечто подобное: никогда самка не проявляла инициативы в половой сфере, как бы самец выгодно ни отличался от нее своей красотой (пышная грива у льва, яркое оперение у птиц и т. д.). Она только уступает домогательствам самца. Можно думать, что нарушение этого правила (у животных — закона), буде если бы оно стало массовым, повело бы к прогрессирующему падению рождаемости,

к каковому падению неизбежно приводят беспорядочные половые сношения. Но если даже в животном мире царит это правило (закон), хотя красота находится на стороне самцов (а не самок), то насколько больше оно должно господствовать (занимать господствующее положение) в человеческом мире, где красота, напротив, — на стороне женщины? Тем самым природа сама как бы предуказала, что не прекрасному полу надлежит проявлять инициативу в делах любви.

Читатель, конечно, заметил, что когда речь шла о животных, мы говорили о законе, когда же речь шла о людях, — то о правиле. В животном царстве действует половой инстинкт, не знающий изъятий. В человеческом же мире — любовь, т. е. относительная свобода от всевластности инстинкта. Поэтому подсказанное естественной природой действует в общественной природе человека лишь как правило, допускающее исключения, а не как закон, таких исключений не терпящий вовсе. Остается в силе сказанное нами ранее о самоосвобождении человека по мере развития общественно-исторического процесса, т. е. по мере все большего самоутверждения им в своем специфически человеческом качестве, от безраздельной власти инстинкта.

Итак, как правило, юноша влюбляется первым, и нам надлежало разобраться прежде всего в его чувствах, чтобы разобраться в тех ответных чувствах, какие они возбуждают в девушке — во всех случаях: и в случае наличия и в случае отсутствия взаимности (последнее — вследствие того, что она любит другого), — а, в особенности, разумеется, в счастливом случае взаимной любви.

Во всех случаях любовь преображает, — и не только нравственно, духовно, но и физически и душевно. Влюбленные как бы по мановению волшебной палочки вырастают на глазах, и не только в своих собственных, но и в глазах окружающих, и не только преображаются душевно, ибо меняется к лучшему вся их психология: он мужает, она становится поразительно женственной. Любовь делает влюбленных и физически красивыми — неизмеримо красивее, чем до того, как их коснулось крыло этого чудотворящего чувства. Никогда в целой жизни человек не бывает так возвышенно прекрасен — прекрасен духовно, прекрасен душевно, прекрасен физически, как именно тогда, когда всеми его чувствами, всеми помыслами, всем существом его владеет прекраснейшее из чувств, именуемое Любовью.

В любви всё прекрасно. И радости и страдания в любви одинаково возвышают нашу душу. Робость любящего и стыдливость любимой, молчаливый разговор между влюбленными, стесненность дыхания в присутствии любимого существа или даже при одной мысли о нем в его отсутствии, смущение от любви и гордость за нее, задыхающийся голос

при случайной встрече (а каждая встреча кажется случайной и неожиданной, при всем ожидании ее, даже при назначенном свидании, до того она представляется незаслуженным даром!), нервная дрожь и учащенное сердцебиение от «случайного» прикосновения и таинство такого прикосновения (скрытая в нем волшебная сила), наконец, первое признание (а это еще только начало!..), — всё в любви одинаково значительно (да еще как!), одинаково пленительно, одинаково полно очарования, очарования, которого не выразить словами.

И тем не менее, это чудо прикосновения сумел описать и выразить словами известный английский писатель Ричард Олдингтон в романе «Все люди — враги» (1933 г. Пер. на рус. яз. О. А. Ефимовской — 1959 г.). В этом романе много чудесных страниц, но самыми прекрасными в нем я считаю страницы, посвященные этому «чуду прикосновения», испытанному на себе героем романа еще на исходе отроческих лет. Само слово «чудо прикосновения» (или, как я выразился, таинство прикосновения) заимствовано мною из этого романа. Я позволю себе воспроизвести здесь — в главе о любви — эти страницы, сократив их лишь по возможности за счет тех мест, без которых повествование не потеряло бы в своей выразительности.

«Это было во время летних каникул, когда его двоюродная сестра, Эвелина, приехала погостить на две недели. С тех пор, как Тони помнил себя, он помнил Эвелину, которая время от времени приезжала к ним, сначала девочкой в коротеньких платьицах, с длинными черными косами, потом в платьях ниже колен и с косами, уже необыкновенно аккуратно уложенными на голове. <...>

Быстрый расцвет юности подобен восхождению на высокую крутую гору, когда пейзаж кругом меняется чуть ли не на каждом шагу. Тони с трудом узнал прежнюю Эвелину в новой Эвелине... Эвелина переодевалась к обеду, оставалась сидеть вечером, после того как Тони уходил спать, и, по-видимому, окончательно перешла во враждебный лагерь взрослых. <...>

На следующее утро после приезда Эвелины Тони по привычке проснулся очень рано. <...> Он как-то сразу проснулся, вскочил и без всякого обдуманного намерения, без всякого умысла, следуя лишь инстинктивному порыву, направился в комнату Эвелины. Все чувства его были сильно напряжены, и он слегка дрожал от волнения. Он не задавал себе вопроса, почему он так странно поступает и что его ждет. Он двигался, точно повинуясь какой-то посторонней силе, даже не отдавая себе отчета в собственных побуждениях — минуту тому назад он еще спал, а сейчас уже открывал свою дверь. <...>

Он, не задумываясь, открыл дверь в комнату Эвелины, все с тем же странным, похожим на галлюцинацию, ощущением, что он подчиня-



ется какой-то посторонней силе, и все еще не сознавая, зачем он пришел. <...> Когда он открывал дверь, занавеска на окне слегка приподнялась от сквозняка, и он увидел спящую Эвелину, которая лежала на боку спиной к нему, и ее длинная черная коса выделялась на белой простыне. <...> Быстро и бесшумно Тони скользнул в постель рядом с ней. Он почувствовал, как она вздрогнула и наполовину повернулась, когда он дотронулся до нее рукой, но он поспешно шепнул:

— Это только я, Тони. Можно мне побыть немного?

Эвелина ничего не ответила и не пошевелилась: она спала или делала вид, что спит. Тони едва осмеливался дышать, хотя сердце его колотилось, и в течение какого-то времени, показавшегося ему сверкающей вечностью, он лежал совершенно неподвижно. В его закрытых глазах стоял какой-то золотистый полумрак, а все тело словно превратилось в одно живое ощущение, чистое и зыбкое, как свет. Как долго продолжалось это состояние, он не знал. Это была вечность, — но она промелькнула, как мгновение. Не двигаясь, не открывая глаз, Эвелина шепнула:

— Тебе пора уходить, милый. Скоро придут меня будить.

Он встал без колебаний и протеста, поправил ее постель и пошел обратно в свою комнату, где лег, уткнувшись лицом в подушку, и лежал так до тех пор, пока его не позвали, дрожа и без конца повторяя про себя:

«Груди нимфы в чаще кустов», «Груди нимфы в чаще кустов...»

Когда они встретились за завтраком, Эвелина даже взглядом не намекнула на то, что произошло между ними. Тони и не добивался этого. Ему казалось, что то, что было, произошло между двумя другими людьми, совсем не похожими на тех, которые теперь одеты и разговаривают, как обычно. Но все утро он провел в состоянии какого-то непостижимого блаженства, почти безотчетного, но реального, какое мы испытываем иногда после особенно приятного сна. В самом деле, это казалось каким-то прекрасным сновидением, так явственно было ощущение, что это было переживание другого «я»; и его поступок был настолько интуитивен и невинен, что он переживал свое блаженство, не вызывая в памяти никаких подробностей. <...>

Он прошел лесом, пересек голые холмы, накаленные зноем, и вышел в другой лес, более удаленный от моря, и сел у подножия огромного бука, где маленький ручей пробегал через ольховую чащу. <...> Минутами лес был совершенно безмолвен, воздух висел неподвижно, и даже птицы затихли в этом полуденном зное. <...>

Тони вдруг снова охватило чувство блаженства, внезапно нахлынувшего на него чувства благодатного покоя и гармонии, которая словно наделила его даром ощущать течение жизни, вливающейся в него и вы-

ливающейся из него с тихим, мелодичным звоном. Это было непохоже на блаженный восторг от прикосновения Эвелины, хотя и сродни ему; то ощущение было гораздо более субъективно насыщенное, острое, а в этом было что-то безличное, зыбкое, словно он приобщался к каким-то загадочным существам, неуловимым, но проникающим, как благоухание. Это было похоже на молчаливую беседу с богами.

Наконец он встал и, совершенно успокоенный, решительно направился домой, унося в памяти виденье лесной Тайны. Он мало говорил за обедом и почти не разговаривал с Эвелиной... он рано лег спать и сразу заснул без всяких снов. Проснулся он опять так же внезапно, словно какой-то голос позвал его, и снова его охватило непреодолимое стремление пойти к Эвелине, хотя он совсем не думал об этом накануне вечером и, конечно, даже не вспомнил о ней, когда засыпал... он увидел спящую Эвелину, укрытую простыней до самого подбородка.

Оттого ли, что он стал смелее, или, может быть, движимый той же таинственной силой, он на миг остановился у ее кровати, а затем тихо лег рядом с ней. Она не вздрогнула на этот раз, и он с радостным изумлением обнаружил, что она не спит, — она ждала его, но притворилась спящей, чтобы не нарушить словом чудо прикосновения. Она обняла его одной рукой, его лицо коснулось ее лица на подушке, и их дрожащие губы слились в долгом поцелуе. Тони казалось, что он теряет сознание. Золотистый сумрак в его закрытых глазах становился все бледней и бледней, когда кровь отхлынула от мозга, но затем он стал разгораться все ярче и ярче, по мере того как кровь медленно возвращалась обратно, и, наконец, Тони открыл глаза и встретился с глазами Эвелины — нежными и сияющими. И это головокружительное блаженство прикосновения пронизывалось мыслью, что рука его стала прекрасной. Это был решительный момент в его жизни — отныне женское тело всегда будет для него прекрасным и желанным.

Они лежали в объятиях друг друга почти неподвижно. Они потеряли представление о времени и им казалось, что пролетело лишь одно сверкающее мгновение, когда они услыхали бой часов, и Эвелина шепнула:

— Пора, уходи, дорогой мой, но приходи завтра.

— Ты похожа на лес, на солнце и цветы...

— Ш-ш. Тебе пора идти. Но приходи...

— Да.

Последний поцелуй — полустыдливое, полустрастное признание, и он ушел.

Каждое утро в течение всего пребывания Эвелины Тони на рассвете пробирался в ее комнату и лежал в ее объятиях, предаваясь новообретенному блаженству прикосновения. Все это было так непосредственно, так

невинно. В первый раз Эвелина, должно быть, в самом деле испугалась его появления, и инстинктивно из страха уже готова была закричать и прогнать его, но что-то в прикосновении этих юношеских рук к ее девственному телу парализовало ее, заставило ее уступить этому прикосновению, сначала равнодушно, а потом вдруг с внезапным восторгом, захватившим ее так же неудержимо, как и его. Она оправдывала себя тем, что это всего лишь невинная игра с большим мальчиком, но втайне она чувствовала, что прикосновение его — это прикосновение мужчины. Его обожание и восторг привлекали ее так же неотразимо, как прикосновение его молодого, сильного мужского тела, так просто и естественно искавшего ее тела и так бессознательно будившего ее чувства. Она пробовала бороться с собой и даже убеждала себя, что не позволит больше этому большому мальчику ласкать себя и на другой день заперла на ключ дверь своей комнаты, когда ложилась спать. Но минут за десять до прихода Тони она проснулась, пролежала несколько минут напряженно, не двигаясь, затем быстро и бесшумно отперла дверь, постояла секунду перед зеркалом, а когда услыхала, что он взялся за ручку двери, легла и притворилась спящей.

В десять часов утра в день ее отъезда Тони вместе с родителями поехал провожать ее на станцию. Воспользовавшись моментом, когда мистер и миссис Кларендон отошли, Эвелина взяла его за руку и спросила:

— Ты не забудешь?

Он посмотрел ей в глаза и сказал:

— Никогда, никогда! Я буду носить тебя в своем сердце, ты будешь жить в нем, как жемчуг в раковине.

Она, по-видимому, была тронута и, помолчав, сказала:

— Обещай, что ты никогда никому не скажешь об этом, не проговоришься, пока я жива.

Он снова с обожанием посмотрел ей в глаза и промолвил:

— Даю тебе честное слово, дорогая Эвелина.

Их заслонял от всех станционный столб и сваленная на платформу груда багажных тюков. Эвелина внезапно нагнулась и поцеловала Тони в губы, потом, остановив его взглядом, повернулась и пошла навстречу его родителям. <...>

Приблизительно через год он услышал, что Эвелина выходит замуж. Он ничего не сказал; но потом поднялся наверх, в комнату для гостей, и поцеловал подушку на кровати» (*Олдингтон Р.* Все люди — враги. М.: ГИХЛ, 1959. С. 56–62).

Надеюсь, что читатель не посетует на меня за столь большую выдержку, ведь она и в самом деле дает очень яркое представление о том, что же такое это чудо, или таинство, или блаженство, прикосновения



двух юных тел, сердец, душ. После этих поистине дивных строк уже не кажется удивительным, что аромат любви и в особенности, понятно, первой любви, какова любовь Тони и Эвелины, не покидает человека во всю его жизнь, что дух этой первой любви сопутствует ему и направляет его поступки во благо даже долго спустя по ее прошествии. Пройдут годы, человек состарится, но самым дорогим, самым заветным его воспоминанием будет воспоминание о том времени, когда он впервые полюбил по-настоящему, ибо остается истиной: не так даже важно, чтобы тебя любили, как важно, чтобы ты сам любил!.. Между прочим, и в сказании Олдингтона женщина отвечала на любовь, как и в приведенном уже сказании Данте: инициатива исходила от мужчины.

Но если так возвышает человека и придает столько поэзии его жизни даже любовь односторонняя, даже одна только любовь, от него исходящая, то как должна на него действовать ответная любовь женщины? Если он поэт, если он творец по природе, то ответная любовь умножает его творческие силы поистине безгранично, составляет его, поэта и творца, настоящий гений, становится светоносным источником произведений, которых уже не смеет коснуться всеразрушающее время, источником великих и бессмертных творений. «Муза». — Так называется одно из самых замечательных стихотворений Пушкина, иллюстрирующих эту мысль:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.
Она внимала мне с улыбкой — и слегка,
По звонким скважинам пустого тростника,
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной,
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 2. С. 26.)

Среди других музыку на эти строки написали А. Н. Верстовский (кантата для голоса с ф-п., 1836), А. К. Глазунов (1898), С. В. Рахманинов (1913) — для голоса с ф-п. (См.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: Сов. комопозитор, 1974. С. 88).

В этом стихотворении истинное художественное вдохновение прямо отождествляется с ответной любовью богини к художнику-творцу. Именно ее устами он создает свои самые заветные и светлые мелодии.

Вдохновляющая роль ответной любви, или любви взаимной, волновала Пушкина едва ли не на протяжении всей его жизни. В том же 1821 г. он создает другой шедевр в этом же роде:

Умолкну скоро я!.. Но если в день печали
Задумчивой игрой мне струны отвечали;
Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью;
Но если ты сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила в тишине
И сердца моего язык любила страстный...
Но если я любим... позволь, о милый друг,
Позволь одушевить прощальный лиры звук
Заветным именем любовницы прекрасной!..
Когда меня навек обымет смертный сон,
Над урною моей промолви с умиленьем:
Он мною был любим, он мне был одолжен
И песен и любви последним вдохновеньем.

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 2. С. 53.)

Среди других музыку на эти строки написали А. В. Мосолов в 1935–1936 г., М. В. Коваль в 1932–1934 г., В. Л. Бедер (1946), Ан. Н. Александров (1953) (см.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: Сов. комопозитор, 1974. С. 149).

Наконец, с обоими этими стихотворениями прямо перекликается еще один шедевр бессмертного пушкинского творчества:

Ночь

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви; текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются — и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..
(1823).

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 2. С. 148.)



Музыку на «Ночь» написали 24 композитора. Среди них М. П. Мусоргский (1864 г.), Н. А. Римский-Корсаков (1867 г.), А. Г. Рубинштейн (1860 г.), С. М. Ляпунов (1919 г.). Среди композиторов — и П. Виардо-Гарсия (1864 г.), Н. В. Арцыбушев (1904 г.), А. В. Мосолов (1929 г.). Все — для голоса с ф-п. (См.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: Сов. композитор, 1974. С. 96–97).

Пушкин воспел также и любовь, хотя и разделенную, но безнадежную, — любимая хотя и отвечает взаимностью, но связана брачными узами с другим. Сюжет этот напоминает «Даму с собачкой» и касается биографии самого поэта:

Пускай увенчанный любовью красоты
В заветном золоте хранит ее черты
И письма тайные, награды долгой муки,
Но в тихие часы томительной разлуки
Ничто, ничто моих не радует очей,
И ни единый дар возлюбленной моей,
Святой залог любви, утеха грусти нежной —
Не лечит ран любви безумной, безнадежной.

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т.
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 2. С. 215.)

Музыку на эти пушкинские строки написали А. В. Мосолов в 1835–1836 гг. и А. С. Леман в 1947 г. Оба — для голоса с ф-п. (См.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: Сов. композитор, 1974. С. 121).

Тема любви пронизывает собой все творчество поэта, что уже само по себе говорит о месте этого чувства в жизни человека.

Интерес к противоположному полу возникает у детей очень рано. Некоторые писатели склоняются к тому, что уже чуть ли не к трем годам девочки стремятся нравиться мальчикам. Во всяком случае к шести-семи годам взаимный интерес девочек и мальчиков ни для кого уже не составляет секрета и уже во всяком случае — редкости. При этом в девочках мальчиков, несомненно, привлекает их нежная красота и миниатюрность их фигурки, в мальчиках же девочек привлекает их рыцарское чувство, отвага и сила. Рыцарское чувство по отношению к девочкам появляется у мальчиков, как можно думать, очень рано, как и ответное по-матерински покровительственное чувство у девочек по отношению к мальчикам. Я не говорю уже о том, что девочки не могут не замечать действия, которое они возбуждают в мальчиках своей красотой и невольною признательностью отвечают на их по-мальчишески восхищенные взоры. Конечно, всё это —

и действие, производимое в мальчиках девочками, и реакция последних на это действие, — происходит большею частью бессознательно как для тех, так и для других, но эта непреднамеренность и создает в их взаимоотношениях необычайно нежную и поэтическую атмосферу, которой дышат и мальчики и девочки. В их взаимном любовании содержатся зачатки любви, ибо в его основе лежат зачатки поэтического творчества, иначе, — идеализации. Правда, очень редко в этом раннем возрасте бывают избранники и избранницы: как правило, девочка стремится нравиться всем мальчикам, а мальчик всем девочкам своего окружения и возраста. Однако взаимный интерес противоположных полов уже налицо, и не далек день, когда девочка и мальчик найдут себе среди сверстников и сверстниц избранника и избранницу по сердцу. И, как правило, и здесь, как и во всех последующих возрастах, инициатива будет принадлежать мальчику, на которую девочке придется лишь отвечать. Во-первых, потому, что смелости, отваги и силы, которые по преимуществу привлекают в мальчиках девочек, они, девочки, нередко не лишены сами, тогда как изяществом отличаются лишь они, не говоря уже о том, что красота всегда выигрывала в сравнении с силой; во-вторых, потому, что застенчивость, присущая девочке по природе, не позволит ей «навязать» себя мальчику, хотя в самом стремлении нравиться приоритет, как можно думать, принадлежит ей. И это понятно: стремление нравиться неразрывно с красотой. Впрочем, можно также думать, что это стремление нравиться представителям противоположного пола до определенного возраста почти равномерно распределяется между мальчиками и девочками — именно до того возраста, когда появляются избранник или избранница, т. е. когда появляется уже начало любви. В ранний же период детства, когда девочки стремятся нравиться всем мальчикам, мальчики же — всем девочкам, этот их интерес друг к другу имеет вполне взаимный характер, основывается на равных началах. Но даже в том случае, когда избранница не склонна отвечать взаимностью плененному ею мальчику, она все же всеми силами стремится ему нравиться, чего, по-видимому, нельзя сказать о мальчике, не отвечающего взаимностью девочке, которой он приглянулся. Как правило, стремление нравиться — исконно женская черта, и связано оно, как уже говорилось, с исконною же женскою красотою — сравнительно с мужчиной.

Нечего и говорить о том, что взаимное любование мальчиков и девочек, о котором речь шла выше, носит еще, как правило, вполне идеальный характер, и потому-то оно и рассматривается нами как зачаток истинной любви. К сожалению, еще в очень раннем возрасте проявляется и нездоровое физиологическое любопытство — начало половой испорченности, и взаимный интерес мальчиков и девочек в этих случаях, ко-

нечно, ни в какой мере не напоминает собой того взаимного любования между ними, которое составляет, повторяю, зачаток любви. Я подчеркиваю «зачаток», а не «начало» любви, которое приурочивается мною уже к моменту появления избранницы и избранника. Здесь — начало, а там еще только зачаток любви, ибо в любви участвуют лишь двое — даже и в случае отсутствия счастливой взаимности. В раннем взаимном любовании мальчиков и девочек, столько же трогательном, сколько и непосредственном и чуждом нездорового любопытства, в полной мере сказывается чистота детских сердец. И мальчики и девочки наслаждаются взаимным общением, играми, возможностью быть вместе и полезными друг для друга, невольным и незаметным повышением тонуса жизни и жизнерадостностью, атмосферой неосознанного восхищения друг другом — и только. Блажен человек, который сумеет сохранить в себе эту целомудренную непосредственность детства, как сумел ее сохранить герой романа Олдингтона, тот самый Тони, эпизод из жизни которого мы воспроизвели. Но такой человек, к сожалению, редок и поистине достоин настоящей и большой любви, — как поется в известной песне.

Самым трудным, зато и решающим в этом смысле — в смысле сохранения целомудренной непосредственности детства, периодом, поистине переломным периодом является отроческий возраст — период полового созревания. Можно полагать, что нет ни одного мальчика или девочки, для которых этот период прошел бы мимо сознания. Первые признаки половой зрелости повергают и мальчиков и девочек, не заразившихся еще нездоровым любопытством, в особенности же девочек-подростков в крайнее смущение и вселяют в них незнакомое им дотоле чувство острого сожаления, — они физически ощущают, как вместе с детством уходит и целомудрие, безмятежность души, как к их дотоле чистым и романтическим помыслам примешивается чуждый им ранее чувственный оттенок, оскорбляющий их лучшие чувства как нечто недостойное и пошлое... Смятенное чувство это является прямым предвосхищением того удручающего чувства, которое завладевает целомудренным человеком, безразлично юношей и девушкой, но всё же по само́й природе вещей прежде всего девушкой, когда они теряют невинность — настоящее чувство грехопадения, от которого способна исцелить только любовь. И здесь природная стыдливость женщины изливается в женскую же любовь.

Если в этот переломный период, когда человек обнаруживает в себе еще только первые проявления половой зрелости, он сохраняет в себе нравственное сознание острого сожаления от их непрошенного вторжения в его жизнь, — он спасён для истинной любви, как она была охарактеризована нами выше, — для любви одухотворенной, поэтической, романтиче-

ской, возвышенной. Но если он дает себя увлечь наплыву чувств и переживаний, почти неизбежно (почему «почти» выяснится из дальнейшего) сопутствующих такому созреванию, т. е. наполняет свое воображение всякого рода сладострастными картинами, — он собственными руками хоронит свое счастье, ибо ему уже никогда, пожалуй, не удастся изведать во всей их непосредственности, чистоте и поэзии и во всей их нравственной несомненности радостей первой любви. И хуже всего то, что никто и ничто решительно не сможет ему в этом состоянии прийти на помощь. Он на исходе лет, хотя и со щемящей грустью по утраченному счастью и глубоко вздохнув при этом не сможет сказать вместе с поэтом (И. С. Тургеневым): «Как хороши, как свежи были розы...» (*Тургенев И. С.* Собр. соч.: В 12 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 8. С. 501). Ведь и в том случае, — зачем же зарекаться, когда таким человеком завладеет истинная любовь, он, хочет он этого или нет, будет почти неизбежно примешивать к ней те сладострастные переживания, которые неизбежно же унизят возникшее в нем настоящее чувство. И ему останется только пенять на самого себя, ибо возврата к утраченному целомудрию не будет. Поистине: береги честь смолоду.

Впрочем, мы описали лишь самый распространенный случай, случай, я бы сказал, классический. Ибо бывает и другой случай, описанный в вышеприведенном отрывке Рич. Олдингтоном, когда целомудренная непосредственность детства сохраняется и в само́й чувственности, которая вследствие этого не только не оскорбляет чувство невинности, но и сама возвышается до уровня идеального. В этом случае подросток не испытывает тех страданий от утраченной невинности, о которых мы сейчас говорим, ибо невинность им вовсе и не утрачивается, но сохраняется в чистоте само́й чувственности, слиянной с духовностью, образуя вместе с последнею единое высокопоэтическое целое. Но это уже удел очень немногих, удел очень талантливых людей (как людей именно, как человеков что ли), умеющах жить с природой единой и нераздельной жизнью, единым, как говорится, с ней дыханием. И недаром мы на страницах нашего трактата дали столько места Олдингтону для описания такого случая. Легко понять, что было бы и с Тони и с самой Эвелиной, если бы она неправильно поняла руководившее им чистое чувство преклонения перед красотой и диктуемую им потребность прикоснуться к этой красоте («груди нимфы в чаще кустов», чудо прикосновения) и отвергла бы это чувство, что называется, с порога! И он и она скатились бы, весьма вероятно, на тот посредственный уровень, который мы описали выше, когда наплыв всякого рода недостойных чувств приводит к катастрофической утрате непосредственности детства. Ведь коль скоро он уже пришел к ней, спящей, а она бы его оттолкнула, то эти сладострастные картины уже

почти неизбежно стали бы тревожить воображение их обоих, если даже до того они еще не тревожили ни его, ни ее. И своим поведением она выказала много, я бы сказал, чисто женской мудрости, также подсказанной ей, без всякого сомнения, самой природой, природой ее пола, спасла и его и себя от нездоровой чувственности, сберегла и его и себя от ненужных мучений, с такой чувственностью связанных, а тем самым и от профанации самой любви. И такая мудрость и такой такт явились несомненным следствием того, что и она ответила на его чувство, когда он, задыхаясь, шепнул, робко стоя у ее девического ложа: «— Это только я, Тони. Можно мне побыть немного?». Таким образом, любовь — первая любовь — спасла и в нем и в ней целомудренную непосредственность детства.

Кстати, здесь мы видим различие между любовью в юном возрасте и любовью в пожилом возрасте. Разумеется, и в пожилом возрасте любовь, если она действительная любовь, сохраняет существенные черты, нарисованные выше: и здесь тоже, как и в юной любви, любовь имеет творческий характер — и идеальный и реальный в одно и то же время; и здесь тоже, говорю я, любящий создает идеальный образ любимой, перед которым он смог бы склониться, образ, ведущий к их взаимному и реальному нравственному облагораживанию и обновлению. Однако в одном и весьма немаловажном пункте любовь в пожилом возрасте неизбежно отличается от любви юной, иными словами, вторая от первой любви: она лишена целомудренной непосредственности юной любви, любви Паоло и Франчески, Ромео и Джульетты, Тони и Эвелины... Эта, первая любовь уходит вместе с собой навсегда и не возвращается вновь — во второй и последующей любви. Пусть утешают себя такие пожилые люди, которым мы, безусловно, желаем всяческого добра и счастья, что зато их любовь отличается опытной умудренностью жизнью, что она благодаря этому прочнее, что и он и она в этой любви знают друг друга лучше, и т. д. и т. п. Всё это так, конечно, и в их словах есть доля правды, но со всем тем каждому ясно, что это уже совсем-совсем не то... нечто из другой уже оперы. Ведь мы должны в нашем повествовании (я имею в виду это сочинение) быть предельно искренни, иначе к чему оно?..

На пути человека, благополучно пережившего отроческий возраст, стоит еще и другой опасный возраст — возраст полной половой зрелости, когда удовлетворение половой потребности становится насущной потребностью организма. Счастлив человек, который сумеет устоять и здесь, который сумеет сохранить в себе ту целомудренную чистоту и то презрение к низменным инстинктам, которые он выказал еще раньше, в отроческом возрасте, когда он еще только вступал в период полового созревания. Если он усилием воли сумеет противостоять натиску враждебных его нравствен-

ной природе страстей — сексуальным картинам и переживаниям, какими бы сладостными они ни казались, страстей, уродующих и калечащих правильно понятую человеческую природу, если человек, будь то юноша, будь то девушка, сумел отстоять свою девственность (как видим, даже в языке сохранилось выражение исконного нравственного начала женственности, восходящего как к истоку к женскому же началу человеческого существа), если человек, повторяю, в этот период наступления половой зрелости не растратил себя в случайных связях и не опоганил свою душу лукавыми помыслами, он опять-таки на деле доказал, что завоевал право на настоящую любовь, которую, к несчастью, и до сих пор встречаешь больше в романах, чем в самой жизни. Впрочем, это, конечно, преувеличение: в жизни много настоящей любви, любви безупречной, вероятно больше, чем мы с вами знаем, читатель. Ведь такая любовь не кричит о себе, она сродни скромности: чем ее больше, тем меньше она о себе заявляет.

Объяснение в любви, — а объяснение это, как правило, исходит именно от юноши, который для этого должен набраться настоящего мужества, — можно было бы счесть самым важным событием в истории любви, ее зарождения и развития в интимной жизни личности, человеческой индивидуальности, если бы в ней, в любви, вообще были события незначительные, малозначительные, или даже более или менее значительные. На самом деле в ней всё одинаково важно, весомо, значительно. И все овеяно поэзией.

Первое признание в любви — тема одного из самых задушевных стихотворений А. А. Дельвига. Приводим эти замечательные строчки с очень удачным пояснительным вступлением к ним Всеволода Рождественского: «...Столь же проникновенно звучит у Дельвига робкое признание в любви, впервые охватившей душу (“Романс” в рукописи 1820 года). Все слова удивительно просты и естественны, словно это и не стихи, а взволнованная непосредственная речь самого сердца. Даже рифма убрана, как нечто здесь совершенно ненужное, отзывающееся условностью, литературой. А вместе с тем это стихотворение высокого мастерства, где автор применил не столь уж простой и совсем необычный для того времени ритмический рисунок, отчетливо передающий свободное дыхание чувства. Как не вспомнить при этом слов Пушкина о “прелести нагой простоты”, той простоты, которая дается в награду за долгий искус поисков и вдохновенного труда:

Только узнал я тебя —
И трепетом сладким впервые
Сердце забилось во мне.



Сжала ты руку мою —
И жизнь и все радости жизни
В жертву тебе я принес.

Ты мне сказала: люблю,
И чистая радость слетела
В мрачную душу мою.

Молча гляжу на тебя, —
Нет слова все муки, все счастье
Выразить страсти моей.

Каждую светлую мысль,
Высокое каждое чувство
Ты зарождаешь в душе».

(*Рождественский В.* В созвездии Пушкина.
М.: Современник, 1972. С. 183–184.)

Здесь мы являемся свидетелями счастливой взаимности в любви. Но ведь бывает и по-другому.

Девушка, конечно, ожидала этого момента, момента признания в любви к ней, ибо уже давно замечала прикованные к ней взоры юноши. Он же, тоже уже давно сроднившись в глубине своего сердца с ее милым образом, не раз искал встреч с ней, и больше, понятно, наедине. Тем не менее не только ею, но и им это объяснение в любви воспринимается со всей силой неожиданности, — таково необъятное значение этого момента в жизни обоих. Как бы девушка ни отнеслась к внушенному ею чувству, оно глубоко трогает ее своим лиризмом, вызывает в ней, если и не ответную любовь, то в высшей степени предупредительное, исполненное такта, исключительно мягкое и ласковое, на редкость бережное отношение к тому, кто питает к ней такое чувство. Она тем более бережно должна к нему отнестись, что даже совершенно посторонние проникаются невольным уважением к человеку, объятому любовью, как пламенем, одержимому ею, сгорающему от нее на глазах. И потому это подчас неумелое, всегда робкое и запинающееся признание в любви, даже уже давно ожидаемое ею, повергает ее в настоящее смятение, хотя она и могла бы к нему подготовиться. И нельзя не войти в ее положение: она должна вынести приговор, притом приговор окончательный, приговор, как говорится, в последней инстанции любящему ее человеку, влюбленному в нее до последней крайности юноше, почти еще мальчику, — ведь она чувствует себя определенно старше его, хотя и моложе его годами, ведь она не охвачена, подобно ему, страстью, хотя и очень взволнованная, говорит и поступает не в пример более рассудительно, чем несчастный, ожидающий ее приговора.



Признание в любви к ней — настоящее торжество женщины, даже и в том случае, когда она не может ее разделить. Ни одна женщина не в состоянии равнодушно выслушать такое признание, тем более девушка, быть может, выслушивающая его впервые. И если она не может разделить с юношей его чувство, она во всяком случае преисполняется к нему величайшей и самой нежной жалости, на какую только способна, которая в отличие от всякой другой жалости не только не оскорбляет юношу, но и до некоторой степени смягчает испытываемую им от отказа, от короткого, но решительного «нет» боль, ибо хотя и не так, конечно, как ему хотелось бы, эта жалость всё же роднит его с любимой, заступающей для него в этом случае место матери. Даже в случае отказа, говорю я, между ним и возлюбленной устанавливается в высшей степени своеобразная интимная близость, полная прелести и печального очарования, близость, поддерживающая юношу в столь трудный и столь ответственный для него момент. По-настоящему несчастным, в точном значении слова осиротелым и обездоленным, он почувствует себя позже, когда покинет возлюбленную и ощутит в полной мере всю безнадежность разрыва, — ведь она срослась с его сердцем и он не может оторвать ее от себя иначе, как с кровью сердца... И хотя любимая предлагает ему свою дружбу, он не в силах ее принять, он, не задумываясь, отклоняет ее — после того как так долго (а ему всегда будет казаться, что долго, такое множество переживаний стеснилось в его груди за столь короткий промежуток времени), после того как так долго и вопреки всему лелеял надежду на всё.

Тот, кто сам не пережил страданий от отверженной любви, едва ли в состоянии их понять, а кто их не пережил? Сказать, что человек при этом не находит себе места — это значит сказать вполне банальную, но зато необычайно точно выражающую самоё суть этих переживаний фразу. Сказать, что денно и нощно у человека на сердце кошки скребут, значит тоже сказать банальные слова, но зато и тоже достаточно красноречиво выразить состояние такого влюбленного. Мы уже говорили, что только самые простые слова способны выразить всё, так или иначе связанное с этим самым естественным из человеческих чувств. И разве сильнее, чем два приведенных образа, придумаешь, чтобы в должной мере оценить страдания юноши от неразделенной любви, хотя, казалось бы, к этим образам так часто прибегали люди, что они давным-давно должны были бы стереться и никак не застревать в сознании человека.

Но образы эти говорят сами за себя, как сами за себя говорят и неимоверные страдания нашего юноши. Первое. Он страдает от крушения всех своих надежд, которые он связывал с ныне отвергнутою любовью любимой. А как можно жить без надежды? Второе. Любимая, которая каза-

лась идеалом доброты, истинною сестрою милосердия, выказала столько жестокости, причинив своим отказом столь невыносимые страдания человеку, так самозабвенно ее любящему. Третье. Любимая, которая казалась самой справедливостью, олицетворением справедливости, выказала столько вероломства, так как не отвергая вовсе его ухаживаний, которые несомненно были ей приятны, она тем самым дала ему право надеяться. Он забывает при этом, прибавим мы от себя (ведь нельзя требовать от него, чтобы он был вполне вменяем в эти минуты!), он забывает, что она именно по доброте своей женской позволяла за собой ухаживать, ибо он не мыслил, как показывало все его поведение, жизнь без общения с нею, без того, чтобы ее видеть. Четвертое. Он страдает от ревности. Ему было бы куда легче, если бы любимая им девушка никого не полюбила. Но ведь она, отказывая ему, должна была признаться, что любит другого. И этим, кстати, тоже выразила свое исключительное доверие к нему, свою интимную близость с ним. А признаться в этом заставило ее ее же милосердие: не могла же она так просто отказать столь безнадежно влюбленному в нее человеку, не утруждая даже себя объяснением. Слишком она для того женщина, чтобы поступить так жестоко. Ведь даже и мужчина не смог бы так поступить по отношению к влюбившейся в него женщине, как о том свидетельствует ответ Онегина Татьяне. Он всячески очень искренне постарался смягчить жесткость отказа. Пятое. Он страдает еще и за возлюбленную, так как юноша, с которым мы страдаем вместе с вами, читатель, глубочайше и совершенно непререкаемо убежден в том, что никто и никогда не способен ее полюбить так, как любит ее он (разве в человеческих возможностях любить сильнее?!). Наш юноша крепчайшим образом убежден в том, что только он в состоянии ей доставить это счастье любви. А что счастье это велико, он чувствует по безмерности своего собственного несчастья. Шестое. Он страдает от того, что не может больше встречаться с той, видеть (только видеть!) которую составляет, как это кажется ему особенно теперь, единственную отраду всей жизни. И хотя она, по-женски отзывчивая и хорошо понимая обуревающие его чувства (даже лучше, чем он сам себя понимал), предлагала ему свою неизменную дружбу, он, чувствуя, что не в состоянии разделить с ней этой простой, но так по-человечьи нужной ему дружбы (ее дружбы!) и сгоряча отвергнув ее, не может позволить себе бестактности дальнейших встреч с нею.

Пусть не говорят, что мы здесь изобразили какую-то совершенно исключительную любовь. Мы изобразили любовь, просто любовь. Ибо во всех тех случаях, когда мы не встречаемся со столь острыми страданиями, каковы страдания нашего юноши, страдания от отвергнутой любви, мы имеем дело со всем, с чем угодно, но только не с любовью. Видно

так уж положено: любовь и страдания неразлучны. Даже при взаимной любви сколько страданий выпадает на долю любящих, страданий самых разнородных. Что же тогда сказать о любви отвергнутой, неразделенной любви? Ведь страдает при этом не только он — любящий, но и она — возлюбленная — за него, конечно. Если за него страдаем мы, посторонние ему люди, то как должна страдать за него она?!

Страдания от неразделенной любви, в отличие от других страданий, будучи поэтичным по природе, носят в себе и отраду, названную Пушкиным «горьким наслаждением». В знаменитом стихотворении «Желание» (1816) семнадцатилетний поэт писал:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье —
Пускай умру, но пусть умру любя!

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т.
М.; Л., 1950. Т. 1. С. 215.)

Вы скажете, не слишком ли взрослые чувства для юноши; пусть даже этот юноша — Пушкин. Не надумано ли все это? Нет, отвечу, — кому же еще быть объятым любовью, как не юноше. И недаром мы трактуем здесь о любви юношеской, так как любовь эта — настоящий эталон всякой иной любви — даже в старости, — если любовь эта — настоящая же разумеется.

Тридцать композиторов вдохновилось этим произведением 17-летнего поэта. И среди них А. К. Глазунов (1898), Ц. А. Кюи (1900), Э. Ф. Направник (1875), Н. А. Римский-Корсаков (1897), В. Н. Ставровский (1887). В наше время А. В. Мосолов (1949), Д. Н. Шведов (1959) и другие (см.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: Сов. композитор, 1974. С. 56–58).

Человек, много страдавший, всегда вызывает к себе уважение, между прочим, и потому что и растет в страданиях как человек. Человек, много страдавший от любви, вызывает такое уважение вдвойне. Человек же, нашедший в себе силы, чтобы воспрянуть от этих страданий, так как он

вспоминает, что на Земле много горя, что он как человек призван сделать все от него зависящее, чтобы горя и слез становилось все меньше на планете, вспоминает о своей нравственной и революционной природе, человек, воспрянувший от этих любовных страданий для новых же страданий во имя торжества идеала и вызывающий любовь и восхищение к себе со стороны окружающих и обретающий право на такое восхищение, если угодно, со стороны всего человечества, такой человек не может не тронуть сердца и любимой, ради которой он вынес смертные муки и был близок к самоубийству. И оно, сердце любимой, даже принадлежа другому, будет преисполнено по отношению к нему, к нашему ожившему, наконец, юноше вечной и нежной признательности, ибо ничто так не чуждо женскому сердцу как черная неблагодарность. Победив злое начало в себе, безнравственную, эгоистическую в корне мысль о самоубийстве и сделавшись еще более закаленным для истинно человечной жизни, для самоотверженной борьбы на благо человечества, юноша побеждает и в сердце любимой девушки. А о том, что неразделенная любовь может повести к самоубийству, мы очень хорошо знаем и из жизни, и из литературы. Письмо А. С. Пушкина к Наталье Николаевне Гончаровой от 11 октября 1830 г. — лучшее свидетельство тому, что бывают моменты в жизни человеческой, когда одна только любовь и способна спасти человека от покушения на собственную жизнь. «Ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься... Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое счастье» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1951. Т. 10. С. 310 (818)).

Однако нам пора обратиться и к нему, к сердцу девушки, отвергнувшему любовь юноши. Мы прежде занялись юношеским сердцем, как это ясно само собой, отнюдь не потому, что забыли о сердце девичьем, которое ведь тоже кровоточит... Вы думаете, что легко было ответить, хотя и мягко, разумеется, «нет» на заикающееся от робости признание юноши? Но мы должны были по самой сути дела раньше рассказать о любви нашего юноши, так как инициатива в любви принадлежит, как уже не раз говорилось, именно мужчине, женщина же отвечает на любовь. Стало быть, не из пристрастия к собственному полу я занялся раньше юношей. И если уж пошло́ на совесть, то автор готов, хотя и не без некоторой доли смущения, признаться, что питает больше пристрастия к представителям противоположного пола. И если я раньше занялся любовью юноши, то именно из стремления быть беспристрастным, из обязанности быть ближе к правде, неизбежно ложащейся на нас, коль скоро мы задались целью разобраться в самом нежном из человеческих чувств — в чувстве женской любви как неотъемлемом компоненте женственности.

Я с горьким сожалением оставил девушку в ее беде — ведь и она страдает, если юноша своею неразделенною любовью заставил страдать даже нас с вами, читатель, совершенно к этой любви непричастных. Легко понять, как страдает она! Мало того, наш юноша заставил нас принять близко к сердцу и переживания этой девушки, страдать и за нее, болеть душой за нее, так как своею самозабвенною любовью увлек и нас с вами, и мы сами по-человечески и крепко полюбили нашу героиню. Судите сами: девушка, сумевшая внушить к себе такую любовь, не может быть заурядной. Правда, что мы не находим в ней особенной красоты, которую посчастливилось найти в ней влюбленному юноше, но, вероятно, потому, что мы сами-то в нее не влюблены. И это, кстати, хорошо. Во-первых, она, кажется, полюбит другого, а мы уже знаем, как можно страдать от неразделенной любви. И, во-вторых, и это, конечно, главное, мы не смогли бы разобраться в природе любви, а в особенности в сердце нашей девушки, если бы влюбились в нее так же страстно, как потерявший было голову от любви к ней бедный юноша. Кроме того, я считаю просто бессовестным — сочинить для себя героиню, чтобы монопольным образом в нее влюбиться. Ведь в этом случае так же легко было бы влюбить ее в самого себя (чего я не преминул бы, конечно, сделать), заставить ее предпочесть меня не только несчастному юноше, но и всем остальным ее поклонникам. Между прочим, и это очень любопытно, даже наш юноша, хотя в его любви никак сомневаться, конечно, не приходится, находил женщин более красивых, чем его девушка. И хотя он и наделил ее в своем воображении всеми мыслимыми совершенствами, он, как юноша безусловно умный, был далек от того, чтобы на самом деле отождествлять в своем сознании реальный облик любимого существа с идеальным образом, им самим по поводу любимой девушки созданным. Этим отнюдь не выражается сомнение об искренности самого чувства. Как раз напротив, самый факт создания им заведомо нереального образа по поводу любимого существа как нельзя более красноречиво и ярко свидетельствует о неподдельности, непосредственности и силе самого чувства. Этим еще и еще подтверждается тот тезис, что прекрасное в искусстве выше прекрасного в действительности. Ведь легко понять, что если идеальный образ любимого существа, создаваемый даже нами, простыми смертными, далек от совпадения с реальным обликом любимого существа, то как должен превосходить над последним идеальный образ, создаваемый творческим гением великого художника, поэта? И если тем не менее любовь прекраснее и самого прекрасного в искусстве, то лишь потому, что в ней художественное творчество сливается с реальным творчеством, образуя великую симфонию жизни. И в самом деле, кому не известно, что такого рода идеализация

со стороны любящего делает и на самом деле любимую выше, благороднее, чище, прекраснее, иными словами, преобразует ее также и реально? Кому, далее, не известно, что и сам любящий, именно благодаря созданию им идеального образа любимой, становится и реально выше, благороднее, чище — прекраснее? Такова великая творческая сила — и художественная и реальная вместе — человеческой любви.

Вы скажете, что в таком случае юноша больше любил этот созданный им самим идеальный образ, чем самоё девушку. С этим я с вами не соглашусь ни за что на свете: девушка — она же живая, образ же — нечто идеальное, а идеальный образ — вдвойне идеальное. Он и в самом деле любил этот образ, но только в самой этой девушке, в которую был так беззаветно влюблен, что если бы она, как это сделала героиня «Вешних вод» Тургенева, приказала ему сброситься с кручи, он ни на одно мгновение не помедлил бы с исполнением приказания. Он был бы в этом своем состоянии, вероятно, даже счастлив такому приказанию, так как получил бы бесценную возможность тут же, на месте, доказать силу своей любви к ней.

Итак, о девушке, не разделившей любви юноши. Противоречивые чувства боролись в ней, когда она выслушивала признание юноши — она и хотела, она и боялась этого признания. И как она ни ожидала его, оно обрушилось на нее со всею силою и непосредственностью неожиданного. Об этом мы уже говорили, как говорили и о том, что нет женщины на свете, которая не ценила бы объяснения в любви. Такое объяснение, тем более, что ей пришлось выслушивать его впервые (впрочем, со стороны юноши оно тоже было первым) составляет едва ли не важнейшую веху в ее жизни, во всяком случае составляет самую романтическую, ее, жизни женщины, веху. Правда, что еще и девочкой, мы не говорим уже об отроческом возрасте, любовные мальчишечьи записки и даже целые, как говорится, развернутые письма доставляли ей немало радостного оживления, заставляли сильнее биться ее маленькое сердечко и с гордостью возноситься над своими сверстницами и сверстниками, однако же это была, конечно, еще только милая игра в любовь, правда, надо сказать, игра серьезная, задевавшая за живое и стоившая в случае отсутствия ответного к ней чувства, тайных девичьих слез, в том числе и злых, любовь еще не могла сделаться для нее такой привычной, чтобы сделать ее равнодушной к последующим объяснениям в любви (я полагаю, впрочем, что равнодушной к этому она никогда и не сделается) — уже в зрелом возрасте, когда из девочки она только-только превратилась в девушку, если даже опытную женщину всегда и неизменно трогает и волнует каждое новое объяснение в любви, вызывает в ней рой воспоминаний, самых светлых и радостных и молодит ее, что называется, на глазах.

Поэтому первое впечатление девушки от признания влюбленного в нее юноши — гордое торжество, которое она не в силах скрыть, как и охватившие ее застенчивость, смущение, стыдливость. Все эти чувства, сплавленные воедино и отраженные на ее лице, сообщают всему ее милому облику совершенно непередаваемое очарование и нежное обаяние, не ускользающее, конечно, от взгляда любящего, — при всем его собственном и робком смущении, — взгляда и всегда прикованного к любимой, а на этот раз невольно ищущего в ее глазах решения своей участи — судьбы своей любви. Не в силах разделить его чувство, а тем меньше ранить его, девушка долго молчит (ему кажется, — целую вечность!) и, наконец, так как он настаивает, с искренним и глубоким чувством благодарности отвергает его любовь, сказавшись, что она ее не стоит. Так как он стоит перед ней удрученный и поверженный в отчаяние, первое чувство радостного возбуждения сменяется в благородном девичьем сердце чувством нежной и острой жалости к влюбленному в нее юноше. Это чувство он сейчас, в нынешнем его состоянии, конечно, оценить по достоинству не может, но зато впоследствии, когда боль его чуть-чуть поутихнет, он будет перебирать в своем уме все знаки, в которых отразилось это чувство любимой, с ответным чувством живейшей к ней признательности — каждое ее слово, каждый ее взгляд, каждый ее жест, малейший поворот милой головки. Она с искренней и глубокой серьезностью предлагает ему свою дружбу, которую он безрассудно отвергает, а тем самым, не только причинив ей страдания, но обрекая на танталовы страдания самого себя, ибо провожает домой самое родное существо на свете (сверхродное существо, как выражается моя дочь Наденька по отношению к матери и к отцу!) в последний уже раз и тем самым кладет собственными руками начало разрыву, той отчужденности, которая отныне ляжет между ними и которую уже никакими силами не преодолеть и которая сообщит его страданиям еще большую остроту и вместе — для нас, добавим, — их ни с чем не сравнимую красоту. Впрочем, вы встречали этого юношу и хорошо с ним знакомы. Вспомните (Певец. — 1817 г.):

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
Певца любви, певца своей печали?



Следы ли слез, улыбку ль замечали,
Иль тихий взор, исполненный тоской,
Встречали вы?

Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз,
Вздохнули ль вы?

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 208.)

Впрочем, разве не о том же поется в популярной, хватающей за душу, песне:

Красота твоя с ума меня свела,
Иссушила добра молодца меня...

35 композиторов откликнулось на муки нашего юноши — написали музыку на пушкинское стихотворение. Среди них: П. И. Чайковский (1878), А. Г. Рубинштейн (1849), А. Н. Верстовский (1831), А. А. Алябьев (1830-е гг. Рукопись). В наше время Э. С. Колмановский (1949), М.: Музгиз, 1953. Все названные — для голоса с ф-п., за исключением Чайковского (у него — дуэт из оперы «Евгений Онегин»). Для смеш. хора музыку написал Н. А. Соколов (1899) и А. В. Никольский (1909) (см.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: Сов. композитор, 1974. С. 103–104).

Он не смеет и не может уже показаться на глаза девушке, глаза, смотреть и смотреть в которые еще так недавно казалось ему верхом блаженства, не может в них смотреть по собственной вине. Сколько бы он отдал сейчас жизни, чтобы взглянуть на нее хоть издали. Он только теперь по-настоящему познал, какой насущной жизненной необходимостью является для него счастье ее только видеть и на нее только любоваться... Не о том ли писал поэт: «...хоть легкий шум ее шагов».

В ходе этого разрыва чувство раскаяния сменяет прежнее чувство жалости к влюбленному: девушка никак не ожидала, по своей женской скромности, что ее отказ вызовет такую страшную реакцию, повлечет за собой такие муки. Она и не могла этого по-настоящему знать — ведь она сама еще не полюбила, а тем более безнадежно. Правда, романы, большею частью украдкой, она читает с самого детства (похвалялась она по секрету своим подругам, что читала даже Золя, чего ей, кстати, и не следовало делать в этом возрасте, хотя романы Золя и не повлияли сколько-нибудь отрица-



тельно на ее здоровую натуру), но в романах, так думала она, все преувеличено, и потому именно и красиво, что преувеличено. То, что любовь есть и в самом деле нечто очень важное, она поняла по-настоящему только сейчас, видя страдания влюбленного в нее человека. Только сейчас она и в самом деле повзрослела, хотя и считает себя взрослой, разумеется, давно, чуть ли не с 7-го класса. Уже тогда, когда ей было четырнадцать-пятнадцать лет, на нее все любовались и называли Девочкой с косичками, а она с притворным и очень шедшим к ней милым негодованием отвергала это упрочившееся за ней прозвище, заявляя себя взрослой. Чувство раскаяния овладевает девушкой не только оттого что она причинила такую, быть может, непоправимую травму любящему ее юноше, не только оттого что жестокость совершенно ей чужда и она хорошо понимает, что жестокость просто нейдёт ей как женщине, но и оттого что воочию убедилась в исключительной силе его любви и, отвергнув ее столь поспешно, не разбила ли она тем самым, вместе со счастьем любящего, и свое собственное счастье?! Девушка ночами не спит, проверяя себя все вновь и вновь, пока окончательно не убеждается в том, что не любит его. И решающим доводом служит для нее тот факт, что она не страдает от любви к нему (ведь произошедший между ними разрыв — и для нее разрыв!) и что ежели бы она его полюбила по-настоящему, то, конечно же, влюбилась бы в него, как и он в нее, с первого взгляда. Правда, она не подозревает еще об ответном по самому существу характере женской любви. Но даже если бы она знала об этом, это тоже нисколько не меняло бы положения, так как и в случае ответной любви надо, в свою очередь, влюбиться, а значит, — тоже с первого взгляда. И нельзя не отдать должного проницательности нашей юной героини.

Нет ни малейших сомнений в том, что человек, будь то мужчина, будь то женщина, и в самом деле влюбляются с первого взгляда. И это как в случае прямой, так и в случае ответной любви. Однако это не следует понимать буквально. Нередко бывает как будто наоборот — человек удивляется самому себе, как это он раньше не обратил внимание на существо, так властно и так целиком завладевшее его воображением в настоящем, — ведь он был знаком с ней, встречался с ней у ее подруги, которая, кстати, больше ему нравилась. Поэтому, когда я говорю, точнее, повторяю вслед за другими, что человек влюбляется с первого взгляда, я понимаю это так: с тех пор как он дал себе труд внимательно посмотреть на заинтересовавшего его представителя другого пола. Я предвижу, что это уточнение кое-кого разочарует, именно тех, кто привык буквально понимать выражение: с первого взгляда. А мне разочаровывать никого не хотелось бы, — прежде всего, понятно, представителей столь любезного для меня женского пола. Поэтому я надеюсь удовлетворить и их, если к сказанному прибавлю, что я вовсе

не склонен отрицать и случаи влюбленности с первого взгляда также и в обычном, в собственном смысле слова. Как раз напротив: именно такой случай влюбленности я считаю классическим. Встретившись взглядами, его вдруг осеняет, что этому женскому существу суждено завладеть всеми его помыслами и чувствами, всем его собственным существом, что, коротко говоря и не теряя зря слов, — он влюблен... Он испытывает при этом ни с чем не сравнимое состояние — настоящее душевное смятение, какой-то особый прилив сил, не может скрыть ни от себя, ни от нее, ни от всех вообще внезапно охватившее его возбуждение, свою глубокую взволнованность, смешанную с удивлением перед ее изумительной красотой, не в силах оторвать от нее взгляда, то и дело хотя и украдкой смотрит на нее, единственно на нее, уже этой украдкой выдавая себя, а встретив ее ответный взгляд (ведь она чувствует, ох, как чувствует, что на нее смотрят, так смотрят!), с невольной робостью (если он даже в летах!) спешит опустить свой, ловит себя на том, если он в обществе, что что бы ни делал, что бы ни говорил, он говорит и делает только ради нее, для нее одной, — чтобы «она» заметила, чтобы «она» обратила внимание, чтобы «она» оценила. Ведь это для него так важно. Он и сам до того не поверил бы, что это будет для него так важно, т. е., попросту говоря, единственно важное. И такое чувство, из глубины глубин его души истекающее, испытывает не он один, влюбившись в нее, оно невольно передается и ей, ответившей на его любовь счастливой взаимностью. Отвечая на его восторженное поклонение, она влюбляется в него без памяти, как и он в нее. Она начинает по-настоящему жить — жизнью женщины, в точном значении этого слова — только в эту минуту и с этой минуты. Вся ее прежняя жизнь кажется только предуготовлением этой минуты, а эта минута ее, всей ее жизни, жизни женщины, полное самораскрытие и блистательное торжество. Это чувство уже не покинет ее более, — и когда она станет женой, и когда она сделается матерью, бабушкой и прабабушкой, оно нет-нет (пусть и не с такой силой и яркостью, как в эту минуту) да скажется, оно будет сопутствовать ей (пусть и не такое взволнованное, но зато ровное и глубокое) на протяжении всей ее жизни, и с благодарным изумлением, что оно было и есть в ее жизни, она унесет его с собой в могилу...

И вот этого-то чувства наша героиня и не испытывает, как ни пытала свое разболевшееся вконец сердце. То нетерпение, которое он выказывал в ожидании свидания с нею (а в особенности, конечно, первого свидания наедине!) ей было совершенно чуждо. Правда, было приятно с ним, остро ощущать с таким мужеством и трудом сдерживаемый им пыл, но свидания эти отнюдь не составляли для нее, даже и в малой мере, такой насущной, жизненной потребности, как для него. И по всему этому, решает она,

она не вправе обманывать ни себя, ни его, положительно отнесясь к его признанию. Ведь, кроме всего прочего, это было бы настоящим оскорблением его в его лучших чувствах, хоть он этого сейчас и не понимает, ибо воспринимает за оскорбление как раз ее отказ, всецело продиктованный отсутствием истинного чувства к нему. Это было бы, и это, может быть, самое главное, и есть, настоящим святотатством — по отношению к самому чувству — трижды священному чувству любви!..

Каждый скажет, при всем его сочувствии к нашему юноше, что девушка, его и наша героиня, поступила правильно, рассудительно, благородно, — да и как она могла поступить иначе, ведь она — женщина, женщина до мозга костей — олицетворенная женственность, призванная прежде всего быть олицетворенной же справедливостью. Но именно поэтому же к безнадежно влюбленному в нее юноше она не перестает испытывать и нестерпимую, щемящую жалость, которую менее умная девушка, быть может, и приняла бы за любовь, за ответную любовь. Но в том-то и дело, что и ответная любовь есть любовь и отвечает всем решительно чертам влюбленности. Человек, испытывающий ответное чувство любви, находится точно в таком же состоянии влюбленности, как и тот, на чье чувство он отвечает. Ответная любовь женщины отнюдь не менее сильна, чем прямая любовь мужчины. Очень даже может статься, что она еще сильнее, так как к собственно чувству любви присоединяется еще и чувство гордости женщины в том, что она своими личными качествами сумела внушить к себе такую любовь, и горячее чувство благодарности к нему, к мужчине, сумевшему обнаружить в ней и оценить эти качества. Я не говорю уже о том, что в силу ряда причин, о которых ниже (в главе «Доброта») и прежде всего в силу присущей женщине нежности все чувства в ней, в том числе, понятно, и любовь, вообще обостреннее и глубже, чем в мужчине.

Не испытывая к нашему юноше ответного чувства, девушка, однако, испытывает ни с чем не сравнимую, необыкновенную гордость — и не только за себя, сумевшую внушить столь сильное к себе чувство, но и за юношу, оказавшемуся на высоте этого чувства, показавшему себя способным на такую любовь, и эта чисто женская гордость на может не внушить ей особого чувства нежной симпатии к страдающему юноше. И это понятно. Если подобное чувство испытывают решительно все женщины, притом с самых ранних, едва ли не с детских лет, к тающему на глазах от любви — отнюдь не к ним, а к другой женщине, им вовсе не известной, а то даже и просто в романе, который сейчас лежит у них на коленях, то как сильнее и нежнее в одно и то же время оно должно быть в девушке, явившейся непосредственной виновницей этих всегда удивительных

страданий? Об этом уже свидетельствует хотя бы тот повышенный интерес, который невольно и неизменно обнаруживает девушка, когда речь заходит при ней об этом отвергнутом ею юноше. Пусть она еще никого не любит, пусть полюбит со временем другого, но она будет стараться всякими способами быть в курсе жизни несчастного по ее вине юноши, будет в душе радоваться, хотя и с некоторой долей огорчения, его выздоровлению от любви к ней, будет (уже без всякой тени огорчения) радоваться его успехам, будет страдать его страданиями, и единственного, пожалуй, чего она ему не простит (в душе, разумеется) — это когда узнает о том, что он полюбил другую. И в этом скажется, если не женственность, то женщина. Ведь в женственности — истинная человечность, а в этом, хотя и человечность, бесспорно, но не истинная. Истинная человечность — это нравственное в человеке, тогда как просто «человечность» включает и все человеческие слабости. В том факте, что любивший ее юноша полюбил другую, наша героиня усмотрит настоящую измену, хотя и не любила и не любит его сама, будет испытывать настоящее чувство ревности, не испытывая любви... Парадоксальная ситуация, не правда ли? Но кто в состоянии отрицать ее человеческую, специфически женскую правду? Это женская черта, можно думать, что мужчине она не свойственна, и проистекает она именно из ответного характера любви женщины. Именно потому, что как правило женская любовь имеет ответный характер, она испытывает чувство ревности к другой женщине, хотя сама не любила, — так как любивший ее человек, благодаря этой другой, разлюбил ее. Нет слов, что в этом скажется уязвленное женское самолюбие, но ведь не менее верно, — и в этом, пожалуй, суть, — что страждущий и глубоко поэтический образ влюбленного юноши, тронувший, как мы видели, самого Пушкина и вдохновивший его на одно из самых лирических его стихотворений, уж слишком глубоко запал ей в душу, я бы даже сказал, сроднился с ней настолько, что его теперь уже никогда не изгнать из ее сердца. И хотя это очень смахивает на любовь, но, как говорится, поздно проснувшуюся в ней, — не то, что жалость, о которой говорилось выше, это все же не есть любовь, но естественная в женщине реакция на любовь, — до того все, с любовью связанное, задевает самые заветные струны в дивной женской душе, до того все, связанное с любовью, — стихия женщины. Без этой живейшей заинтересованности в любовном сюжете, — пусть эта любовь не имеет даже и отдаленного отношения к ней лично, — мы не мыслим себе женщины. Истинная любовь для нее заразительна, она всегда мысленно ставит себя на место героини даже читаемого ею романа, не говоря уже о жизни, она никогда не остается в ее сердце бесследной совершенно, всегда и неизменно оставляет по себе след, тем более место для любяще-

го остается в сердце существа, составившего его первую любовь. Любовь для женщины (и не только для нее — об этом уже говорилось) — поэтическое олицетворение самой жизни — как жизни.

То, что это не любовь, доказывается уже тем фактом, что героиня наша не пожелала бы физической близости с отвергнутым ею юношей. О роли чуда прикосновения в любви очень хорошо сказано в вышеприведенном отрывке из Олдингтона. Даже в самой чистой, самой возвышенной любви эта физиологическая ее подоснова всегда и неизменно, хотя и незримо и неосознанно присутствует на всех ее стадиях, сообщая любви человеческой ее специфический и захватывающий несказанно тонкий и нежный эротизм. Без сладостной перспективы физического обладания, пусть самой отдаленной, при одной мысли о которой дух захватывает, без подсознательного иногда стремления увидеть когда-нибудь возлюбленную во всей ослепительной красоте ее обнаженного тела, без чуда прикосновения, когда любимая, даже чисто случайно и невзначай коснувшись своими волосами лица любящего, вызывает в нем невольную дрожь, которую скрыть, конечно, невозможно и которая невольно передается и ей, — без полового влечения нет и не может быть любви. А кто в состоянии отрицать, что это половое влечение в высшей степени избирательно и уж во всяком случае от воли человека не зависит. Здесь сказывается то, что зовется зовом плоти, он видоизменяется в соответствии с тончайшими особенностями физиологического строения каждого. Вот почему «чудо прикосновения» Олдингтона я переиначил в «таинство прикосновения», последнее ближе характеризует неподвластность этого чувства нашей воле. И только и единственно взаимная любовь, предполагающая полное слияние, стало быть и физическое, двух любящих сердец, до некоторой степени облагораживает, как я уже имел случай говорить об этом (в главе о стыдливости), самый процесс совокупления.

Очень правдиво о роли «вожделенного начала», если можно так выразиться, о роли физиологического начала вожделения в любви написал не кто иной, как А. С. Пушкин. Если учесть, что в этом стихотворении он говорит о самом себе и от своего лица, то невозможно достаточно надивиться его поистине потрясающей искренности в столь интимной сфере, и его мудрой, истинно философской небоязни показаться смешным в глазах ханжей и лицемеров, когда дело идет о художественном воплощении в слове одного из важнейших оттенков одного из важнейших человеческих чувств. Правда, стихотворение это, написанное в 1830 г., при жизни поэта не печаталось, тем более оно представляется значительным, значит в Пушкине была потребность определить свое отношение и к этой стороне любви, о которой не принято говорить откровенно. Об этой стороне

любви он тем более считал себя обязанным говорить, что его поэтическое творчество в значительной мере посвящено выяснению средствами искусства этого великого и нежного чувства. Вместе с тем невозможно сомневаться в том, что стихотворение написано им не для одного себя и не для одной той, к которой он в нем обращается. Он прекрасно, конечно, знал, что всё написанное рукой Пушкина, будет когда-нибудь напечатано, даже ходившие в списках по всей стране его революционные, свободолюбивые, антиправительственные стихи, будут напечатаны несмотря ни на что и вопреки всему. Так что нельзя думать, чтобы он не хотел и публикации стихотворения, о котором идет речь. А раз так, то и мы, без всяких угрызений совести, воспроизводим здесь, в главе о любви, это стихотворение. Тем более, что без черты, в нем отраженной, человеческая любовь, как уже говорилось, немыслима, не предстает перед нами в своей истинности и полноте. Вот это стихотворение:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом всё боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!

(*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т.
М.; Л., 1950. Т. 3. С. 166.)

Впрочем, я не могу сказать, что поступил нескромно, приведя это замечательное стихотворение. Оно уже давно положено на музыку для голоса с ф-п. Ц. А. Кюи (СПб., Циммерман, 1911), а в советское время В. С. Кашницким — тоже для голоса с ф-п. — в 1926 г. (См.: Пушкин в музыке: Справочник / Сост. *Н. Г. Винокур, Р. А. Каган.* М.: Сов. композитор, 1974. С. 94).

Половое влечение, как это явствует из стихотворения, индивидуально в высшей степени, и хотя девушка наша отдает себе ясный отчет в достоинствах нашего юноши, она не чувствует к нему такого влечения



и так только, и, конечно, не может себе его приказать, иными словами, не может себе приказать любить его. Из стихотворения явствует также и то, что и в половом влечении, как и в любви вообще, инициатива принадлежит мужчине, а отнюдь не женщине. Женщина и здесь отвечает на любовь, именно благодаря присущей ей от природы стыдливости, хотя от этого ее собственное желание (вожделение), коль скоро она уже отвечает на желание мужчины, не становится менее сильным — она в конце концов делит его пламень поневоле.

У неиспорченных натур такое неодолимое половое влечение не может иметь место без настоящей любви. Вот почему невзирая на живейшее и нежнейшее чувство симпатии, испытываемое ею едва ли не на всю жизнь к отвергнутому юноше, девушка хорошо знает (интуитивно, конечно, знает), что не испытывает к нему более сильного, более интимного чувства.

Женщина, которую любят, из-за которой страдают, которая к тому же не разделяет этой любви, а ее все же продолжают любить, и любить еще сильнее, не может не испытывать гордости также и от сознания своей власти, и это, наряду с оттенком нежной грусти от жалости к любящему, создает у нее особенное умонастроение, доминирующая черта которого — сознание собственной неотразимости, умонастроение, накладывающее отпечаток на все ее поведение, на ее манеру держаться и на все остальные ее манеры, на ее осанку, на каждое ее движение, на каждый ее взгляд, на каждое ее слово, умонастроение, возвышающее ее в глазах окружающих и сообщающее каждому ее жесту значительность. Конечно, все эти черты вообще свойственны женщине, которую любят. Но с особенною рельефностью, именно благодаря тому, что они усиливаются в ней, они выступают в женщине любимой, но не отвечающей взаимностью. В случае любви взаимной они, не теряя в силе, в значительной степени смягчаются, ибо составляют лишь момент в массе более поглощающих переживаний, о которых говорилось выше (вы помните: «Человек любит, и...» и т. д.). Она сознательно, а еще больше бессознательно, стремится быть достойной такого поклонения, не позволяет себе ложь или несправедливость. Ведь она — богиня, притом в отличие от богинь мифологии вполне реальная богиня, богиня в живой плоти, а боги не обманывают! Вы скажете — это тщеславие. Нет, это, как уже говорилось, особого рода гордость — гордость и за себя и за юношу, гордость от сознания своих женских чар и их неотразимости и власти, и гордость эта, в отличие от тщеславия, никого не оскорбляет и тем более ни в ком не вызывает насмешливого чувства. Она, напротив, весьма и весьма импонирует, в особенности же юношам, придает женщине еще бóльшую привлекательность, возвышая, как уже

говорилось, ее в собственных глазах и в глазах всех с ней соприкасающихся. Это именно такого рода гордость, которая сродни величавому спокойствию античной богини, которая выпрямляет людей, подвигает их на большие и героические дела.

Со всем тем нетрудно себе представить, что сделается с нашей богиней, когда она сама полюбит, не встретивши взаимности. Без сомнения, девушка, не разделившая страстной любви юноши, в свою очередь гораздо острее переносит свою собственную неразделенную любовь, когда она сама влюбляется, не встречая взаимности, нежели девушка, не бывшая прежде предметом обожания. Ведь ко всем страданиям от неразделенной любви присоединяется еще и страдание от сознания, что она низринута с пьедестала, на который была ранее возведена влюбленным в нее до беспамятства юношей.

И все же такие неописуемые любовные страдания гораздо легче переносит девушка или же молодая женщина, у которых всё впереди, нежели женщина пожилая, не видящая впереди ничего для себя отрадного и весь смысл своей жизни сосредоточившая на этой несчастливой для нее любви. Ибо если даже она проникнута нравственным самосознанием настолько, что усматривает истинное счастье, казалось бы, в неизмеримо более высоком, нежели любовь, а именно, в творчестве добра, она в то же время не в состоянии не усматривать в факте отсутствия к ней любви в любимом ею человеке, настоящее несчастье, — до того все женское существо в ней, все женское начало в ней, взывает к любви, до того она вся пронизана потребностью быть любимой. И пусть она еще больше уходит в общественную работу, сознавая, что вносит свою лепту в великое дело всего трудового человечества, в священную борьбу за торжество коммунизма на нашей планете, она все же будет чувствовать себя обделенной в чем-то для нее весьма и весьма существенном, ибо даже и эта цель, величайшая из всех, какие когда-либо знало человечество, не в состоянии поглотить ее настолько, чтобы она забыла и про свою несчастливую женскую долю, чтобы она перестала чувствовать себя женщиной. Можно думать, что в женщине эта извечная потребность быть любимой более развита чем в мужчине, во всяком случае, она не так органична в нем, как в ней. И это понятно: ведь ей необходимо сделаться матерью. Но даже и в том случае, когда она сделалась ею, потребность быть любимой продолжает оставаться в ней такою же насущною потребностью, как и до материнства, и женщина не может считать себя вполне счастливой, если ее не любят, как бы ни была насыщена ее жизнь во всех прочих отношениях. Конечно, женщина (пожилая женщина, о которой сейчас идет речь) в этом очень редко признаётся. Как существо всё же в некотором роде

более слабое чем мужчина (а слабость эта, как уже говорилось, в ее большей нравственной ранимости, в чем объективно также состоит и ее сила), женщина нередко хитрит с истиной, не будучи в состоянии ей мужественно противостоять, если истина в данный момент не отвечает ее интересам или же умонастроению. Она лукаво, как кажется на первый взгляд, заявляет: «Конечно, не в любви счастье, для полноты счастья требуется нечто более высокое, чем любовь, требуется борьба за торжество идеала, зато отсутствие любви (имеется в виду, понятно, любовь, встречающая взаимность) — самое несомненное несчастье». И она будет, конечно, права: истинное счастье и в самом деле состоит в полной, исчерпывающей реализации человеком своей творчески-преобразовательной сущности в добре, и оно не может зависеть от случайности, любят ли тебя или нет, но нельзя забывать и того, что человек — это также мужчина или женщина, и они еще должны быть счастливы и в качестве таковых. И трудно даже вообразить себе, что с собою способна сотворить женщина, женщина пожилая, у которой в этом смысле, в смысле взаимной любви, всё в прошлом, возведенная в ранг богини мужчиною, любившим ее несравненно больше, нежели себя самого (в этом она могла не раз убедиться), но сейчас ее разлюбившего, так как полюбил другую, или же сама разлюбившая, так как полюбила другого — и, увы! безнадежно... Только совесть в счастливом сотрудничестве с временем способна спасти эту женщину!..

Конечно, не представляется возможным исчерпать всю гамму любовных переживаний, ибо в отличие от простой музыкальной гаммы, она поистине неисчерпаема, — зависит от пола, возраста, темперамента, условий жизни, воспитания и образования и, прежде всего, понятно, — от социальных условий. Кому не известно, что эксплуататорский общественный строй, основанный на частной собственности, не только уродует красоту женщины, но и калечит лучшие чувства людей и в первую очередь любовь. И одна из задач коммунистической революции — также и в том, чтобы спасти любовь от осквернения, вернуть ей всю ее девственную чистоту и раскрыть в полную меру все роскошные потенции, в ней заложенные. Можно думать, что и «географический фактор» здесь играет свою роль, хотя, как мне думается, весьма и весьма ограниченную, говорят же о горячем южном темпераменте и холодном северном. Пусть нам не говорят, однако, что красивый ландшафт смягчает остроту любовных страданий: для страдающего от любви самый яркий солнечный свет меркнет, а окружающая роскошь природы и вовсе не задевает его сознания. Можно было бы сказать, конечно, что счастливый в любви счастлив везде, как и несчастливый в любви везде несчастлив, если бы красоты природы не вносили здесь самую что ни на есть неспра-

ведливую поправку: счастливого в любви они всегда делают еще более счастливым, усиливают и изукрашивают для него это счастье, которым он полон, многократно, тогда как несчастливого в любви, если и не всегда, то большею частью, делают еще более несчастным, обидно контрастируя с одолевающим его мрачным настроением. Нечего и говорить о том, что степень материальной обеспеченности человека, как и степень его досуга тоже до известной степени и самым разнородным образом сказываются на глубине и остроте любовных переживаний и любовных страданий. Ведь мы с вами материалисты и нам следует хоть на миг спуститься на землю. Впрочем, и в этом плане великие завоевания социализма, которыми мы все гордимся, постепенно сводят на нет и действие этого фактора, столь ощутимое в странах капитала.

Нет решительно ни малейшей возможности описать и проанализировать всю совокупность переживаний, с любовью связанных, даже поскольку речь идет о том или ином отдельном человеке, не то что о человечестве в целом: слишком уже, как говорилось в самом начале этой главы, индивидуально окрашены эти переживания, самые интимные из всех, и слишком разнообразятся их оттенки даже на протяжении одной и той же любви, любви одного и того же человека, одной и той же женщины (ведь мы не забыли, что главное, что нас интересовало в этой главе — в контексте всего сочинения, — это именно любовь женщины). Ведь и любовь каждой отдельной женщины разделяет судьбу всякого естественного процесса, всего совершающегося во времени, и отнюдь не всегда, даже, можно оказать, очень и очень редко мы в состоянии зафиксировать те или иные тончайшие переходы, переливы, до того они неприметны для глаза, не говоря уже о всей совокупности таких нюансов. А ведь они вносят ни с чем не сравнимое богатство в это великое чувство. Поэтому мы должны быть довольны, если «схватили» (если и в самом деле схватили!) основные звенья этого процесса. И пусть не сетует на меня читатель за то, что я так долго «копался» в переживаниях любви, — ведь без любовных переживаний нет и самой любви... И в этом коренная особенность человеческой любви. Анализ этих переживаний убедил нас в том, как велико значение любви в жизни женщины, как переживания эти оттачивают в ней все душевные качества, утончают всю ее душу, душу женскую, формируют в ней специфически женское начало, возвышают и облагораживают ее самоё и всех с ней соприкасающихся.

Материнство

Любовь, почти с неизбежностью связанная с вожделенной интимной физической близостью, сделала девушку женщиной — любимой и любящей, — а потом и матерью. Надо сказать с полным, понятно удовлетворением, что девушке нашей явным образом посчастливилось в любви: она ответила взаимностью на пылкую любовь другого уже юноши (кстати, мне совершенно незнакомого, так что я ничего о нем не могу сказать определенного, — разве только то, но об этом вы сами догадываетесь, что юноша этот должен быть очень достойным, раз на него «пал выбор» нашей героини, девушки весьма и весьма примечательной. К стыду своему я должен признаться, что потерял из вида и первого юношу, столь нам полюбившегося. Дела всякого рода так завертели меня, что я не смог уследить за его дальнейшей судьбой). Вы, конечно, сразу же обратили внимание на слово «почти», употребленное мною в первом же фразе этой главы («любовь, почти с неизбежностью связанная с вожделенной интимной физической близостью»). Ибо нельзя не согласиться с тем, что бывает и платоническая любовь, любовь «чисто идеальная» — без вожделения и без физической близости, и нельзя сказать, чтобы такая любовь была совершенно бесплодной, как это может показаться на первый взгляд. Как раз напротив, ее возвышенный характер, одинаково сказывающийся и на любящем и на возлюбленной, невольно сообщается и нам, и ее нравственное воздействие невозможно переоценить. Это любовь Данте к Беатриче, это любовь нашего Блока к «Прекрасной Даме». Можно думать, что на заре туманном юности не один из нас был охвачен такой, я бы сказал, чисто созерцательной любовью. И всё же такого рода любовь составляет скорее исключение, нежели правило, и было бы, конечно, весьма и весьма печально, если бы когда-нибудь сделалась правилом. Не означало ли бы это конец человеческого рода и человеческой истории? Я не отрицаю, понятно, что платоническая любовь имеет свои прелести, отмеченные благородным бескорыстием экстетического созерцания ее, возлюбленной,

неисчислимых совершенств, ее идеальной красоты, но она всё же скорее отличает человека с меланхолическим складом души, нежели с уравновешенным. Такое поклонение Ей (не иначе, как с большой буквы) очень сродни с религиозным поклонением Святой Деве. Судите сами:

Ты горишь над высокой горою,
Недоступна в Своем терему.
Я примчуся вечерней порою,
В упоеньи мечту обниму.

Ты, заслышав меня издалёка,
Свой костер разведешь ввечеру,
Стану, верный велениям Рока,
Постигать огневую игру.

И когда среди мрака снопами
Искры станут кружиться в дыму, —
Я умчусь с огневыми кругами
И настигну Тебя в терему.

И еще:

Я понял смысл твоих стремлений —
Тебе я заслоняю путь.
Огонь нездешних вожделений
Вздымает девственную грудь.
Моей ли жалкой, слабой речи
Бороться с пламенем твоим
На рубеже безвестной встречи
С началом близким и чужим!
Я понял всё, и отхожу я.
Благословен грядущий день.
Ты, в алом сумраке ликуя,
Ночную миновала тень.
Но риза девственная зрима,
Мой день с тобою проведен...
Пускай душа неисцелима —
Благословен прошедший сон.

(*Блок А.* Собр. соч.:
В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. Т. I. С. 120, 80.)

Слов нет, эти стихи гораздо приятнее читать, нежели такие: «Хочу одежды с тебя сорвать, / Хочу упиться роскошным телом». Но каждому ясно, что обе крайности — две стороны одной и той же медали: обе они и, к сожалению, в одинаковой мере безнадежным образом уводят

нас от истинной любви и ее высокого смысла — материнства. Во всяком случае, если бы люди руководствовались такой чисто платонической, или мистической, любовью или же одной только грубой плотской любовью (при наличии разнородных противозачаточных средств), нам не пришлось бы писать о материнстве, о той именно черте женственности, к которой тяготеют все остальные ее черты как к своему апофеозу и без которой немыслимы они сами.

Нет никаких сомнений в том, что материнство — главное человеческое назначение женщины. Если сущность человека — творчество нового мира и нового человека (нового самого себя) в соответствии с идеалом добра, то на женщине лежит основная задача и основная тяжесть в этом плане: она творит нового человека в самом буквальном смысле — не только духовно, нравственно, но и физически, телесно. Конечно, и мужчина разделяет с женщиною честь рождения человека (иначе не говорили бы о родителях), но каждому ясно, что физические тяготы, с этим связанные, ложатся уже целиком на слабые плечи женщины. Можно думать, что все идеальные черты женского существа, рассмотренные выше, — изящество, нежность, стыдливость, любовь, — именно и обусловлены его предстоящей ролью матери — Продолжательницы человеческого рода. Акт материнства требует от женщины сосредоточения всех ее физических, душевных и духовных (нравственных) сил. Перестраивается организм, и перестраивается вся структура ее сознания. И то и другое ради одной-единственной цели — рождения нового человека, человека еще никому не ведомого, как и новая поэма, как и новая симфония.

Вы скажете, — а зачем так выспренне о самом банальном: ведь рождаются люди всюду и постоянно, на всех континентах и в любое время года, в любое время дня и ночи; причем же здесь поэма или симфония. Чуть-чуть спустились на землю (это когда отстаивали роль вожделения в любви), и опять парите в небесах, благо, там препятствий никаких. Но вы не правы, читатель. Не поэмы и не симфонии рождают людей, а люди рождают и поэмы и симфонии, и если рождение вторых — торжественный праздник, то каковым же великим праздником должно быть рождение первых, рождение человека — творца поэм и симфоний? Да и как можно не восторгаться материнством, когда сама любовь — самое прекрасное, самое возвышенное, самое человечное, самое поэтичное, самое романтичное, самое интимное, самое лиричное, самое легендарное, наконец, из всех человеческих чувств, — изливается в материнское чувство.

Невозможно достаточно надивиться на чувство материнства. Хотя мы досконально знаем весь его «механизм» и процесс протекания, начиная от оплодотворения и кончая рождением нового, оно все же

не перестает нами восприниматься как самое настоящее таинство. Так, впрочем, обстоит дело и со всем закономерно совершающимся в природе вещей и очень сильно напоминает созревание и рождение новой, неслыханной дотоле мелодии: оно столько же чудесно, сколько и постижимо. И этот сплав чуда и его адекватного постижения и сообщает для нас всему естественному такую неизъяснимую прелесть: если бы оно не было чудом, в нем не содержалось бы и поэзии; если бы оно не постигалось умом, оно отпугивало бы своею чуждостью всему человеческому. Поэзия жизни, первоисточник всей и всяческой истинной человеческой поэзии, именно и основана на единстве чуда и его закономерного подготовления. Именно таким чудодейственным единством и выступает перед нами материнство. Иногда прямо-таки диву даешься: как оно вообще возможно и как может такое нежное существо, какова женщина, вынести все муки ада, связанные с рождением ребенка, как может такое физически слабое существо справиться с такими тяжелейшими обязанностями. И разве не чудо из чудес то, что основную тяжесть (да еще какую!) самого важного в ее жизни (в жизни природы) действа, действа, служащего не больше, не меньше, как именно для продолжения, а вместе и утверждения и укрепления своей жизни природа возложила на такое хрупкое существо, какова женщина, тогда, как казалось бы, именно на плечи мужчины, физически несравненно сильнее женщины, она должна была бы переложить эту тяжесть, — иными словами, она должна была бы акт оплодотворения мужчиною женщины сделать мучительным, а акт рождения плода женщиною легким. Но нетрудно понять, что ежели бы природа так и поступила, она серьезно рисковала бы самым важным в своей жизни: а вдруг мужчина, испугавшись физических мучений и физической тяжести своей родительской миссии, призадумается, следует ли ему вообще выступать в роли родителя, не соблазнительнее ли прожить на свете холостяком. Ведь надо считаться с тем, что мужчины нередко обнаруживают нравственную слабость, пасуют перед трудностями — гораздо чаще, между прочим, чем женщины. Вот почему природа не только не сопроводила отцовский акт муками, но, напротив того, сообщила ему свойство сладострастности, свойство, перед которым устоять почти невозможно. Для того же, чтобы и женщина не слишком противилась акту рождения, учитывая физические страдания, с ним неизбежно связанные, она и ей подсластила эту пилюлю, наделив ее ответным сладострастным же чувством (инстинктом). Короче, она (природа) поступила, как настоящая мать, как матери и надлежит поступить, имея в виду высшие интересы своих неразумных детей, и поступила так в отношении обоих своих детей — и мужчины и женщины. Тем самым

природа подсказала и подсказывает женщине главную нравственную обязанность материнства: имея в виду высшие интересы своих детей, сплошь и рядом идти даже на «хитрости», даже подслащивать их, если это надо, лишь бы эти интересы обеспечить, а тем самым обеспечить их истинное счастье. Не поймите меня превратно, прошу вас, я вовсе не утверждаю, будто для достижения высокой цели все средства хороши. Как раз напротив, я считаю, что средства должны быть на высоте цели, и что ни одна цель, как бы высока она ни была, не способна оправдать низменных средств к ее достижению и что чем выше цель, тем и средства к ее реализации должны быть выше, благороднее, чище. Конечно, природе вовсе не обязательно руководствоваться нравственными принципами в выборе средств, ибо она и существует и действует вполне стихийно — как факт в силу своей сущности самопричины. Человек же обязан руководствоваться этическим принципом благородства в выборе средств, ибо он не может позволить себе неразборчивость в средствах. Единственное, что мы хотели подчеркнуть, — что природа-мать подсказала женщине-матери мягкие средства ради достижения высокой цели, и в этом один из источников нравственной силы материнского воздействия: там, где мужчина берет строгостью, женщина лаской, и потому вернее сплошь и рядом достигает своей цели. Нет никаких сомнений в том, что в этом — главная особенность, решающая особенность нравственного воздействия женщины и в особенности женщины-матери на людей и в первую очередь, разумеется, на собственных детей.

Любовные переживания нашей героини как в случае неразделенной ею любви нашего юноши, так и в случае счастливой взаимной любви с другим, незнакомым нам юношей, завершившейся браком, не могли не наложить отпечатка на весь склад ее души, утончили ее, сделали еще более женственной. И женственность, присущая ей с самых ранних, детских лет, с возрастом росла в ней и с ней, она становилась всё более и более женственной. Переживания же ее, уже ждущей ребенка, переживания оплодотворенной женщины, сообщают женственности, единственному предмету настоящего сочинения, новые оттенки, ранее ей неведомые. Они еще больше утончают натуру женщины, всю ее физическую, душевную и духовную жизнь, нежели даже и любовь и переживания, с нею связанные. Не удивительно поэтому, что женщина тоньше мужчины — во всех решительно отношениях. Не только в душевном и духовном (нравственном) отношении, но и в физическом отношении мужчина не в пример грубее женщины: ему не приходится переживать и десятой доли того, что приходится переживать женщине — именно как женщине, а переживания, как известно каждому, даже физически

сказываются на человеке, — тем более переживания систематические, связанные с самою природою женщины, с ее женским существом. Нравственная утонченность женщины и предопределила ее особую роль в нравственном образовании человека и человечества: если женщина любит — то до самозабвения (вспомните Елену из «Накануне» И. С. Тургенева); если женщина верует — то до исступления (вспомните Боярыню Морозову В. И. Сурикова) (илл. 57); если женщина нравственна — то до святости (вспомните Марию Магдалину Тициана) (илл. 58). И это при всем том, что по мягкости своей натуры она очень уступчива, податлива и готова простить прегрешения другим людям, снисходя к их слабостям, в особенности же мужчинам, которых она в тайниках своей женской души опекает, как малых детей, своих и чужих. При этом нравственное воздействие на окружающих женщина оказывает не столько словами, не столько наставлениями, сколько делом, силой личного примера, даже вовсе и не стремясь оказать такого рода воздействие. Тем вернее это воздействие, что зачастую совершается бессознательно для нее самой. Ею руководит при этом этический такт: лучшее средство воспитания других — воспитание себя самого. Навязчивость же (стремление навязать другим свой образ мыслей и действий, каков бы ни был этот образ мыслей и действий, пусть это даже будет самый благородный образ и мыслей и действий) — скорее мужская, нежели женская черта. Она противоречила бы утонченности женской натуры, о которой у нас идет речь.

В самом деле, как не быть тонкой женской натуре, если уже самый акт совокупления, столь полный чисто животного наслаждения и столь мало стоющий мужчине, связан для нее с раздумьями, и раздумьями, как и все женские раздумья, серьезнейшими, ибо таит для нее в себе опасности. Это для женщины, пока еще не решившейся иметь ребенка. Ведь каждому известно, что в женщине естественно желание хотя бы немного «пожить», прежде чем возложить на себя хотя и бесконечно желанный, радостный и блистательный, но ведь бесконечно же трудный и тяжелый венец материнства. И если мужчина предается наслаждению целиком и с полною безмятежностью, то для женщины оно чревато опасностью забеременеть, и это при всем совершенстве противозачаточных средств, хотя и очень значительно уменьшивших такую опасность, но не исключивших ее вполне. И жизнь женщины, бывшая и дотоле сплошной цепью переживаний, переживаний, связанных в частности с радостями и печалями любви, вступает в новую стадию переживаний, которые отныне будут сопровождать ее до конца дней, хотя и будут разнообразиться по содержанию, переживаний, так или иначе связанных с материнством: некоторые боятся сделаться матерью, некоторые боятся

ею не сделаться, переживания, сопряженные с беременностью, родами, послеродовым периодом, с воспитанием детей и т. д. и т. п.

Я предчувствую, читатель, что вы и на этот раз не сдержитесь, — я уже давно, с самого начала нашего повествования, заметил в вас это очень критическое отношение к моему сочинению, точнее, скептическое отношение к самой его теме, которое, правда, по мере ее развертывания, как мне кажется, ослабевало; — вы спросите: ну и хорошо, жизнь женщины — сплошная цепь переживаний, ведь к этому сводится все ваше рассуждение, но разве не является таковой и жизнь человека вообще, что же в том примечательного? Вы не правы, читатель и на этот раз: речь идет именно о переживаниях женщины как женщины, а не о ее переживаниях как человека вообще, которые, разумеется, ее тоже не обходят стороной, свойственны ей сполна, а такие, чисто женские ее переживания отнюдь не маловажны для нас, коль скоро мы задались целью разобраться в природе женственности, т. е. женского начала в его нравственном смысле и значении. Я не оговорился: уже само понятие «женственность» содержит в себе нравственный смысл, как и понятие «человечность», ведь женственность и есть человечность в женщине. И если мы говорим о нравственном значении женского начала, то говорить о нравственном значении женственности излишне: женственность и есть нравственное в женщине. Следует только иметь в виду то, о чем уже говорилось выше (в главе «Существо женственности»), что речь у нас идет об истинной женственности, как и об истинной, специфичной, человечности, ибо не секрет, что в понятие «человечность», как и, соответственно, в понятие «женственность» нередко вкладывается содержание, прямо противоречащее его собственному, истинному, нравственному, идеальному смыслу, даже и в литературе по этике, вкладывается решительно всё, что так или иначе связано с человеком, в том числе и родимые пятна, унаследованные им от животного состояния, характеризующие в нем животное начало и составляющие слабости «человеческой природы». Специфические переживания женщины и образуют психологическую основу нравственной значимости женского начала, порождают и формируют такую важную черту женственности, какова доброта, представляющая из себя подоснову тех душевных качеств, воспитание которых в себе составляет душевную атмосферу для образования себя в этических принципах истинной человечности, тех именно душевных качеств, которые названы нами нравственными правилами. Оборотной стороной этой доброты и является нравственная ранимость женщины, ее повышенная нравственная чуткость — сравнительно с мужчиной. Эта особая женская чуткость без всякого сомнения связана с тонкостью всего ее душевного строя, на формировании которого, как

уже говорилось, сказываются ее чисто женские переживания, сопровождающие уже первый акт полового общения. И под знаком такого страха, примешиваемого к наслаждению, проходит для женщины каждый решительно акт соития, вся жизнь женщины до беременности. Мы увидим из дальнейшего, что это тревожное состояние духа не только не покидает женщину в дальнейшем — и до и во время и после родов, — но, напротив, неизменно усиливается, обостряя в ней все чувства. Коротко говоря, женщина никогда не бывает спокойна, и это налагает особенную печать на весь ее нравственный облик, ведь существо самой совести — в нравственном беспокойстве.

Женщина забеременела — и начинаются новые переживания, нарастающие и усиливающиеся к моменту самих родов и завершающиеся родовыми муками — разрешением от бремени. Пусть не скажет читатель, что я смотрю на вещи глазами мужчины, что, мол, на самом деле не так страшен черт, как его малюют, что ни одна женщина не перенесла бы их, если бы родовые муки и в самом деле были такими, как их изображают, что природа на самом деле и здесь помогает женщине. Тем не менее переживания остаются переживаниями и страдания страданиями, и женщина переносит их, ибо иначе быть не может. А то, что природа не такая уже заботливая мать, каковой она кажется, но каковой безусловно будет наша героиня, когда она разрешится от бремени, свидетельствуют уже сами эти родовые муки, которые вошли в поговорку, с которыми отождествляют всякие вообще муки, когда хотят подчеркнуть их невыносимость и которые, кстати говоря, не все женщины и выдерживают. Так что уймите свой критический пыл, читатель, и постарайтесь вместе со мной, хотя бы на протяжении одной только этой главы, и в самом деле превратиться в женщину — мысленно, разумеется. Я уверен, что перед читательницей такие вопросы не возникнут, как перед вами, читатель. А теперь уж давайте выслушать до конца, замечания же позже, и только в письменной виде — обоснованные.

Мое глубокое убеждение, что стойкость характера женщины — такая важная особенность женственности, как таковой, — ее удивительная, нередко поистине стоическая стойкость перед невзгодами жизни, перед грозящею опасностью, перед страданиями и мучениями, выпадающими на долю всего живущего, стало быть, и на ее долю, эта легендарная стойкость складывается именно в период беременности, требующей от нее огромной силы выносливости, осторожности, выдержки. Именно здесь характер женщины получает ту нравственную закалку, которая так необходима будет ей, когда она будет растить, пестовать, воспитывать и выхаживать свое дитя на благо человечества.

Мы видим, таким образом, что природа как будто и в самом деле выполняет роль матери. Так было во время полового общения, так и сейчас. Но если там она подсластила пилюлю, то здесь действовала с заведомою жестокостью, чтобы подготовить женщину-мать к неизбежным новым испытаниям, с материнством связанным. Нечего и говорить о том, что и в том и в другом случае — и в случае «ласковости» и в случае «суровости» — природа лишь метафорически играла роль матери, ибо и там и здесь действовала на самом деле вполне стихийно, слепо, как факт. Природа как самопричина и не может действовать иначе как факт, ибо как существует она не нуждаясь для этого ни в каких других основаниях, кроме голого факта своего существования, так и действует в силу этого факта. Поэтому если она и выполняет материнские обязанности в отношении своих чад, то без всякого намерения (ведь она, как известно, «к добру и злу постыдно равнодушна» — М. Ю. Лермонтов), не проявляя ни малейшей заботы о них «сознательно». Ибо хотя природа и обладает среди бесчисленных своих атрибутов и атрибутом, который модифицируясь в человеческом мозге, дает сознание, сама она сознанием в собственном смысле не обладает (вспомните, «бог не обладает ни умом, ни волей», а ведь бог для Спинозы и есть природа). Заботится о своих детенышах мать животного дитяти, мать человеческого дитяти, но только не мать-природа. И если тем не менее в ее действиях, в действиях природы, и обнаруживается целесообразность, то это целесообразность, присущая живому и стихийно же обусловленная бесчисленными его приспособительными реакциями, накапливавшимися на протяжении веков и тысячелетий. Именно потребность выжить заставляла всё живое, всё, в чем есть хоть искорка жизни, приспосабливаться как можно адекватнее к условиям обитания, что в конце концов и предопределило господствующую в органическом мире и так поражающую наше воображение целесообразность, — начиная с самого́ внутреннего устройства живых организмов и кончая их внешним взаимодействием с окружающей средой. Но легко также видеть, что эти приспособительные реакции живого организма, в подавляющем большинстве стихийные и слепые, имеют и неизбежные границы, перехлестывание через которые чревато настоящей для него катастрофой, гибелью. Так что полагаться на природу как на мать можно, но нужно женщине, ждущей ребенка, и самой напрячь всю свою волю, весь свой разум, все силы своей души, чтобы противостоять всем неисчислимым страданиям женщины-матери. Кто в состоянии отрицать, что матери животного дитяти легче, чем матери человеческого дитяти? И в значительной мере это объясняется именно тем, что мать человеческого дитяти — человек, существо наделенное разумом и волей, существо совестливое (обладающее

совестью — нравственным сознанием и чувством), существо, способное не только к физическим и душевным страданиям, но и к духовным, нравственным страданиям. А кому многое дано, с того многое и взыщется.

Конечно, человек — самое страждущее существо на свете. Ибо к физическим и душевным страданиям, которые он разделяет со своими собратьями — животными, прибавляются еще и духовные страдания, уже отличающие его именно как существо общественное. Эти нравственные страдания приобретают тем более острый характер, что если против первых — физических и душевных страданий — человек может выработать в себе иммунитет совести, образовать себя в духе нравственного презрения к боли и к самой смерти, то иммунитета против духовных страдании нет и быть не может (это подробно доказывается в «Этике»*), — ибо их источник — сама совесть, т. е. единственный источник иммунитета в случае физических и душевных страданий. И если последние составляют слабость человека, то нравственные страдания составляют его настоящую силу, свидетельствуют о высоком уровне человеческого образования и более всего подвигают на великие дела по разумному переустройству жизни. И если, далее, мы говорим, что страдания облагораживают, служат к нравственному росту людей, то мы имеем в виду, прежде всего и главнее всего, духовные страдания. Обращаясь же к нашей женщине, скажем так: человек страдает, женщина же мать страдает вдвойне, и ее страдания, страдания женщины-матери ни в какое сравнение идти не могут — не только со страданиями ее сестры — матери животного дитяти, но и со страданиями мужской половины человеческого рода.

Всё это следует иметь в виду, когда мы говорим о женственности, о роли и значении женского начала в человеческой жизни. Эта тема выделена нами в этике впервые и выделена нами, как мы видели, отнюдь не случайно — не только потому, что женственность — человечность в женщине (ведь и мужественность — человечность в мужчине), но и потому — и это главное, — что роль женщины в нравственной жизни более велика, нежели роль мужчины, — и именно благодаря особенностям женского начала ее существа, — роль эта такова, что она просто не может быть переоценена. Нечего, понятно, доказывать, что основную тяжесть и труда и борьбы, как вследствие своих физиологических особенностей, так и вследствие ряда общественно-исторических условий, выносит на своих более крепких плечах мужчина. И со всем тем в собственно нравственной жизни женщина, несмотря на свое хрупкое сложение, играет

---

* *Мильнер-Иринин Я. А.* Этика, или Принципы истинной человечности. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 516 с. и 2-е издание — М.: Наука, 1999. 520 с.



большую роль, нежели мужчина. И это невзирая на то, что и этические системы (преимущественно религиозно-этические) тоже составлялись представителями мужского рода. (Они при этом обобщали, конечно, опыт всего общества. Религиозно-нравственный же фанатизм женщин общеизвестен.) И иначе быть не могло, если учесть социальные условия, в которых до сих пор, в предыстории человеческого общества, прозябала женщина. Даже грамотность далеко не всегда была ее уделом — сравнительно с мужчиной. Ведь легко понять, что если даже в этих, невероятно тяжелых для нее социальных условиях женщина, как правило, выше мужчины в нравственном отношении, то что же тогда сказать о тех социальных условиях, которые знаменуют собой раскрепощение женщины. Коротко говоря, женщина еще покажет себя во всем блеске и славе своего высоконравственного существа. И в предстоящих решающих битвах труда с капиталом, в борьбе за торжество коммунизма на всей Земле, за торжество нравственного закона — принципов истинной человечности, великое торжество совести, в той борьбе, которая в самом недалеком будущем, еще на наших глазах, охватит все народы и которая будет означать великую духовную революцию в жизни всего человечества, женщине, без всякого сомнения, будет принадлежать далеко не последняя роль, как она принадлежит и поныне героическим женщинам героического вьетнамского народа. Однако же возвратимся к ее, женщины, обычным, но в то же время и героическим будням.

Итак, женщина забеременела, и мы с вами, читатель, вместе с ней. Это новый переломный период в ее жизни, которому предшествовали подготовившие его и тоже переломные периоды: начало полового созревания — девочка-подросток; половая зрелость — девушка; половая близость — женщина. А теперь и беременность — мать. Да, я не оговорился, и в период беременности женщина уже мать. Недаром ее в Доме отдыха для беременных, а также и в Родильном доме зовут не иначе, как Мамочкой, и не только фигурально, не только для того, чтобы подготовить ее к ее высокой материнской миссии, она и в точном смысле слова мать: она растит свое дитя внутри себя еще до того, как она будет растить его с появлением на свет. Памятуя это, положительно ни на секунду не забывая об этом, не позволяя себе забыться, она то и дело прислушивается к тому, что в ней происходит, решительно воздерживается от всего, что может повредить ее малютке и, напротив того, делает все, что только может пойти ему на пользу, начиная от диеты и кончая физическим и душевным режимом — гимнастическими и музыкальными упражнениями. Кому не ясно, что не только физическое состояние женщины должно быть оптимальным в этот ответственнейший момент

ее жизни — пестование ребенка в утробном его положении, но и душевный ее настрой должен быть непременно одухотворенно приподнятым, лучезарно радостным, кристально ясным и предельно спокойным.

А между тем, между нами и по-человечески говоря, какое уж тут спокойствие?! Женщина только кажется спокойной, чтобы не ранить окружающих, и в этом, кстати, сказывается нравственная сила, настоящая женственность ее выдержки. Как она может быть по-настоящему спокойна, если тысяча опасений обуревает и терзает ее бедную душу! Пройдет ли благополучно беременность, несмотря на все предпринимаемые ею предосторожности, ведь кто может предусмотреть все случайности, которые могут оказаться для нее роковыми? Как она перенесет предродовые схватки, справится ли она с ними, — ведь о них так много наговорено и написано страшного, а она всегда едва переносила самую маленькую боль, причиненную порезом пальца, не говоря уже о зубной боли?! Один вид крови — и не только человеческой — повергал ее нередко в обморочное состояние. И знавшие ее всегда поражались ее стойкости во всех прочих отношениях и полной обнаженности нервов, когда речь шла о мучениях или унижении человеческого достоинства в ком бы то ни было, даже именно тогда еще, когда только шла речь (когда говорили о подобном), а не только тогда, когда ей приходилось быть свидетельницей этого. При ней об этом не заговаривали, а если случайно об этом заходила речь, она спешила удалиться, ибо чувствовала, как подступает к ней это противное предобморочное состояние, с которым сладить не всегда удавалось... Перенесет ли она роды, а она слышала (она же ко всему такому теперь испытывает обостренный интерес!), она слышала, что не все, — ой, как далеко не все! — их переносят. Бывает, что женщина умирает от родов. Но хорошо еще, если останется жив ребенок (несчастный сирота уже в момент рождения, как он будет без матери и кто в состоянии его, маленького и слабенького, так любить, как она!), то щемяще милое существо, что она носит в себе, а если и ребенок умрет? Ведь и так тоже бывает. Но даже если всё обойдется — и мать и дитя выживут, то каково будет это дитя? Будет ли оно вполне здоровым, а если — не дай, бог! — оно родится с каким-нибудь физическим изъяном, ведь законы наследственности еще далеко и далеко не изучены. А если бы они даже и были изучены сколько-нибудь удовлетворительным образом, то что из того, что это ей даст, если ее дитя атавистически отягощено физическим недостатком какого-либо ее или мужа прародителя в каком-нибудь десятом колене?! Здесь она вспоминает о муже, отце ребенка, который безумно ее любит — она это очень хорошо знает, — который сейчас места себе не находит, обуреваемый, вероятно, теми же думами, что так неотступно тревожат и ее, мужа,

которого она любит с каждым днем всё больше и глубже (оказывается, это возможно!), и страдания ее увеличиваются вдвойне, если не втройне: и за себя, и за ребенка, и за его отца — ее мужа. А если вдруг родится и вовсе урод, не обыкновенный физический урод, — с этим можно бы и смириться, хотя каждой женщине очень и очень хотелось бы родить ослепительно красивое дитя, чтобы ей тут же позавидовал весь Родильный дом, — нет, если родится ребенок с непоправимым пороком, что тогда?! — Я спрашиваю вас, что тогда?! И женщина невольно покрывается капельками пота от этих непрошеных и неотвязных дум. Такие переживания, неизбежные в ходе беременности, что и говорить, утончают характер женщины, и ранят и закаляют ее нежное сердце в одно и то же время.

Слов нет, повторяю, и мужчине-отцу не чужды такого рода переживания, связанные с беременностью его жены, но это переживания за женщину и ребенка, и по интенсивности, как бы ни любил он свою жену, ни в какое сравнение не могут идти с переживаемым самой женщиною-матерью, ибо ее переживания — это не переживания за кого-нибудь, пусть и бесконечно родного, но переживания за себя, а также и за ребенка, которое есть второе же себя, в ней зреющее, даже и физически пока еще составляющее с ней одно и то же существо. Как важно нравственно это ощущение в себе другого: женщина, даже и далекая от себялюбия, начинает себя любить в этот знаменательный в ее жизни период беременности, так как в своем лице она любит живой пуповиной связанного с ней и питающегося всеми соками ее организма дитятю. А разве не существо нравственного сознания вообще в совпадении личного и общечеловеческого в совести? Правда, в чувстве, испытываемом сейчас нашей героинею, это еще не совпадение личного с общечеловеческим, но как будто бы совпадение личного с личным же, только в другой ипостаси. Однако это все же совпадение себя и не-себя, себя и другого, в котором можно уже усмотреть зачатки такого нравственного совпадения личного и общего, или, лучше оказать, физиологически-душевную предпосылку такого совпадения в женщине, которое и сделает ее столь естественно и непосредственно носительницей совести — принципов истинной человечности, о чем мы подробно будем говорить на своем месте (в главе «Женщина и идеал»), — ибо нравственное самоотречение имеет своей биологической предпосылкой простое самоотречение: если простое самоотречение, поскольку речь идет о человеке, распространяется только на своих близких, кровных и по духу (скажем, друзей), то нравственное самоотречение распространяется уже на неизмеримо более широкий круг — на совершенно незнакомых людей, — именно как людей. Мы видим, что нравственное самоотречение как явление специфически обще-

ственное, несмотря на свою, казалось бы, чисто количественную особенность, качественно отличается от простого самоотречения, но оно было бы беспочвенным без него, не имело бы биологической предпосылки. Но нужно при этом подчеркнуть, что и простое самоотречение, хотя и является биологическим явлением, в условиях человеческого общества качественно отличается от такого же в животном мире, так как оно (человеческое простое самоотречение) распространяется, как указывалось, не только на близких по родству (по крови) и не только, прибавим, на более широкий круг этих близкородственных людей, но и на близких по духу — на друзей. Здесь мы имеем дело с тем же простым самоотречением, но только на новой, человеческой основе, хотя нечто подобное мы нередко наблюдаем у животного, вскормившего своим молоком «чужое» дитя, притом иногда даже из чуждого ему животного вида.

Пока мы рассуждали с Вами таким образом, женщина счастливо разрешилась от бремени, и начался новый переломный период — уже в ее материнстве. Начинается серия новых переживаний — и тоже чисто женских. Едва оправившись от только что перенесенного потрясения, еще очень слабенькая физически, женщина вспоминает о том, что беременность сделала ее малопривлекательной внешне, и если она не думала об этом раньше или очень мало об этом думала, так как думы куда более серьезные владели, как мы видели, ее сознанием, то теперь она не может не думать о своей внешности, ибо изящество — столько же представляется ей неотъемлемой чертой ее внешности как женщины, сколько и представляет насущную потребность ее натуры. Быть красивой женщина считает своим прямым женским долгом. До чего же беременность ее обезобразила, и это столько же относится к ее лицу, сколько и к фигуре. Эта утрата красоты тоже немало причинила ей страданий, — ведь есть женщины, которых это главным образом и отпугивает от родов. Что касается ее, то утрату своей былой красоты она даже считала настоящей жертвой, приносимой ею ради ребенка, она сознательно шла на эту жертву, так как хорошо знала, что далеко не всегда красота эта восстанавливается после родов. Во время же беременности ей даже стыдно было показываться на людях, и не только потому, что она находилась, как говорится, «в интересном положении», но именно из-за утраты ею столь поражавших прежде людей красоты. Тяжелее всего было, понятно, появляться каждодневно на работе в таком виде... И мы ей вполне в этом сочувствуем, и хотим надеяться, что недалек час, когда с ростом благосостояния нашей страны женщине будет дан отпуск по беременности (с полным сохранением заработной платы, разумеется) на весь период последней. Мне кажется даже, что все мужчины с радостью согласились бы за нее это время отработать — пока

еще страна не достигла соответствующего уровня благосостояния. Это было бы только по-товарищески. А ведь товарищество — закон социалистического образа жизни.

Так или иначе, но сейчас наша роженица среди всех прочих забот преисполнена еще заботой о восстановлении своей красоты. Она, конечно, знает, что природа позаботилась о том, чтобы после родов женщина не только вернула свою красоту, но и приумножила ее. Но она так же хорошо понимает, что должна в этом помочь природе всеми мерами, что, как говорится, на природу надейся, но и сам не плошай: она усиленно занимается и гимнастикой и музыкой и всем тем, что способно облагородить человека и физически и духовно. В результате совместной деятельности природы и ее самой она становится еще более красивой, еще более женственной, чем когда еще только вступила в стадию беременности. Это настоящее Возрождение женщины, ибо с рождением ребенка она хорошеет не только физически, но и душевно и духовно, она чувствует себя поистине воскрешенной к новой жизни — с новыми капитальной важности обязанностями, связанными с воспитанием родного дитяти.

Конечно же, воспитание ребенка, воспитание живого человека — это в сущности настоящий творческий акт, акт нравственного творения человека, второго его творения, которое, в отличие от первого, есть акт длительный, продолжающийся без перерыва дни, месяцы и годы, акт, требующий к тому же огромное терпение, выдержку и такт. И если мы с неизменным уважением относимся к творческой деятельности человека на производстве, в науке и технике, в литературе и искусстве, к творческой деятельности в любой сфере материальной и духовной жизни общества, то как же должны мы относиться к того рода творческой деятельности человека и прежде всего женщины-матери, плодом которой является живой человек, руководствующийся в своей жизни велениями совести, нравственным законом, принципами истинной человечности. Воспитание нового человека женщиною-матерью — это непрерывное нравственное горение, которое накладывает на всю ее жизнь отпечаток подвижничества. И эта сторона ее жизни составляет неотъемлемую черту женственности, придает этому явлению духовной жизни общества особое нравственное звучание. Кто может усомниться в том, что человечество было бы иным, было бы неизмеримо ниже в нравственном отношении (хотя в этом отношении оно особенно оставляет желать лучшего!), если бы не повседневное, упорное и настойчивое, систематическое и неотступное, не прерывающееся ни днем, ни ночью нравственное воздействие женщины-матери. Любовь женщины к своему ребенку — настоящий эталон беззаветной и безграничной, в точном

значении этого слова — бессмертной человеческой любви. Не будь этой материнской любви, сколько бы вообще любви оставалось в человечестве? Стоит только так поставить вопрос, чтобы выбить всякую почву из-под ног тех, кто позволил бы себе поставить под сомнение самоё тему: Роль женского начала в нравственной жизни человечества. Но в том-то и дело, что мы до того привыкли к тому, что воспитание — прямой материнский долг женщины (женщины — прежде всего), до того свыклись с этим фактом, всосали его, что называется, с молоком матери, что просто перестали сплошь и рядом замечать его, как и многое другое, столь же привычное, сколь и невыразимо прекрасное — как каждый новый восход или закат Солнца, новое цветение яблони или груши. Воспитание родного дитяти, что есть более высокого на свете. Вы скажете — воспитание «чужого» дитяти. И вы будете правы, но только с единственной поправкой — воспитание «чужого» дитяти, как своего собственного, не иначе. И мы с вами вернулись к тому же: воспитание своего ребенка — высшее назначение матери.

Мы видели, что материнские заботы терзали женщину еще в утробный период жизни ее дитяти. Сейчас с его появлением на свет начались новые заботы, начались тут же, без какого бы то ни было роздыха. Между прочим, эта непрерывность забот, именно непрерывность (без какого бы то ни было «перекура») — тоже удел женщины, а в особенности женщины-матери. Женщина непрерывно заботится о своей красоте; женщина непрерывно находится начеку в период полового общения; женщина непрерывно терзается теми думами, которые составляют неизбежный спутник ее беременности. Женщина, как уже говорилось, непрерывно занята воспитанием своих детей. Поистине, тяжелая должность на Земле — быть женщиной. Следует ли говорить о том, что и эта непрерывность забот не могла не отразиться на характере женщины и не могла не сказаться в том удивительном нравственном явлении, которое послужило темой нашего сочинения, — женственности. Вот и сейчас, не успел еще ребенок появиться на свет, как наша мать уже серьезно озабочена (а материнские заботы, к вашему сведению, только серьезные, несерьезных забот женщина-мать не знает!): она не перестает удостоверяться в том, что у ее дитяти всё в норме: сколько раз она, например, нащупает и пересчитает пальчики на его крохотных ручках и ножках (ведь ей приносят его на очередное кормление запеленутым), чтобы еще и еще убедиться в том, что их ровно столько, сколько следует — не более и не менее того, ни на один пальчик больше или меньше. Женщина не в состоянии в этот период самого раннего младенчества своего чада, пока она еще не вполне освоилась со своей новой ролью матери, смотреть на его сверстников без того, чтобы ревниво

не сравнивать их в своих самых затаённых мыслях (ведь она не может не чувствовать, что это нехорошо!) со своим собственным дитятей, хотя в этом возрасте почти не отличишь их друг от друга, — все они одинаково ни красивы, ни умны, миленькие и пухлые глупышки, — и только. Конечно, бывают и исключения, но они крайне редки и относятся главным образом, если не единственно, к девочкам, — когда уже и в этом возрасте явственно усматривается их будущее несравненное изящество. Как правило же, у нашей матери нет решительно никаких оснований ревновать к другим матерям. И тем не менее она ловит себя на том, что только этим и занята. Эта эгоистическая черта, свойственная женщине на ранней стадии материнства, в которой сказывается еще ревность женской любви, любви, непосредственно предшествовавшей материнству, с годами, по мере того, как женщина входит в свою роль матери по-настоящему, а также по мере роста ребенка и выявления его действительных достоинств, постепенно исчезнет: наша героиня найдет в себе силы и, если хотите, мужества признать, что есть на свете дети и краше и лучше и умнее ее собственного ребенка, хотя от этого она не станет любить его меньше, быть может, даже будет любить его еще крепче, если это только возможно. Впрочем, и в Родильном доме она несомненно вознегодовала бы, если бы ей по ошибке принесли на очередное кормление «не ее» младенца, каким бы недостаточно красивым он ни казался ей сравнительно с другими младенцами.

Могут возразить: так-то так, ведь речь идет всего только о кормлении, а что если бы «красивого» ребенка ей по ошибке оставили навсегда? Как бы она тогда к этому отнеслась? Мне трудно, конечно, ответить за всех матерей (хотя я и постарался воплотить в этой роли себя самого), но мне кажется, что материнский инстинкт запротестовал бы против такой подмены. Материнская любовь и материнская привязанность к собственному, родному, кровному дитяти унаследованы человеком от животного состояния, имеют вполне биологические корни, корни, стало быть, достаточно прочные. Но в отличие от других животных инстинктов, против которых нравственный разум общественно-исторического человека очень нередко восстает, здесь он явным образом молчит, ибо в материнской любви очень органично слились воедино безотчетная привязанность животного и сознательная человеческая любовь. Можно думать, что в этом особенность материнской любви женщины и корень, или источник, той ее беспримерной крепости, о которой говорилось выше и которая и делает ее в этом смысле (в смысле предельной крепости) настоящим эталоном всякой вообще человеческой любви.

По мере роста и углубления материнское чувство освобождается от эгоистического налета животного происхождения, все больше и больше

приобретает черты нравственные, делающие женщину-мать символом всего высокого. И если и остается в нем — в материнском чувстве — нечто от животного, то это именно та безотчетность, которая и делает его сильнейшим из всех человеческих чувств. Нет решительно такой жертвы, которую мать не принесла бы ради спасения своего ребенка. Если бы она располагала не одной жизнью, а несколькими, она, не задумываясь, отдала бы их все за единственную жизнь своего дитяти. И любопытнее всего при этом, повторяю, то, что нравственный разум человека должен был бы возмутиться против такого привилегированного положения, какое занимает дочь или сын в глазах матери сравнительно с неродными ей детьми, ибо он, нравственный разум человека, ставит всех людей, в особенности же всех детей, в безусловно равное положение друг к другу и в безусловно же равное отношение к себе, как к нравственному закону совести, тот самый нравственный разум, который провозгласил в качестве максимы (а все требования морального сознания, как требования идеальные, суть одновременно и максимы, максимальные требования) положение: высшая ценность — человек, безотносительно к родству, — с изумлением останавливается перед материнским чувством, считает само собою разумеющимся, что если ради спасения любого другого ребенка женщина обязывается отдать собственную жизнь, то ради спасения собственного ребенка ей дозволяется отдать обе жизни (если бы у нее имелось их две). И все же: если бы вопрос стоял, кого раньше спасать — своего или «чужого» ребенка, ответ мог бы быть только один: того, кто раньше попадется под руку. При всем уважении к чувству матери нравственный разум человека ригористичен в самом основании, и кто может быть к нему за это в претензии, если он высшее достояние и украшение человеческого существа. Противно человеческой совести, чтобы первый попавшийся мне навстречу ребенок утонул только потому, что я обошел его в стремлении спасти своего собственного ребенка. Ну, а если в это время, пока вы спасаете «чужого» ребенка, ваш собственный ребенок утонет? Значит, такова судьба и здесь уже ничего не поделаешь... Есть понятие святости в человеческом обиходе, и в данном случае человек выступает в роли святого... Следует лишь при этом иметь в виду, что только в том случае человек вправе подвергнуть верной и непосредственной опасности собственную жизнь, если такою ценою он спасает жизнь другого. Но если глубочайшее убеждение подсказывает ему, что жертва напрасна, он не вправе ее принести: нравственное презрение к смерти в этом случае превращается в безнравственное презрение к жизни.

Заботы матери о своем ребенке не покидают ее и в ясельный его возраст, и в годы, когда он посещает вместе со своими сверстниками детский

сад, и в дошкольные и школьные годы, и в годы его романтических увлечений, и в годы его женитьбы, хотя заботы эти разнообразятся все больше и больше. Они распространяются в полной мере и на детей ее ребенка, и на детей их собственных уже детей, если она прабабушка, и кончаются только с ее кончиной. Именно эти бесконечные заботы, радости и горести, с ними связанные, и делают ее жизнь — жизнь матери — предельно насыщенной любовью, любовь делается для нее просто привычкой, становится ее второй натурой, ее «вторым я», до такой степени наполняет до самых краев жизнь женщины-матери, что она — великая эта Любовь — неизбежно уже переливается через эти края ее собственной жизни, изливается на всех, с ней соприкасающихся, изливается в доброту, и, распространяясь все дальше и дальше, заливает собой все человечество. Мало того, эта любовь женщины-матери изливается на всю природу, не только на людей, она распространяется на животных, на растения, оборачивается нежной и стыдливой специфически женской жалостью ко всему живому, ко всему, в чем теплится хотя слабая искра жизни, жалостью, которая собственно и есть прославленная Доброта женщины.

Велико нравственное значение каждого отдельного подвига — подвига в труде, подвига на поле брани за правое дело, подвига мысли и духа. Но что может сравниться с повседневным, систематическим и сплошным подвигом, какой являет собой вся жизнь женщины-матери — от беременности и до самой смерти. И если каждый отдельный совершаемый тем или иным человеком подвиг так неотразим и так облагораживающе действует на людей, то как же должен действовать на них подвиг целой жизни женщины-матери. Жизнь ее — в настоящем значении слова целая цепь подвигов — во имя ребенка, во имя будущего человечества. И если тот или иной отдельный героический акт действует на наше воображение сильнее, нежели подвиг-жизнь матери, расцвечен для нас гораздо более яркими красками, то именно потому, что мы, как уже говорилось, так свыклись с каждодневностью этого материнского подвига, так свыклись с его простой естественностью и совершенной нормальностью, что, испытывая повседневно и повсечасно и незаметно для самих себя его благотворное на нас действие, в том числе, разумеется, и нравственное, мы лишь тогда начинаем замечать его, когда он нас покидает с кончиной самой женщины-матери, как и воздух, которым мы дышим, мы ощущаем по-настоящему лишь когда он улетучивается. Следует ли говорить о том, что живыми свидетелями ее прошедшей жизни-подвига остаемся мы сами, — если нравственное семя, зароненное ею в нашу душу, развившись в ней, даст свои плоды. Нравственное воздействие женщины-матери на жизнь человеческую тем более велико, что ее геро-

изм — не одиночный акт и даже как героизм целой жизни не единичное явление, но героизм в самом точном значении слова массовый (сколько женщин-матерей на свете!), всечеловеческий героизм.

Нравственное значение материнства, материнского чувства, переоценить невозможно. Не следует забывать, что мать во всем ориентируется на своего ребенка: все то, что служит к его здоровью, физическому и нравственному — для нее высший закон. Но ведь ориентация на ребенка (вообще на ребенка, не только своего) — нравственный долг каждого. Что бы человек ни делал, он всегда должен иметь в виду ребенка, т. е. свое будущее, должен делать то, что способствует его нравственному росту и решительно воздерживаться от всего, что может подать ему плохой пример. Такая ориентация на будущее прямо проистекает из этического экстаза, предписываемого совестью и состоящего в том, что человек призван всеми силами низвести совесть будущего в себя, чтобы сохранить в себе собственную совесть и чтобы разобраться в ее идеальных требованиях.

Я, человек, всем своим существом, насколько это мне удается, должен порываться из настоящего, ограниченного уровня нравственного самосознания к более совершенному нравственному сознанию будущего, как оно представляется моему умственному взору уже в настоящем. И в той мере, в какой я сумею подчинить все свои помыслы и все свои поступки этому своеобразному этическому экстазу, сумею совершить этот умственный выход за пределы настоящего, мое собственное нравственное сознание будет становиться все более совершенным, равно как и более совершенным будет становиться тот новый мир, который я призван творить как человек.

И еще:

Касательно будущего существуют два взгляда, которые, при всей своей противоположности, одинаково фаталистичны. Согласно первому взгляду, будущее есть результат целеполагающей деятельности божественного творца, цели которого нам, однако, неизвестны, ибо сие не дано знать. Согласно второму взгляду, будущее есть результат слепой игры случайных сил природы (общества в том числе). И тот и другой взгляд одинаково исключают наше собственное сознательное участие в создании этого будущего. Истина состоит в том, что это будущее мы творим сами, руководствуясь идеалом добра и в соответствии с законами природы и общественно-исторического развития.

Но если в создании этого будущего мы своим творчески-преобразовательным трудом принимаем самое непосредственное участие, то мы в состоянии составить себе о нем более или менее определенное, хотя в то же время, если это отдаленное будущее, и более или менее фантастиче-

ское (научно-фантастическое) представление. На этом и основана сама возможность этического экстаза, предписываемого принципом совести в качестве одного из условий сохранения, развития и укрепления в себе самой совести.

Будущая совесть человечества подготовляется нами же — в воспитании подрастающих поколений, и в этом поистине великом деле женщине-матери принадлежит (и по праву принадлежит) решающая роль.

Женщина — наша героиня — счастливо вырастила своего сына. Он здоров, умен, образован, мужествен, девушки заглядываются на него. Но вот война обрушилась на нашу Родину, родину всемирного коммунизма, и принесла с собой новые жгучие заботы. Конечно, война бедствие для всех, но каким катастрофическим бедствием она должна обернуться для женщины-матери, призванной отдать, как говорится, на заклание с такими мучениями выпестованного и взращенного ею сына. Конечно, надо надеяться (без надежды жить нельзя!), — ведь не все же погибают на войне и не всех же она калечит; как раз напротив, гораздо больше воинов выживают (так ей иногда кажется) и возвращаются к своим домашним очагам — к своим матерям. Но ведь ее сына вполне может и не оказаться среди них... А если он вернется невредимым, как она, мать, будет тогда смотреть в глаза соседке, тоже матери, потерявшей своего сына?! Может, ему лучше вернуться с ранением? И она — женщина-мать — будет испытывать жгучий стыд перед той женщиной-матерью, который с неизбежностью примешается к ее же бесконечному блаженству от одного только сознания, что сын жив. С этим ликующим сознанием она каждый день будет ложиться, с ним же будет просыпаться ночью, и не раз, и с ним же будет вставать от сна. Вы спросите, причем же тут стыд, да еще жгучий? Разве наша героиня виновата в беде своей соседки, ведь такая же беда ожидала и ее самоё? А оттого стыд, дорогой мой читатель, что она женщина, и стыдливость ей присуща по природе. Эта стыдливость, как уже говорилось (в главе «Стыдливость») трансформируется в женщине-матери в чисто нравственную стыдливость, в данном случае, — за эгоистический оттенок того счастья, которое она испытывает с возвращением своего сына, тогда как ее соседка глубоко и непоправимо несчастна. Представьте себе на одну только секунду: в одной квартире ликование, пьют за здоровье, в другой же, соседской, — мрак кромешный и, очень может быть, тоже пьют — за упокой!.. И как же не испытывать стыда счастливым, когда столько несчастных на свете. А если один только несчастненький? Ежели же это стыд, то какой же он другой, как не жгучий? Может быть это ласкающий и нежащий сердце стыд?

Наша героиня, может быть и чисто интуитивно, руководствуется и в этом случае нравственным сознанием:

Счастье человека в точном и высоком значении этого слова есть одновременно и счастье каждого отдельного человека и счастье всего человечества в целом, ведь оно не в чем ином не состоит, как в свободной творчески-созидательной деятельности, направленной на осуществление добра. В такой нравственной деятельности одинаково состоит счастье человека и счастье всего человечества, поскольку счастье вообще, как таковое, понимается как полная реализация свободно-необходимой человеческой сущности.

Человек не может быть счастлив в одиночку. Не говоря уже о том, что он необходимо должен делиться своим счастьем, несчастье другого неизбежно будет омрачать его собственное счастье, в чем бы последнее ни полагали. Ему совестно будет этого своего счастья, до того чувство благодарности к себе подобному, чувство живой и неразрывной связи с себе подобными, имманентно заложено в само́й сокровеннейшей общественной (нравственной) сущности человека. Тем более невозможно одиночное счастье (в противоположность одиночному заключению), если счастье полагается в истинном его значении — как деятельность, направленная на разрешение противоречия между бытием и долженствованием; ведь несчастье другого само составляет такое противоречие, разрешение которого — необходимая предпосылка истинного счастья самого «счастливого» человека.

Только человек, не образующий себя нравственно, может позволить себе чрезмерную радость по личному поводу, радость до самозабвения, до потери совести и чести, до потери чувства стыда — стыда от того, что в тот самый момент, когда он предается этой чрезмерной радости, где-нибудь в неимоверных муках погибает ребенок. А наша героиня отличается высокой нравственной чуткостью (интуицией), подсказывающей ей правильное поведение даже в том случае, когда она формально еще не изучала этики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она испытывает настоящий стыд, и жгучий стыд, перед своей несчастной соседкой. Она испытывает, кроме того, и стыд за людей, и стыд и гнев за взрослых людей и прежде всего за мужчин — тоже ее детей, тоже детей женщины-матери, — за то, что, считая себя мудрыми вершителями жизни, они позволяют себе покушаться на жизни рожденных с их участием детей. Ибо она уже давно свыклась с мыслью, что дети не ими, отцами, рождены, но рождены именно ею, женщиной-матерью. В ее голове не укладывается, как могут мужчины, если они и в самом деле родители, а не причастные к деторождению позволить себе такое средство разрешения межгосударственных споров, как кровопролитные захватнические войны.

Горькое обличение войны женщиною-матерью — сюжет трагедии Еврипида «Троянские женщины» («Троянки»). Это, пожалуй, самая мрачная не только из дошедших до нас трагедий Еврипида, но и во всей вообще античной трагедии. Это трагедия сплошных страданий, ибо ужас постигшего женщин бедствия вследствие расправы, учиненной над ними завоевателями, не поддается описанию и может быть по-настоящему оценен только нами, пережившими такую истребительную войну, какую еще не знала история человечества и в сравнении с которой троянская трагедия выглядит каплей в море. Один только наш советский народ потерял в этой войне более двадцать двух миллионов сынов и дочерей убитыми. И очень мудро поступил греческий кинорежиссер Микаэль Какоянис, экранизировавший трагедию Еврипида: только, пожалуй, искусству кино доступно художественное воплощение подобных безысходных страданий, охватывающих к тому же массы людей — мужчин и женщин, и в особенности, конечно, женщин, и в особенности же, конечно, женщин-матерей. Недаром именно в уста Гекубы, матери сраженного дотоле непобедимого Гектора, Еврипид влагает знаменитый ответ Солона Крезу, приводимый Геродотом в его «Истории», что вплоть до его смерти никого из людей нельзя признать счастливым, и недаром же в уста вдовы героя, невестки Гекубы Андромахи он влагает за душу хватающее прощание с обреченным на смерть своим и Гектора маленьким сыном, прощание, представляющее собою, по свидетельству историка греческой литературы, «одно из самых трогательных мест в древней трагедии». Уязвленное материнское чувство и поруганная материнская любовь — главный «глагол» этой трагедии, если назначение поэта и в том, чтобы «глаголом жечь сердце людей». Образ Гекубы — матери Гектора и бабушки его сына — центральный образ всей трагедии. «И своею любовью к дочерям и невестке, и своею ненавистью к Елене объединяет всех участниц трагедии престарелая Гекуба (в тексте — Гекаба. — *Я. М.-И.*). Ее прощание с детьми, с родной землей и охваченной пламенем пожара Троей глубоко захватывающим и идущим от сердца воплем замыкает эту трагедию сплошных страданий» (История греческой литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. Т. I. С. 387).

Привожу выдержки из заметки «Классика, ожившая на экране» о фильме «Троянские женщины» (За рубежом. 1972. 1–6 янв. № I).

«Этот фильм начинается с клубов грязно-голубого дыма, сквозь который зритель видит пламя пожарищ, падающие массивные мраморные колонны, лица матерей, у которых отнимают детей. Слов нет; только вот эти тягостные сцены ужасов войны, яркое живописание агонии осажденного города. Застывшие черно-белые кадры расставлены, как восклицательные знаки.

Затем камера останавливается на траурно-черной фигуре. Это Гекуба...

Катарина Хелберн играет роль Гекубы, оплакивающей своих убитых сыновей и захваченных в плен дочерей... Она четко ведет монолог Гекубы, а ее черные одежды, так и кажется, вопиют о прахе мертвых... Хелберн потрясает, когда... говорит о "страшной музыке войны" или мягко отбирает факел у своей безумной дочери Кассандры...

Папас играет роль большеглазой, чувственной, язвительной Елены, которая толкает женщин Трои на убийственное падение...

В газетном интервью Ирена Папас сказала как-то, что "каждый может играть греческие трагедии, если захочет, но должен это делать и лицом и душой". Ее лицо, так же как лицо Рейдгрев (в трагической роли вдовы Гектора Андромахи. — *Я. М.-И.*) и даваемые крупным планом вечно печальные лица хора троянок отражает существо фильма.

"Троянские женщины" Еврипида — глубоко театральная трагедия, — заключает автор свою заметку. — Тем более удивительно, что Какоянису удалось с потрясающей достоверностью дать ей новую жизнь на экране...»

Женщина — по природе мирное существо, как и существо изящное, нежное, стыдливое, любящее, и это ее качество глубоко мирного существа, так гармонирующее со всеми перечисленными, и вместе с ними, в единстве с ними, так характерное для того, что мы называем женственностью, прямо, органически и непосредственно связано с ее неискоренимым материнским чувством. Неискоренимая доброта женщины-матери вдохновила Ван Гога на создание одного из его шедевров «Колыбельная» (илл. 59). Это полотно тем более ценно для целей нашей книги, что оно не является только художественным вымыслом-обобщением, но представляет портрет реальной женщины и имеет подзаголовок, взятый в скобки, «Госпожа Рулен». Вы не видите на нем ни ребенка, ни даже колыбели (только плетеную ручку от нее). Но зато сколько любви к ребенку и выстраданной доброты к людям в усталом и задумчивом взоре женщины.

Очень трогательную картину о материнской любви написал А. А. Дейнека. Вы взгляда женщины не видите, так как он весь в ребенке, спящем на ее руках. Ребенок болен, так как лицо женщины выражает крайнюю озабоченность (илл. 60).

А теперь представьте себе, что переживает женщина-мать, когда она должна проводить на фронт еще и свою дочь добровольца. Теперь уж у нее и в самом деле никого не останется (дочь ушла в партизаны несколько месяцев спустя, как был взят в армию ее сын; еще раньше ушел в ополчение ее муж, отец ее двух детей). Как же она должна переживать

уход своей дочери, которую ведь ничто не понуждает идти на фронт и жертвовать своею жизнью ради Родины, кроме ее собственной совести. Дочь непреклонна, несмотря на все увещевания и горючие слезы матери. Она — мать наша — хорошо понимает, что оказывая столь сильное давление на дочь, она поступается собственной совестью, тем более, что сама ведь в свое время участвовала в гражданской войне в ответ на знаменитый ленинский клич — призыв: «Социалистическое отечество в опасности». Теперь же, когда ему грозит такая же смертельная опасность, она не позволяет дочери выполнить свой долг, ссылается на молодость дочери, тогда как ей самой в памятный 1920 год едва исполнилось 16 лет. Конечно, в конце концов, не сумев сломить твердой непреклонности дочери, она крепко-крепко, быть может в последний раз, прижмет ее к своей изболевшейся груди и благословит на подвиг, но сейчас, в эту минуту, решительно не может совладать с собой и, испытывая стыд, чуть ли не на коленях умоляет дочь отвратить от нее, матери, нависшее над ней несчастье, отказаться от принятого решения, — до того не в состоянии противиться зову живущего в ней материнского инстинкта! Ее состояние можно сравнить разве с тем, как если бы из ее груди вырывали сердце. Нет, — это неизмеримо страшнее! — как если бы на ее глазах то же делали с ее дочерью...

Во всечеловечески прославленной «Сикстинской мадонне» Рафаэля как нельзя ярче воплощен страждущий образ материнства (илл. 61). Смысл этого образа раскрыт уже давно: жертвенно отдавая одной рукой свое дитя на высоконравственный подвиг, она другой крепко прижимает его к себе, не в силах с ним расстаться и обречь на смертные муки, с таким подвигом неизбежно связанные. Сколько материнской тревоги в этом всецело ушедшем в себя взоре!..

Это впечатление обреченности матери, ее обреченности на вековечные страдания, еще больше усиливается в нас, когда мы сопоставляем с ним впечатление от не менее знаменитой «Мадонны Бенуя» Леонардо да Винчи, в которой, напротив, воплощен образ счастливого материнства (илл. 62): на полотне изображено очень юное и очень милое женское существо, почти девочка, всё светящееся мягкой, удивительно непосредственной и безмятежной радостью, спокойной веселостью, контрастирующей с серьезным по-младенчески лицом сына; она вся ушла в игру со своим ребенком, никого и ничто не замечает, а мы, воспользовавшись этим, любуемся на нее, на весь ее изящный облик, тоже контрастирующий с некоторой, я бы сказал, чрезмерной, пухлостью тельца ее чада. Беспредельная и светлая радость материнства и воплощенная в ней беспредельная же и светлая любовь к жизни очень ярко показаны

в художественной фотографии работы Кента Бертона «Жена с ребенком», напечатанной в специальном номере журнала «Америка» — «Фотоискусство крупным планом» (1971. Нояб. № 181). Художественная фотография, в отличие от других произведений искусства, имеет за собой, как это ясно каждому, неоспоримую силу документа (илл. 63).

Таковы материнские тревоги и материнские радости. И те и другие поистине безмерны.

А что должна была пережить моя сестра, та самая, что впервые сказала мне об ответном характере женской любви, — когда прежде чем убить ее саму, фашистские изверги обесчестили и убили на ее глазах ее двух дочерей — Мэри и Изольду — в самом расцвете их девичьей красы. Вы думаете, что она не приняла свою собственную смерть как настоящее спасительное избавление от еще более страшной и кровоточащей материнской муки?! Я очень хорошо помню, ибо был потрясен виденным, с каким чисто животным отчаянием и ожесточением она глухою полночью билась головой о стенку, когда воспаление в легких чуть было не унесло старшую из близнецов — Мэри — в могилу. Она вся в слезах и не своим голосом кричала: Бог, если ты существуешь на свете, спаси мою девочку, и я тебя больше никогда и ни о чем просить не буду!..

А ведь вы говорите, дорогой мой читатель, что не существует вовсе такой категории, как женственность, что есть просто человечность, и она одинакова как в мужчинах, так и в женщинах. Да, так оно, конечно, и есть: человечность есть человечность, но будучи равной самой себе, она отнюдь не равномерно распределена в мужчинах и женщинах. По моему глубокому убеждению, ее, как правило, неизмеримо больше в женщине, чем в мужчине, — именно вследствие бессмертного материнского чувства, передающегося от женщины к женщине с момента происхождения человека на Земле. Я не говорю уже о том, что самый идеал человечности не может не преломляться в женщине через призму ее особенном натуры, через призму особенностей этой натуры, особенностей вполне биологического происхождения и свойства, через призму ее естества, в свою очередь, разумеется, преломленного через призму ее же общественной и творчески-преобразовательной, нравственно-революционной природы как человека, этот идеал, повторяю, не может не воплотиться в том, что имеет название женственности.

Доброта

Женщина воспринимает принципы истинной человечности как свое кровное дело, ибо она растит в себе человека — как мать. Присущая ей от природы доброта абсолютно, понятно, не вяжется ни с какой жестокостью, ни с какой бесчеловечностью. Под добротой мы и будем понимать ту подпочву, на которой легче всего культивируются душевные качества, которые мы называем нравственными правилами и которые в своей совокупности образуют естественную психологическую почву для образования себя каждым отдельным человеком в духе этических принципов истинной человечности, верховных велений совести, нравственного закона. Говорят о женской сентиментальности, но эта сентиментальность есть на самом деле ее — женщины — извечная доброта — залог всего лучшего, что есть в натуре женщины, доброта, в которую изливается переливающая через край узкого семейного круга любовь женщины-матери, ее интимнейшее материнское чувство. В доброте материнское чувство распространяется, как уже говорилось, не только на ближайшее окружение женщины, и не только на трудовой класс, к которому она сама принадлежит, но и на все человечество, именно на трудовое человечество, как это ясно само собой, ибо невозможно быть одинаково добрым к угнетенному и к тому, кто его угнетает, как нельзя сочувствовать одновременно и порабощенному и поработителю, и жертве и палачу. Как раз напротив, испытывая добрые чувства к униженным и оскорбленным, мы одновременно испытываем гнев к унизителям и оскорбителям. Так было, так есть и так будет, пока существует на Земле строй эксплуатации человека человеком.

Женщина в большей мере, чем мужчина сохраняет в своем душевном облике непосредственность детства. Детская непосредственность души сопровождает женщину на протяжении всей жизни и недаром мы сплошь и рядом обращаемся с ней, как с ребенком. Однако своего высшего выражения детская непосредственность женщины достигает как

и доброта, с которою она органически слита, в женщине-матери. И эта детская непосредственность души, являющаяся не чем иным, как оборотной стороной той же доброты, и определяет такую доминирующую черту характера женщины, какова правдивость — душевное условие для образования себя в духовном (нравственном) принципе совести.

Существует превратное представление о женщине как существе лживом, — вероятно потому, что она нередко обманывает надежды мужчин. Не вдаваясь в более подробную сравнительную оценку в этом смысле — в смысле лживости — характера мужчины и женщины, скажем лишь, что в пользу женщины говорит уже один этот факт детской непосредственности, ей присущей. А дети, как известно, не лгут (если они не фантазируют), — с единственным, впрочем, уточнением: если их к этому не принуждают насилием или угрозой насилия. Социальные условия, культивирующие насилие и ставящие женщин и детей в зависимое положение от произвола мужчины — мужа или отца, — обусловливают сплошь и рядом их лживое поведение. Вот почему, кстати, и содержание детей до окончания ими курса общего образования («среднего образования», по принятой терминологии) в обществе, основавшем свое благосостояние на общественной собственности на средства производства, должно взять на себя государство трудящихся. Но это только одна сторона дела. Другая же сторона состоит в том, что дети до того, как они вступают на трудовой путь, когда действует социалистический критерий труда и распределения «От каждого по способностям, каждому по труду», — должны быть поставлены в равные, возможно лучшие, условия жизни, воспитания и образования.

Только ценою насильственного вторжения в ее жизнь, возвращаемся к нашей теме, можно заставить женщину изменить правдивости и искренности, столь свойственных ей от природы — именно как женщине, существу доброму. Правдивость с самого начала устанавливает между людьми прямые, т. е. кратчайшие, отношения. Прямая линия, как известно, — кратчайшая линия между двумя точками; всякая кривая неизбежно длиннее такой прямой. И правдивость во взаимоотношениях между людьми так же точно иллюстрируется этой кратчайшей прямой, как и лживость в этих взаимоотношениях — велеречивой кривой линией. Правдивость, если продолжить эту параллель, также характеризуется ясностью и однозначностью, как и прямая линия, которая есть и бывает (в возможности) только одна; тогда как лживость так же темна и многозначна (в возможности), как и кривая линия. Вот почему правдивость — столь важное душевное условие для образования себя в духе принципа совести, повелевающего оберегать в себе совесть.

Женщина, как правило, более совестливое существо, чем мужчина. Это не следует понимать так, что в женщине больше совести, чем в мужчине. Не говоря уже о том, что к категории совести, как к категории идеальной, не приложимы вовсе понятия больше и меньше, — все принципы истинной человечности именно как идеальные принципы составляют нравственные максимы: никто не может сказать о себе, что он обладает совестью, а другой нет. Он мог бы скорее сказать то же самое о другом сравнительно с собой, если бы в таком понимании совесть не ускользала бы вовсе от наших грубых прикосновений. Перефразируя слова поэта, можно сказать, что совесть в будущем живет... Человек стремится низвести совесть будущего, идеальное представление о коей он создает в своей душе уже сейчас (ибо без этого его жизнь — бессмысленна), в себя, ни на минуту не успокаивая себя, что он уже этого достиг: как раз напротив, он в этом смысле постоянно и всегда чувствует себя полностью неудовлетворенным и поступает не как тот, кто уже совестен, но как тот, кто стремится быть таковым. Поступая нравственно, человек вместе с тем далек от самомнения.

Следовательно, надо различать совестность и совестливость: не будучи совестен (ибо это возможно только в идеале), можно и до́лжно быть совестливым (стремиться к этому идеалу). Нет совестных людей, как нет и людей бессовестных. Таковыми бывают лишь поступки (совестные или бессовестные — нравственные или безнравственные). Но зато все люди совестливы — в меру своего воспитания (и самовоспитания), образования (и самообразования) — развития. Пусть не говорят, что есть люди, вовсе и не обнаруживающие стремления быть совестными. Если они такого стремления не обнаруживают, то это еще далеко не значит, что оно в них отсутствует. Все люди по природе стремятся к идеалу, ибо человек — общественное, трудовое, творчески-преобразованное существо, стало быть, существо нравственное, — даже если он по обстоятельствам жизни принадлежит к классу эксплуататоров: эта его классовая принадлежность вполне случайна относительно его же природы человека. Каждый легко поймет, что эксплуататоры приходят и уходят, а человек остается. И если человек нередко, повинуясь велению совести, сбрасывает с себя иго собственной эксплуататорской природы, то сбросить с себя человеческую сущность он может лишь вместе с собственной кончиной. Не стремится поступать по совести, иными словами, не является совестливым разве только человек, страдающий психофизической аномалией. И когда я говорю, что женщина, как правило, совестливее мужчины, я хочу лишь подчеркнуть, что в ней потребность в совести — сберечь в себе совесть, поступать по совести подготовлена

ее правдивостью, искренностью, которая в ней непосредственно связана с ее исконной добротой, в основе которой ее материнское чувство. Чувство это присуще женщине, хотя, разумеется, в разной степени и форме, с тех самых пор, как она начинает сознавать себя — с самого раннего детства: разве трогательная забота девочки о своей кукле, при всем том, что она же по своему детскому неразумию нередко и плохо обращается с ней, — не ярче чем что-либо другое свидетельствует о живущем уже в ней материнском инстинкте?

С нравственным правилом правдивости так же тесно связано нравственное правило серьезности, как и с принципом совести принцип самосовершенствования — интеллектуального, эстетического и морального. Невозможно сберечь в себе совесть, не развивая ее на практике в процессе неустанного самосовершенствования. Выше уже говорилось о том, что женщина, как правило, серьезнее относится к жизни, нежели мужчина. И это понятно: серьезность — родная сестра правдивости. Эту серьезность мы наблюдаем в женщине буквально с младенческих лет. Так же как на расстоянии мы безошибочно узнаем мальчика или девочку, узнаем их по одной только походке или осанке, так же вблизи они различаются уже одною только серьезностью выражения лица и серьезностью же манер. А в школе разве девочки не отличаются прилежанием несравнимо бóльшим, нежели мальчики. Достаточно посмотреть, как дурачатся мальчишки в метро и как чинно ведут себя девочки, когда и те и другие в сопровождении педагога отправляются на очередную экскурсию, чтобы в этом воочию убедиться. Нельзя отрицать, что и правдивость и серьезность теснейшим образом связаны у девочек (как и у женщин вообще) с их исконной женской стыдливостью: им просто стыдно лгать и им просто стыдно легкомысленно себя вести. Девушку мы вообще не мыслим себе иною, как серьезною. А вот о женщине нередко говорят как о существе легкомысленном. Но это так же неосновательно, как когда говорят о ней, что она лживое существо. За легкомыслие в этом случае принимают по преимуществу легковерность, а это далеко не одно и то же. Легковерия и в самом деле встречаем у женщин больше, чем у мужчин, но именно потому, что оно почти нераздельно с правдивостью: будучи правдива сама, женщина естественно склонна усматривать эту черту (правдивость) и в других, пока не разуверится в этом на деле. Но как ранит ее при этом разочарование! Как существо нежное, женщина очень и очень ранима, и потому предельно бережное к ней отношение — первый показатель настоящего мужского такта.

Как нравственное правило, серьезность составляет необходимую душевную атмосферу для образования себя в духе этического принципа

самосовершенствования. И женщине, уже от природы склонной к подобной серьезности, быть может легче, чем мужчине, встать на тернистый путь неуклонного совершенствования себя как человека. Как бы мало ни была развита та или иная женщина, но и у нее хватит ума, чтобы понять, что ее телесная красота, заботу о которой она считает чуть ли не первейшею своею заповедью, ибо красота и женственность для нее синонимы, должна вмещать в себе и высоконравственный дух, или же она, красота фигуры, останется втуне, если и не превратится в настоящее уродство, контрастируя с нравственным убожеством, с нищенством духа. Красивая внешне женщина, но бессодержательная внутренне, не выглядит привлекательной — в отличие от красивой куклы. И очень редко сознательно пренебрегает женщина от нее самой как от человека зависящим образованием себя в интеллектуальном, эстетическом и моральном отношении. Ни одна женщина, какой бы красавицей она ни слыла (а ведь о красоте, естественно, судят прежде всего по внешности), и тем более, если она слывет красавицей, не захочет слыть глупой (невежественной), лишенной эстетического вкуса или исполненной зла. Это, кстати, лишний довод против распространенного представления о «демонической» красоте: так же как красота гармонирует с благом, она дисгармонирует со злом. Если бы это не от нее самой зависело, женщина, быть может, и устрашилась трудностей, с таким самообразованием связанных, но ведь способность к безграничному самосовершенствованию — отличительнейшая способность человека, и пренебречь этой способностью женщина как существо изящное по натуре еще менее в состоянии, чем мужчина. Каждая женщина не иначе как болезненно, — в той или иной степени, разумеется, — ощущает кричащий и противоестественный по природе разрыв между красотой тела и уродством духа, — вернее, уродством души (душевным уродством), ибо духовное, нравственное, и уродливое — вещи несовместимые. Вот почему она так настойчива в своем умственном, художественном и моральном развитии. И чем женственнее она, тем настоятельнее в ней потребность «в просвещении быть с веком наравне». Ибо такое стремление быть с веком наравне во всех областях культуры — и в науке, и в литературе, и в искусстве, в высшей степени свойственное каждому мало-мальски думающему человеку, у мыслящей женщины (а уже одна красота ее обязывает ее к этому!) делается, я бы даже сказал, жгучей, жизненной, насущной потребностью. Во всяком случае в общекультурном отношений вы чаще встретите образованную женщину, чем образованного мужчину. Не следует только отождествлять образованность с ученостью. Перефразируя слова поэта можно бы сказать: Ученым можешь ты не быть, но обра-

зован быть обязан. Приходится же с сожалением констатировать, что как не всегда образованный человек учен (в той или иной специальной области), так и ученый далеко не всегда образован: досконально, быть может, разбираясь в своей специальности, он нередко обнаруживает редкое невежество в более или менее далеких от последней областях знаний. Эта опасность разрыва между ученостью и образованностью особенно велика в наше вреда, время крутой научно-технической революции, бесконечного умножения, углубления и специализации знаний, и поэтому о ней следует сказать во весь голос.

Конечно, каждое новое движение вперед научного знания в многоразличных областях открывает всё новые связи между самыми разнородными явлениями, открывает, следовательно, новые связи и между самыми различными отраслями знаний, оно одновременно, как это ясно само собой, делает все более затруднительной насущную задачу овладения, даже в самом общем виде, всею совокупностью знаний. И в этой обстановке требуется прочная философская основа для само́й возможности создания каждым для себя научной картины мира. И следует с великим чувством благодарности к создателям этой философской основы сказать, что она существует, развивается и углубляется непрерывно: это философская основа марксизма-ленинизма — диалектический и исторический материализм. Не будь ее — этой последовательно научной и революционно-критической философской основы, как не захлестнуться в том обилии знаний, которое принес с собою век теории относительности и кибернетики, атомной энергии и электроники, космонавтики и биохимии. Я не говорю уже о том, что образованность в широком смысле, или, что то же, в собственном смысле, предполагает, кроме умственного, еще и художественного, а также — и это, конечно, главное — морального развития. Отличительная особенность образованности — разносторонность и многосторонность, даже если речь идет об одном лишь узкоумственном развитии. Образованный человек и в этом узком значении слова — тот, кто в курсе основ наук своего времени, к какой бы области знаний эти науки ни относились, к естествознанию или обществознанию. Образованность, как это ясно каждому, не есть нечто статическое, неизменное, и когда говорят, что человек образован, то этим вовсе не хотят сказать, что он уже завершил свое образование и, стало быть, остановился в своем росте, что ему больше ничего не осталось делать в этом отношении. Как раз напротив, нет ничего, что было бы более чуждо истинной образованности, нежели самовлюбленная самоуспокоенность и связанный с ней умственный застой. Образованность в настоящем значении этого понятия — «открытость» души

человеческой для всего нового, прогрессивного и революционного в духовном развитии человека.

Художественный вкус женщины не в пример тоньше и вернее художественного вкуса мужчины. Недаром в делах, требующих эстетической оценки, обращаются к женщине как к авторитету, что лишний раз говорит в пользу нашего утверждения, что изящество и красота — преимущественная прерогатива женщины. А что касается добрых дел, в которых только и претворяется на практике способность к самосовершенствованию, то нравственная готовность к их совершению тоже в большей мере отличает женщину, чем мужчину, именно вследствие доброты как неотъемлемой черты женственности.

Не удивительно, что воспитание себя в нравственном правиле самоотречения (самоотвержения), столь необходимом душевном качестве для творчества добра, женщина преуспевает больше, чем мужчина. Ибо и эта сторона ее душевного склада прямым образом связана с ее исконной добротой, как и правдивость и серьезность. В свою очередь и эти душевные качества (и правдивость и серьезность) в немалой мере стимулируют в ней ее самоотверженность — ее склонность к самоотречению и самопожертвованию.

Самоотречение, самоотвержение, самопожертвование — какие прекрасные слова, — ведь они повествуют именно о человеческом — истинно человеческом — в человеке, связаны с высоконравственным и героическим в нем. Было время, когда я усиливался разграничить эти понятия — самоотречение, самоотвержение, самопожертвование, — установить в них оттенки различия, но мне это не удавалось. Я подходил к вопросу и с количественной стороны, пытался усмотреть в них градации, различные степени одного и того же качества. Подходил к ним и с точки зрения приложимости к тем или иным объектам, пытался уловить в них оттенки (которые бы их различали), — но мне и это не удавалось. И я пришел к выводу, что если между самоотверженностью и самоотвержением еще можно установить разницу — самоотверженность рассматривать как черту характера, а самоотвержение как акт, то между самоотвержением, самоотречением и самопожертвованием, по-видимому, разницы нет. Быть может, впрочем, что эта разница лежит в степени сознательности, с какою человек рискует жизнью ради другого — ради правого дела. Самопожертвование во имя высокой цели представляет в этом смысле самую высокую степень сознательности, а самоотречение, наименее высокую. Во всяком случае, если можно говорить о самоотречении (простом самоотречении, не нравственном) у животных, то говорить применительно к ним о самопожертвовании — едва ли. И самоотвержение находится где-

то посредине между самоотречением и самопожертвованием. Как бы там ни было, но мы будем пользоваться этими терминами (самоотречение — самоотвержение — самопожертвование, — мне всегда приятно их повторять, и я пользуюсь малейший поводом, чтобы делать это) как синонимами готовности к свершению героического подвига, чего бы это ни стоило, даже ценою собственной жизни: именно собственной жизни, разумеется, а не чужой, ибо никому не дано нравственное право распоряжаться жизнью другого даже ради самой высокой нравственной цели, если даже собственною жизнью человек не вправе располагать в любых обстоятельствах, но лишь в тех, где жертва не напрасна, как о том говорилось выше: человек должен, повторяем, всегда остерегаться того, чтобы нравственное презрение к смерти не обратилось для него, притом незаметным для него образом, в безнравственное в корне презрение к жизни.

В предыдущей главе мы уже говорили о простом, чисто биологическом самоотречении, столь свойственном женщине как матери и так роднящем ее в этом с матерью же животного дитяти. Прибавим только, что если у матери животного это самоотречение имеет, по-видимому, место лишь до тех пор, пока дитя не сделается взрослым, то у матери человека это чувство продолжается, а в некоторых случаях и усиливается и с достижением ее ребенком совершеннолетия. Говорили мы также и о том, что такое простое самоотречение является настоящей биологической и зоопсихологической основой для общественного, собственно человеческого, нравственного самоотречения. Что значит сказать, что простое самоотречение служит основой для нравственного самоотречения? Это значит сказать, что в человеке простое самоотречение животного претворено в трансформированном применительно к его общественной и нравственной природе виде, совершенно необычайно усиливается количественно и видоизменяется качественно. И в самом деле, самоотверженность матери уже давным-давно и у всех племен и народов вошла в поговорку и в особых комментариях, как говорится, не нуждается: что удивительного в том, что женщина жертвует собой ради ребенка, если такое мы можем наблюдать и в мире животных. Ни одна самка не станет есть прежде чем не накормит своих детенышей. Это самый простой случай простого самоотречения, но зато и самый распространенный и бросающийся в глаза, даже если ты и не зоолог и не любишь животных по призванию. А как их, между нами говоря, не любить, если они так напоминают детей и так их любят и влекутся к их обществу. Зато и дети отвечают им взаимностью. Я видел, как одна девочка лет шести делилась своим мороженым с собачкой, как, строго соблюдая очередь, она сама откусывала от него и давала из рук ей. Она

при этом строго приказывала животному слизывать только содержимое трубочки, тогда как шоколадную оболочку она оставляла для себя, приговаривая, что если собачка будет есть эту шоколадную оболочку, то у нее будет диатез. И казалось, что животное ее понимает. Когда я спросил у девочки, а как же у животного проявляется диатез, она очень серьезно отвечала, что у него краснеют глаза. Я так увлекся этим зрелищем, что позабыл прочитать девочке нотацию, что нельзя таким образом попеременно лакомиться мороженым с животным. А впрочем, я не уверен, что мои внушения достигли бы цели. А моя жена была свидетельницей и вовсе трогательной сценки: очень маленькая девочка (не более двух лет) бросила собачке конфетку и та с явным удовольствием стала ее сосать. И когда девочка заплакала: «Отдай мою конфетку!», собака тут же ее выплюнула. Конечно, девочке не позволили поднять конфетку с земли.

Нет сомнений, что зоологи подметили, зафиксировали и сохранили для нас и случаи более сложных форм самоотречения у животных, нежели приведенные нами, такие случаи, например, когда, рискуя собственной жизнью и пренебрегая смертельной опасностью для себя, самка спасает (или думает, что спасает) свое дитя, хотя их у ней сплошь и рядом больше, чем у матери-женщины. Да и можно ли, хотя бы на одно только мгновение, усомниться в том, что моя сестра с превеликой и радостной готовностью отдала бы себя трижды и четырежды на растерзание, если бы этою ценою смогла бы так спасти хотя бы одну из своих девочек — близнецов? Так кто же в состоянии отрицать, что и способность к нравственному самоотречению заложена в женской природе в большей мере, нежели в мужской. Но нравственное самоотречение потому и нравственное правило, что человек должен воспитать и постоянно воспитывать себя в нем — как существо общественно-историческое, тогда как простое самоотречение присуще ему же как существу естественно-историческому, чисто природному. Между прочим, длительное общение человека и животного знает немало случаев их взаимного трогательного самоотречения, — т. е. не только человека ради животного, но и животного ради человека. И эти случаи взаимной и, я бы сказал, беспредельной преданности животных и людей не в меньшей мере служат и нравственному облагораживанию человечества, чем акты самопожертвования людей во имя своих собратьев.

История являет нам немало примеров беспримерного самопожертвования женщины во имя идеала — ради блага и счастья народа и человечества. Кому не ве́дом единственный в своем роде исторический подвиг гордой героини французского народа Орлеанской девы, простой крестьянской девушки, возглавившей борьбу великого народа с английскими поработителями? Сколько легенд на всех языках мира создано об

этом очень юном существе. Жанне д’Арк было всего-навсего семнадцать лет, когда она во главе отряда французских войск освободила осажденный Орлеан, и всего еще только девятнадцать, когда она приняла свой мученический венец (илл. 64).

Сценический образ бессмертной героини французского народа нашел свое адекватное выражение в исполнении великой Ермоловой (илл. 65). «В истории русского театра, — свидетельствует автор большой монографии о Марии Николаевне, — нет другого сценического образа, который был бы столь прочно и нерасторжимо связан с личностью, творчеством и судьбой артистки, как образ Иоанны д’Арк с М. Н. Ермоловой.

В роли Иоанны д’Арк у Ермоловой не было ни предшественниц, ни заместительниц, ни преемниц...

В “Орлеанскую деву” Ермолова вложила всю силу своего героического пафоса, всю мощь своего трагического подъема, всю искренность своих чувств и в передаче Иоанны достигла вершин простоты, правды и красоты. <...>

Этот образ, любимый великой артисткой, стал символом ее героического искусства» (*Дурылин С. Н.* Мария Николаевна Ермолова. 1853–1928: Очерк жизни и творчества. М., 1953. С. 203). Современники, знавшие ее близко, в один голос свидетельствуют о том, что исполнение роли Жанны д’Арк было первой ее детской мечтой, что с самых ранних лет ее пленил образ прекрасной девушки в изображении Фридриха Шиллера. Сильные слова об исполнении роли Жанны д’Арк М. Н. Ермоловой принадлежат выдающемуся артисту Малого театра А. И. Южину-Сумбатову, десятки раз переживавшему незабываемые, ставшие поистине историческими, сцены из этого спектакля Ермоловой: «Из глубины своего духа Ермолова достала именно то, что в ней, в Ермоловой, таилось под Марией Николаевной, и она родила духовный величавый образ так же естественно, как мать Сократа родила Сократа, как мать Брута родила Брута, как мать Петра родила Петра. Мы едва знаем, каковы были эти матери, чтó своего дали они детям. Но мы знаем детей. Ермолова, как исключительный, единичный, художник, изваяла свою Галатею в “Орлеанской деве” не из мрамора, а из своего тела. Одухотворила ее своим духом. Переселилась в нее со всей силой и правдой своего таланта, своей творческой воли. Полюбила ее, как самое себя. И не лгала ни перед нею, ни перед теми, кто любовался этим созданием, ни во имя успеха, ни во имя тех или иных требований времени или господствующих тенденций. Свободно и властно, любовно и проникновенно слилась с ролью — и ее созданье от первой до последней минуты действия жило великой, значительной и правдивой жизнью» (Там же. С. 271).

Большая самоотверженность потребовалась от артистки, исполнявшей в течение почти двадцати лет (1884–1902) с огромным и невиданным в истории театра и всё возраставшим с каждым спектаклем триумфом эту свободолюбивую роль. Достаточно сказать, что после бенефиса 1902 г. ее вызывали 64 раза — это не описка. Эта самоотверженность русской артистки покажется нам еще более поразительной, если принять в соображение, что «именно Ермолова освободила “Орлеанскую деву” от шестидесятилетнего плена театральной цензуры» (Там же. С. 203–204).

Как это еще назвать, как не великим подвигом великой артистки?!.. Великим подвигом женщины!

А тринадцатилетняя девчушка, притаившаяся как мышонок (нет, именно как мышь, ведь мышонок — он глупенький, нет-нет да и выглянет), притаившаяся на темном чердаке, где скрывалась от фашистов ее семья, и с учащенно бьющимся сердечком — вот-вот нагрянут! — каждый день бравшейся за свой бессмертный дневник: «Здравствуйте! Я Анна Франк». «Когда я пишу, все разрешается, горе проходит, мужество снова живет во мне». «Я открыла счастье внутри себя. Всегда останется прекрасное: природа, солнце, свобода, то, что у тебя в душе. За это надо держаться, тогда ты найдешь себя». А ведь нагрянули-таки, схватили, и это ласковое жизнелюбивое существо два года спустя было предано мучительнейшей смерти... Сколько нравственной чистоты, сколько светлой человечности в этом бесконечно поэтическом, до боли милом женском существе!.. А ведь об этом Дневнике человечество могло бы и не узнать: его долго спустя и совершенно случайно нашли на полу среди разного хлама, оставшегося после учиненного фашистами погрома...

А сколько героических женских образов знает история революционного движения в России, начиная, скажем, от Софьи Перовской и кончая хотя бы Инессой Арманд? Вспомните одну только маленькую черточку, так трогательно характеризующую именно как женщину «Звезду Народной воли» с «голубооким детским лицом», олицетворявшую собою прекрасную юность русской революции. Когда Софью Перовскую посадили на колесницу, отвозившую ее к эшафоту, и туго скрутили ей руки, она попросила: «Отпустите немного, мне больно». Но как ей было не испытывать физической боли этой необыкновенно нежной, несказанно красивой женщине, к тому же дворянке из знатного рода, ушедшей в революцию единственно по непререкаемому велению совести.

Воспоминания современников сохранили для нас словесный портрет Софьи Перовской — в книге издания 1906 г.: «Хороша собою, хотя ее наружность не принадлежала к тем, которые ослепляют с первого взгляда». «Белокурая головка с парой голубых глаз под широким вы-

пуклым лбом, мелкие, тонкие черты лица, полные губы, необыкновенно чистая и нежная линия подбородка». А в Пермской художественной галерее хранится живописный овальный портрет, изображающий двух девочек, с надписью: «Сестры Перовские» (илл. 66). Как сейчас установлено, Софья Перовская изображена справа. Сведения эти почерпнуты мною из статьи В. Герасимова «Портрет Софьи Перовской» [Веч. Москва. 1974. 15 нояб. № 267 (15530)].

Потрясающий обобщенный образ героического самопожертвования русской женщины создал для нас Иван Сергеевич Тургенев: «Порог». Воспроизвожу это незабываемое Стихотворение в прозе, истинный перл мировой поэзии, целиком.

«Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный, глухой голос.

— О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Знаю, — отвечает девушка.

— Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?

— Знаю.

— Отчуждение полное, одиночество?

— Знаю... Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

— Не только от врагов — но и от родных, от друзей?

— Да... и от них.

— Хорошо. Ты готова на жертву?

— Да.

— На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!..

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

— Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову...

— И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

— Знаешь ли ты, — заговорил он, наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.



— Войди!

Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.

— Дура! — проскрежетал кто-то сзади.

— Святая! — пронеслось откуда-то в ответ.

Май, 1878.»

(*Тургенев И. С.* Порог: Сон. Собр. соч.: В 12 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 8. С. 478–479).

Этот высокий Порог перешагнули сотни и тысячи прекрасных русских девушек. Этот Порог перешагнули сотни и тысячи прекрасных девушек всех народов всей Земли, всего человечества. И как же гордятся народы и как гордится человечество этими своими прекрасными девушками, столь могуче послужившими нравственному росту человеческого существа!

Между прочим, И. С. Тургенев, которому принадлежит этот обобщенный образ женского самопожертвования во имя идеала, во имя добра, создал для нас и незабываемый конкретный образ жертвенного героизма женщины в лице Елены из романа «Накануне».

Жизнь таких людей, как Софья Перовская, Елена из «Накануне» или «Русские женщины»-декабристки Н. А. Некрасова — предметное опровержение сильной, очень сильной мысли И. С. Тургенева, высказанной им в том же романе «Накануне»: «Каждый из нас виноват уже тем, что живет, и нет такого великого мыслителя, нет такого благодетеля человечества, который в силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что имеет право жить...» (*Тургенев И. С.* Накануне. Собр. соч.: В 12 т. М.: ГИХЛ, 1954. Т. 3. С. 161). В отроческие годы эта мысль казалась мне неотразимой.

В самом деле, так много горя и слез на Земле, так много загубленных человеческих жизней, в том числе и жизней ни в чем не повинных детей, что жить самому было бы положительно совестно и стыдно, если бы не существовало на свете такого этического понятия, как беззаветная, не считающаяся с жертвами, борьба за торжество идеала добра. Только участие в революционной борьбе за всеобщее благо всех людей, за счастье человека и человечества, за счастье каждого отдельного человека и человечества в целом, в основе которой лежит нравственное понятие о неповторимости и самоценности каждой отдельной человеческой жизни, — только такая борьба способна оправдать жизнь человеческого существа. Мало того, такая борьба превращает право на жизнь в обязанность жить. Человек не имеет право на самоубийство, даже если оно подсказано ему «нравственными» соображениями (— лженравственны-

ми, как это ясно каждому). Он не вправе посягать на свою жизнь, ибо обязан жить, как и обязан трудиться на благо человечества, бороться со злом и творить добро. Ибо никто не в состоянии выполнить за него то, что составляет безусловное повеление его собственной совести.

История русской революции знает подвиги женского нравственного самоотречения красоты необыкновенной, памятной в веках. Следует ли говорить о том поистине неизмеримом значении, которое имели и имеют эти бессмертные подвиги для нравственного развития всего человечества, для его неукротимого движения по пути прогресса. «Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы». Эти слова, сказанные И. С. Тургеневым же о своей подруге, Нелии Петровне Вревской, молодой и красивой, которую он, по его собственному признанию, тайно и глубоко любил и которая умерла от тифа в глухой деревушке в Болгарии, куда она добровольно отправилась летом 1877 г. в качестве сестры милосердия, — эти замечательные по своей точности слова могут и должны быть отнесены ко многим и многим участницам русского революционного движения времен самого Тургенева и всех последующих времен. «Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы». Ведь общеизвестна та совершенно исключительная роль, которая принадлежит в этом благороднейшем движении женщинам. И можно ли сомневаться в том, что широкое участие женщин в революционном движении придает ему его особое обаяние, значительность и размах. Их исполненная высокого романтизма жажда жертвы может быть сравнима разве только с вошедшим в историю легендарным героизмом первых христианских великомучениц. И как и эти последние, они проникнуты высоким нравственным энтузиазмом, беззаветной верой в идеал человечности. Среди полумиллиона индонезийских революционеров-коммунистов, зарезанных (в точном значении слова) и замученных в гнилых и темных джунглях индонезийской реакции, женщины, надо думать, занимали весьма и весьма солидное место, как они занимали и занимают и в коммунистическом движении Вьетнама. Нет таких жертв, на которые не шли бы женщины ради правого и святого дела свободы. Невозможно измерить всю глубину этой жертвенности во имя добра. И можно ли хотя бы на одно только мгновение усомниться в том, что эти жертвы не были напрасны, если огромная часть человечества Земли уже покончила с классовым угнетением, идет навстречу своему светлому коммунистическому будущему. Эти жертвы во имя нравственного идеала не напрасны уже потому, что коммунистическое человечество, являясь единственным законным наследником всей культуры прошлого, как материальной,

так и духовной, является вместе и наследником всех нравственных завоеваний человечества, которые оно взяло на свое вооружение в великом деле нравственного очищения и революционного обновления мира, является вместе и истинным наследником всего истинно героического в истории, всех решительно образцов нравственного героизма, в том числе и героизма ранних христиан и христианок. В самом деле, разве не поражает наше воображение подвиг юной христианки, увековеченный и художественно обобщенный в образе св. Агнесы Рибера, давшей растерзать себя диким зверям, но не отрекшейся от своей веры в Христа — по ее понятиям Спасителя мира от подлости и изуверства. Таких женских подвигов история насчитывает тысячи и десятки тысяч, многие тысячи и многие десятки тысяч, и коммунистическое человечество будущего заключит их в своем великом Сердце и как живительную кровь разошлет по всем своим сосудам и капиллярам. Эта сверкающая праведная кровь, протолкнутая через сердце человечества, поступая в него все вновь и вновь по закону двойного круга кровообращения, будет служить ко все новому и новому, ко все более основательному, вящему, очищению, омоложению и духовному обновлению и возрождению каждого отдельного человека и человечества в целом.

А сколькими образцами нравственного самоотречения, героического самопожертвования женщины ознаменовались Великая Октябрьская социалистическая революция и последовавшая за ней в качестве ее непосредственного продолжения гражданская революционная война за распространение, укрепление и упрочение Советской власти в нашей стране? Люсик Лисинова (20 лет), Таня Лепилина (22 года), Людмила Макиевская (22 года), Ида Краснощекина, Дора Любарская, Анна Гордон, Лена Спирина (ее пытали в присутствии матери, чтобы выдала Анну Гордон и ничего, разумеется, не добившись, тут же расстреляли обеих — дочь и мать), Леля Борко, Люба Аронова (семнадцатилетняя синеглазая героиня Трипольской трагедии) и многие, многие другие (ведь подавляющее большинство имен не сохранилось. Помните? — Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени) и многие, многие другие девочки, девушки, молодые женщины и женщины постарше, а то и вовсе глубокие старушки, но все одинаково милые и родные, к какой бы национальности ни принадлежали, все одинаково великие, отдавшие свои жизни ради торжества мировой революции. Все они прекрасно понимали, что принеся себя в жертву ради своей Советской страны, они приносят себя в жертву ради всего человечества, ради его сияющего коммунистического будущего, — все

они шли в бой во имя всемирной пролетарской (социалистической) революции, во имя истинного счастья человечества всей планеты.

Воспроизвожу (с небольшими купюрами) статью «Памяти замученных товарищей» из подпольной газеты «Одесский коммунист» от 19 января 1920 г.:

«Сегодня революционным пролетариатом Одессы предаются земле тела зверски замученных белогвардейцами самоотверженных борцов за идеи всемирной революции. <...>

Кошмарный "процесс 17" завершился исключительным по своей дикости и гнусности пьяным судом и зверской расправой с девятью молодыми революционерами. Подробности таковы. Следствие велось ускоренным темпом, по предписанию — секретнейшим образом. Чтобы "облегчить" себе канитель с дознанием и расследованием, захваченную молодежь нещадно били, пытали и издевались над ней, пока не достигали желаемых результатов. Особенно потрудились белые палачи над товарищем Идой. Они не пощадили ни ее молодости (ей еще не было полных двадцати лет), ни ее слабого здоровья. Ее били перед каждым допросом. Били по голому телу резиной, шомполами, затыкая рот тряпкой, душили ее... Ей вырывали ногти, кололи булавками тело, проделывали тысячи постыднейших и мучительнейших издевательств словами и действиями, требуя, чтобы она выдала подпольный комитет Коммунистической партии. Товарищ Ида молчала или отвечала незнанием. Три дня она не могла очнуться от побоев, и бывшие с ней товарищи боялись, что она умрет. Били и пытали и остальных товарищей... Но все же потом снова и снова обращались к товарищу Иде, считая ее самой видной, центральной фигурой процесса.

Действительно, чтобы выгородить других, товарищ Ида все брала на себя. Суд продолжался двое суток. В субботу 4 января старого стиля он закончился вынесением девяти товарищам смертного приговора (через повешение), одного — десятого, раскаявшегося, — отправили на фронт, а остальных приговорили к каторге. <...>

В последнем слове товарищ Ида еще раз сказала, что она вполне сознательно делала то, в чем ее обвиняют, зная, что ее за это по головке не погладят, но прощения просить или помилованья она все равно не собирается. Пусть только остальным, невинным, смягчат участь, а о себе она не хлопочет.

Приговор выслушали спокойно. Другого не ожидали.

— Только и всего? — насмешливо спросила товарищ Ида, выслушав приговор. — Знайте же: хотя бы вы каждый день убивали по десять человек, наши товарищи каждый день берут по станции и доберутся до вас. Мы умираем молодыми, умираем спокойно, так как за нами и за нас



пойдут новые сотни стойких борцов. Ваша песенка спета, еще раньше, чем вы спели ее нам. <...>

Осужденные держали себя геройски.

Многие, даже стража, плакали, видя как радостно встречали смерть эти юные революционеры. <...> Смерть встретили, как праздник.

5-го вечером их должны были прикончить. Караул, и первый и второй, отказались вести их на расстрел. Они прожили еще ночь. В понедельник 6 января, в 9 часов вечера, за ними пришли несколько пьяных грузин, которые предварительно зверски издевались и избивали всех до потери сознания. Потом потащили в погреб, и скоро ряд залпов раздался в камере. Пьяная, дикая, страшная расправа продолжалась долго. Многие умерли не сразу. Их добивали в пьяном озверении прикладами. Когда уже после расправы несколько стражников полюбопытствовали заглянуть в погреб, страшная картина смерти поразила даже их, видавших виды. Девять человек с размозженными черепами лежали и сидели в разных местах. Товарищ Безбожный с невестой лежали, обнявшись, в одном углу, товарищ Ида, крепко сжимая руку Бориса, — в другом. Подле них лежали разбитые винтовки.

Кровавая расправа кончилась геройской смертью этих молодых еще, но стойких коммунистов» (Комсомольское племя. М.: Детгиз, 1960. С. 148–150).

Пусть не посетует на меня читатель за эти страшные сами по себе сцены да еще так контрастирующие со столь нежным предметом нашего трактата (женственность). Их протокольное воспроизведение ярче всего показывает нам, что означает на деле женское самопожертвование во имя идеала, проистекающее из женской же доброты, из отзывчивого на горе людское женского сердечка. А тем, кто будет настаивать на том, что не следовало воспроизводить здесь эти сцены, так ранящие душу, можно лишь отвечать так: достаточно сравнить страдания, испытываемые вами от одного только чтения этих строк, со страданиями самих жертв революции, чтобы вам стыдно стало за требование опустить эти сцены. Эти сцены должны стоять перед нашими глазами и пробуждать в нас совесть каждый раз, когда мы забываем о своем священном революционном долге перед страждущим трудовым человечеством.

Предсмертное письмо Иды Краснощекиной, опубликованное в том же номере газеты «Одесский коммунист» на другой день после казни комсомольцев:

«Милые родные!

Через двадцать четыре часа меня повесят “в назидание потомству”.



Ухожу из жизни с полным сознанием исполненного долга перед революцией. Не успела много сделать. Что ж! Глубоко убеждена, что процесс 17 человек имеет большее значение для революции, чем смерть девяти человек из их числа.

Милая сестра, не тужи обо мне, будь революционеркой, успокой маму. Завещаю твоему малышу сделать то, чего не успела сделать я на революционном поприще.

Очень бодра, удивительно спокойна, и не только я, а и все остальные. Поем, ведем беседы на политические темы. После двух недель ареста сразу почувствовала себя свободной. Только жалею и тужу, что осудили слишком строго. Мне двадцать лет, но я чувствую, что за это время стала гораздо старше. Мое желание в настоящий момент, чтобы вы все, мои близкие, отнеслись к моей смерти так, как отношусь я, — легко и сознательно. Прощайте.

Да здравствует коммунистическая революция!

Ида Краснощекина»

Предсмертное письмо Доры Любарской.

«Славные товарищи!

Я умираю честно, как честно прожила мою маленькую жизнь. Через 8 дней мне будет 22 года, а вечером меня расстреляют. Мне не жаль, что погибну так, — жаль, что мало мною сделано для революции. Только теперь я действительно чувствую себя сознательной революционеркой и партийной работницей. Как я вела себя при аресте, при приговоре, вам расскажут мои товарищи. Мне говорят, что я была молодцом. Целую мою старенькую мамочку, товарища. Чувствую себя сознательной и не жалею о таком конце. Ведь я умираю как честная коммунистка. Мы все, приговоренные, держали себя прилично, бодро. Сегодня читаем в последний раз газету. Уже на Берислав, Перекоп наступают. Скоро, скоро вздохнет вся Украина и начнется живая созидательная работа. Жаль, что не могу принять участие в ней.

Ну, прощайте. Будьте счастливы.

Дора Любарская»

Предсмертное письмо Поли Барг.

«Дорогие товарищи!

Еще 24 часа осталось жить, но мы не унываем и не падаем духом. Умираем с полным сознанием, что правое дело, за которое мы погибаем, восторжествует. Надеемся, что наша смерть не пройдет даром. Рабочий класс увидит воочию, что принесла им Добрармия. Прощайте.

Поля Барг»

Коллективное предсмертное послание осужденных своим товарищам на воле.



«Девять коммунистов, осужденных 4 января 1920 года военно-полевым судом при штабе обороны гор. Одессы на смертную казнь, шлют свой предсмертный прощальный привет товарищам.

“Желаем вам успешно продолжать наше общее дело.

Умираем, но торжествуем и приветствуем победоносное наступление Красной Армии. Надеемся и верим в конечное торжество идеалов коммунизма.

Да здравствует Коммунистический Интернационал!

Осужденные: Дора Любарская, Ида Краснощекина, Яша Ройфман (Безбожный), Лев Спивак (Федя), Борис Михайлович (Туровский), Дуниковский (Зигмунд), Василий Петренко, Миша Пельцман и Поля Барг» (Комсомольское племя. М.: Детгиз, 1960. С. 152–153).

Актом высокого самопожертвования во имя торжества идеалов коммунизма была и жизнь Инессы Арманд. Выходец из буржуазной семьи, она целиком и без остатка посвятила себя великому делу рабочего класса. Вступив в большевистскую партию в 1904 г., в возрасте уже тридцати лет, она в течение оставшихся ей жить шестнадцати лет буквально горела на революционной работе, как в России, так и в эмиграции, выполняла самые ответственные и самые опасные партийные поручения, изо дня в день вела беспокойную жизнь профессионального революционера, подвергалась арестам и ссылкам. Она принимала деятельное участие в революции 1905–1907 гг., в подготовке Октябрьской революции в Москве, заведовала после победы Октября отделом работниц ЦК РКП(б), руководила работой состоявшейся в 1920 г. 1-й Международной конференции женщин-коммунисток. Давая ей еще летом 1919 г. ответственное поручение, В. И. Ленин писал к ней:

«Я уверен, что ты из числа тех людей, кои развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту» (*Ленин В. И.* Полное собрание сочинений. М.: Политиздат, 1964. Т. 48. С. 307).

На боевом посту и погибла Инесса Арманд: в инспекционной поездке по борьбе с голодом она в сентябре 1920 г. скончалась, как и героиня И. С. Тургенева, от тифа.

Не изгладятся из памяти человечества и имена героинь Великой Отечественной войны, явивших неувядаемые примеры высокого нравственного самоотречения во имя добра — во имя коммунистического идеала. Никогда еще за всю свою историю человечество не было свидетелем такого массового героизма, какой проявили сыны и дочери великой Страны Советов, с честью и достоинством отстаивавших и отстоявших свободу и независимость Родины Октября. Достаточно сказать,

что из пятидесяти семи погибших за Родину участников одной лишь знаменитой «Молодой гвардии» двадцать, т. е. третью часть, составляют женщины. Вот их имена: Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Антонина Елисеенко, Клавдия Ковалева, Майя Пегливанова, Александра Бондарева, Александра Дубровина, Лидия Андросова, Антонина Мащенко, Лилия Иванихина, Антонина Иванихина, Анна Сопова, Ангелина Самошина, Нина Минаева, Нина Герасимова, Нина Старцева, Надежда Петля, Евгения Кийкова, Нина Кезикова, Антонина Дьяченко (из кн.: *Фадеев А*. Молодая гвардия. М.: Мол. гвардия, 1951).

Яркими звездами первой величины горят на нашем небосклоне и имена Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской, Наташи Качиевской и многие, многие другие, гордые и незабываемые имена женщин, продолживших двадцать лет спустя самоотверженный подвиг своих предшественниц, отстоявших ценою жизни всемирно-исторические завоевания Великого Октября, завоевания, столь насущно и столь жизненно необходимые всему человечеству, как ни одно решительно другое его завоевание, к какой бы области общественно-исторической действительности оно ни относилось. В самом деле, стоит на один только миг подумать, что сделалось бы с людьми, какой мрак безнадежности охватил бы планету, если бы перестала существовать как социалистическая страна наша Советская Родина, чтобы воочию убедиться в том, что она значит для человечества, чтобы отдать себе ясный отчет в ее совершенно исключительной роли в современном мире. Если до сих пор люди не истребили самих себя в термоядерной войне, то этим они обязаны только и исключительно стране Ленина. И если есть надежда на то, что́ в недалеком будущем самое справедливое и человечное общество будет установлено на всей планете, то надежда эта опять-таки кроется единственно в существовании нашей страны — родины социализма и коммунизма. С ее поражением, если бы оно было возможно, а оно уже, к счастью, невозможно, человечество было бы отброшено на многие столетия назад — ведь наш полувековой опыт, без тени преувеличения следует сказать, стоит столетий! — и пришлось бы начинать, что называется, все сначала... У кого руки не опустились бы от одного лишь такого сознания. Поистине: нет другой страны, с которой люди так тесно, так неразрывно связывали бы все свои лучшие чаяния, какова наша страна, строящая коммунизм. Нет и не может быть более величественного и одновременно более трогательного и обнадеживающего зрелища, чем многомиллионный советский народ, сплоченный в единое целое одной-единственной, но зато и самой высокой нравственной целью, какую только возможно себе представить, целью создания такого мирового общественного порядка, о котором мечтали и наступление которого

научно обосновали и предсказали бессмертные творцы «Коммунистического манифеста»:

«На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (*Маркс К., Ф. Энгельс* Манифест Коммунистической партии. Сочинения. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 4. С. 447).

Обобщенный образ женщины защитницы завоеваний Великого Октября воплотил М. Г. Манизер в памятнике Зое Космодемьянской в Тамбове, воспроизводимом нами здесь. Перед нами открытое, честное, гордое сознанием своей правоты, юное и очень красивое, в высшей степени одухотворенное женское лицо. Вся поза героини говорит о непреклонной воле к победе и непоколебимой вере в конечное торжество правого дела (илл. 67).

Наше дело правое, ибо мы творим добро, мир, основанный на истине, на правде, на красоте —мир коммунизма. Чувство справедливости идет рука об руку с чувством нравственного самоотречения во имя добра. И нравственное правило справедливости, составляющее душевную атмосферу для образования себя в духе этического принципа общественной собственности, как и нравственное правило самоотречения, находит в женской душе почву для «максимального благоприятствования», — как сказали бы юристы. В самом деле, чувство справедливости развито в женщине сильнее, чем в мужчине, как и чувственная сфера вообще. И справедливость, как и самоотверженность, как и серьезность, как и правдивость, с которыми она очень тесно связана, имеет в женщине своей дополнительной подосновой специфическую женскую доброту. Недаром во все времена женщина бывала в первых рядах среди тех, кто возвышал свой голос в защиту оскорбленной невинности, в защиту попранной справедливости, в защиту правого дела народов. Участие женщин всех возрастов во всех революциях мира, их живое и беззаветное, бескомпромиссное в них участие придавало этим революциям особенный нравственный накал. Мы только что говорили об участии женщины в революционном движении России, но ведь в революционном движении других стран они принимали и принимают не менее значительное участие. Великая нидерландская революция, первая победоносная буржуазная революция в Европе, Великая французская революция и все последующие революции, вплоть до первой пролетарской революции, известной под названием Парижской коммуны, ознаменовались массовым участием в них женской половины человеческого рода. Недаром революция и свобода во все времена и у всех народов художественно воплощались в образе прекрасной женщины. А сколько женщин погибло,

защищая правое дело республиканской Испании против фашизма, в том числе и в интернациональных бригадах, посланных в Испанию международным пролетариатом для защиты революции. А сколько женщин на наших глазах погибло в борьбе за рабочее дело во Вьетнаме?

Как и героини советского народа, женщины многих стран мира показали поразительное мужество перед лицом казни, завершавшей сплошь и рядом их беззаветную борьбу против фашизма. Как бы от имени их всех заявила в одном из своих предсмертных писем из Моабитской тюрьмы одна из героинь сопротивления нацизму юная польская патриотка Крыстына Витусская: «Знаешь, мамочка, тут это общеизвестная истина, что женщины несравненно мужественнее воспринимают известие о вынесении им смертного приговора, что они сохраняют большую выдержку в любой, самой трудной ситуации. В результате я даже немного заважничала, правда, не очень!» (*Витусская К.* Письма из Моабита: Письмо от 24 июля 1943 г. Иностр. лит. 1972. Октяб. С. 253). Крыстына Витусская была гильотинирована менее чем через год после обозначенной в письме даты — 26 июня 1944 года, совсем немного не дожив до светлого Дня победы, распахнувшего двери нацистских тюрем. Больше года она находилась в камере смертников (она была приговорена к смерти 19 апреля 1943 г.), каждый день ожидая своей страшной участи, но ни разу не пожалела о своей подпольной работе на благо Родины и человечества.

Но не только в таких великих делах, имеющих всемирно-историческое значение, женщина проявляет самую живую заинтересованность, видит в них свое кровное дело. Нет решительно такого общественного дела, сколь бы «малым» оно ни казалось, которое женщина не приняла бы близко к сердцу — по свойственному ей как существу доброму чувству справедливости. Во всяком случае, больше шансов за то, что то или иное справедливое дело получит поддержку женщины, чем оно получит поддержку мужчины. И пусть мужчины не очень обижаются на меня за эти сопоставления: так долго и так несправедливо принижалась роль женщины в общественной жизни, в особенности же ее нравственная роль сильными классово-эксплуататорских обществ всех времен, что лишнее признание их действительной роли никого не должно оскорблять. Даже в условиях социалистических обществ, где роль женщины развернулась во всю свою мощь, во всю свою неоглядную ширь, нелишне напомнить о былой недооценке этой роли, тем более, что и в настоящем пережитки такого рода недооценки, отпечатлевшиеся в религиозных установлениях, нет-нет да и дают о себе знать то там, то тут. Я не говорю уже о странах капитала и странах с докапиталистическими формами общественной жизни, где удел женщины более чем жалок. Справедливость требует сказать о

роли женщины в обществе и в частности о ее высокой нравственной роли во весь голос, чем мы, собственно, и заняты в настоящее сочинении. Человечество не может надеяться на торжество справедливости, не отдавая в полной мере справедливость нравственной роли женщины в истории. И если человек призван быть укротителем стихии, то женщина — укротительница стихии вдвойне — по самой природе женской доброты, по самой природе существа мирного и трудолюбивого. Тем менее признание этой в высшей степени благотворной роли женщины в человечестве может оскорбить мужчину, стремящемуся к всестороннему — интеллектуальному, эстетическому и моральному — самосовершенствованию, что он сам испытывает ее на себе повседневно и повсечасно. Правда, он стремится к самосовершенствованию, руководствуясь культом совести, а не личности, — это понятно само собой, — но высокие примеры нравственного самоотречения женщины, как и обострённое чувство справедливости, ей присущее, конечно, не могут ему помешать в этом важнейшем деле его жизни, как раз напротив, — во многом помогают ему. Коротко говоря, от возвеличения нравственного подвига отдавшей свою жизнь за благо народа и человечества женщины растут все люди — как женщины, так и мужчины, как взрослые, так и дети, и такое возвеличение, употребляя слова, сказанные Спинозой по другому поводу, не может принести делу истинной добродетели ничего, кроме величайшей пользы. Культ личности может произрасти лишь на почве возвеличения героической личности, находящейся в живых, от какового возвеличения, на мой взгляд, следует воздерживаться, — их подвиг говорит сам за себя. А культ личности к хорошему не приводит. Прославление же героической личности, которой уже нет в живых, способно только украсить человеческий род и прямо проистекает из этического принципа благодарности — признательности к другому за взаимное обогащение человеческой природы.

Женщины, показавшие высокие образцы нравственного самопожертвования, руководствовались, прежде всего, чувством справедливости, требованием общественного равенства, и в этом плане мы можем поставить все перечисленные нами имена, безотносительно к времени, в которое они блистали, в один ряд. Однако же далеко не все женщины с полною ясностью понимали, что справедливый общественный порядок, за который они ратовали и ради которого отдали свои жизни, возможен лишь как социалистический порядок, как безраздельное господство великого этического принципа общественной собственности на орудия и средства производства, хотя смутно они отдавали себе в этом отчет, начиная, можно думать, еще с евангельских времен, если не раньше. И в этом нет решительно ничего удивительного, если принять во вни-

мание тот неоспоримый факт, что первой общественной организацией человечества, первой его исторической общественной формой (общественно-экономической формацией) было именно общество с общественной собственностью. Так или иначе, но в общественном сознании трудового человечества с самых незапамятных времен общественная собственность до того сливалась с нравственным самосознанием личности, что сплошь и рядом составляло его краеугольный камень: не отдавая себе, быть может, в этом ясный отчет, люди смутно сознавали, что свобода человеческой личности возможна лишь на основе общественной собственности. И в самом деле, разве в первых христианских общинах и им, как можно думать, непосредственно предшествовавших ессейских общинах в Иудее общность имущества не составляла краеугольного камня? И разве давали себя растерзать диким зверям первые христианки не ради Учителя, призвавшего всех, кто хотел следовать за ним, продать свое имущество и деньги раздать бедным?

Невозможно без волнения читать свидетельства древних о ессеях, вероятных предшественниках первых христиан, — именно об их отношении к собственности. Вот свидетельство Иосифа Флавия. Говоря о есеях, которые выделяются среди своих соплеменников иудеев стремлением к благочестию и «своей привязанностью друг к другу», он писал в своей знаменитой «Иудейской войне»: «Они презирают богатство, и поразительна их общность имущества. Среди них нет никого выделяющегося своим имуществом, ибо существует закон, что вступающие в общину передают свое имущество в общественную собственность секты. <...> Имущество каждого смешивается с имуществом других, и, словно у братьев, у всех одно общее имущество» (*Иосиф Флавий.* Иудейская война, II, 8, 2–13, § 122 // Тексты Кумрана. М.: Наука, 1971. Вып. I. С. 351). О том же свидетельствует Ипполит: «Они презирают богатство и не уклоняются от помощи нуждающимся, но никто из них не превосходит богатством другого. Ибо у них существует закон, что принимаемый в секту продает свое имущество и вносит (деньги) в общее пользование» (*Ипполит.* Опровержение всех ересей, IX, 19 // Тексты Кумрана. М.: Наука, 1971. Вып. I. С. 369).

Наконец, представляет несомненный интерес и сообщение Филона Александрийского. Говоря о тех же ессеях, «которые стремились к трудовой жизни и вели ее, превзойдя (других людей) во всем или — чтобы не преувеличивать — в большинстве областей», он продолжает: «Они не пользуются услугами рабов, считая вообще, что обладание слугами противоречит природе, создавшей всех свободными. Ведь несправедливость и жадность некоторых людей, стремящихся установить неравенство —

источник (всех) бедствий, — предоставили власть самым сильным над самыми слабыми» (*Филон Александрийский.* О созерцательной жизни, 1, 70 // Тексты Кумрана. М.: Наука, 1971. Вып. I. С. 376, 381–382).

Здесь мы ясно видим, что в глазах трудящихся людей свобода и равенство неразрывно связывались с принципами общественной собственности и труда. Среди бесценных рукописей, которыми ознаменовались находки в районе Мертвого моря едва ли не центральное место, во всяком случае, одно из центральных мест занимает устав ессейской общины под названием: «Устав для всего общества Израиля в конечные дни». И в этом уставе, конечно же, центральное место занимали два краеугольных требования: общность имущества и обязательность труда. «Одной из характерных особенностей этого объединения, — пишут авторы книги об этих находках С. И. Ковалев и М. М. Кубланов, — является общность имущества. Желающий быть членом общества, после того, как он в течение двух лет пройдет испытания, должен передать все, без утайки, имущество в собственность общины. <...> Другим требованием “Устава” было требование безусловного участия каждого члена общины в труде. При этом плоды труда каждого шли в общий котел. Это обстоятельство представляет большой интерес. “Само требование личного труда, — замечает по этому поводу один из советских исследователей, К. Старкова, — должно считаться знаменательным для той эпохи, когда труд был отличительным признаком раба и неимущего”» (*Ковалев С. И., М. М. Кубланов* Находки в Иудейской пустыне: Открытия в районе Мертвого моря и вопросы происхождения христианства. М.: Госполитиздат, 1960. С. 32–33).

И не только в древности, но и в последующие времена наиболее последовательные участники и участницы революционных движений отдавали себе более или менее ясный (стало быть, и более или менее смутный) отчет в том, что торжество справедливости на Земле невозможно без ниспровержения частной собственности и установления общественной собственности. В самом деле, если бы спросили Софью Перовскую, во имя чего она, вразрез со своей нежной и доброй женской натурой, пошла на убийство царя, то не ответила ли бы она, что пошла на такое во имя ликвидации всех форм эксплуатации труда и угнетения человека человеком, — единственно ради установления справедливого общественного устройства, — всеми народовольцами мыслившегося не иначе как социалистическим общественным устройством, о чем свидетельствует хотя бы знаменитый «Царь-голод» Алексея Николаевича Баха. Конечно, в этом деле они связывали все свои надежды с разночинной революционной интеллигенцией и, в лучшем случае, с революционными возможностями крестьянства, но в этом уже сказалась их историческая ограниченность,

помешавшая им увидеть в возникавшем уже и в России рабочем классе ведущую силу социальный революции. Короче говоря, нравственность и революционность — синонимы и как та, так и другая подсказывали единственное возможное основание для справедливого общественного устройства — это общественная собственность на средства производства. Но ясное и четкое понимание путей и методов общественного переустройства из всех женщин-революционерок было присуще единственно коммунисткам, ибо только марксизм-ленинизм подвел научную основу под этот этический, диктуемый совестью, идеал человека — социализм и коммунизм. И только героини Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны в СССР, а также героини Великой Отечественной войны и знаменитых советских пятилеток, только героини рабочего и коммунистического движения, а также и социалистического и коммунистического строительства в нашей стране и за ее рубежами, — с исчерпывающей ясностью отдают себе отчет в том, что справедливость и коммунизм — синонимы, как синонимы — нравственность и революционность, что единственно только этический принцип общественной собственности на средства производства гарантирует от социального неравенства, так оскорбляющего и ранящего нравственное чувство справедливости в человеке вообще и в женщине как человеке в особенности. Только они исчерпывающе понимают, что эта великая цель может быть достигнута лишь путем освобождения труда, путем марксистско-ленинского просвещения и организации того класса, рабочего класса, который самой историей призван возглавить борьбу за претворение этого нравственного идеала в жизнь. Именно за это, за рабочее дело, сознательно и с радостной готовностью отдали свои жизни герои и героини ленинской Коммунистической партии и Ленинского Комсомола, герои и героини великого и многонационального советского народа.

Мы уже говорили о том, что нравственная поддержка со стороны женщины, ее одобрение, не раз служила к росту революционера-мужчины. Благословение любимой, неотступные думы о ней, ее глубокий взгляд и нежная улыбка, весь ее милый, до боли близкий и бесконечно родной образ, не раз спасали профессионального революционера в долгие дни заточения, неудач и уныния, во время самых жестоких пыток и издевательств со стороны классовых врагов, как являлись и лучшей наградой в случае успеха. Я не говорю уже о том, что перед сознанием революционера, каким бы суровым ни сделала его полная тревог и треволнений работа, в самые ответственные моменты его жизни всегда и неизменно высился образ матери, его зачавшей и его вырастившей, — как воплощенная доброта и справедливость. Этот образ его никогда и нигде не по-

кидает, ободряет и направляет его в самых дерзновенных его действиях на благо трудового народа, этим образом он клянется и перед ним же и исповедуется во всех своих прегрешениях. И сколь велико значение женщины в нравственном и революционном сознании и росте человека и человечества, никто и никогда не будет в состоянии измерить, — до того оно глубоко, разносторонне и всеобъемлюще. Ибо сказывается не только в нравственно-революционном подвиге самой женщины, не только в прямом воспитательном ее влиянии, не только в материнской ласке и женской ласке вообще, не только в неотразимом нравственном воздействии самой женской красоты, изящества и поэтичности самого облика женщины, оно сказывается — для мужчины, и не только для мужчины, — в самом наличии женского начала в природе вещей.

Нравственный героизм женщины в условиях мирного социалистического и коммунистического строительства выражается в первую очередь в самоотверженном труде. Этот труд одинаково и насущно необходим как для самообороны народов, сбросивших, наконец, со своих натруженных плеч ярмо капиталистической эксплуатации и угнетения, так и для создания нового общества. И мы с вами подошли к нравственному правилу трудолюбия, составляющему необходимую душевную атмосферу для образования себя в духе этического принципа труда. Если даже в условиях буржуазного общества только общественно-полезный труд украшает человека и сообщает ему его человеческую природу, то насколько же крат больше эта роль труда в жизни человека — и мужчины и женщины — вырастает после победы социалистической революции и установления власти трудового народа, возглавляемой рабочим классом и направляемой его (рабочего класса) Коммунистической партией. Только в социалистическом обществе труд выступает как свободный, раскрепощенный труд. И только такой труд способен раскрыть сполна все поистине неисчислимые возможности, в человеческом труде заложенные от природы. Женщина наравне с мужчиной строит лучезарное будущее в труде. Это прекрасно показано во всемирно знаменитой скульптуре В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница». Скульптура эта, по единодушным свидетельствам очевидцев, произвела поистине ошеломляющее впечатление в капиталистическом мире, показав воочию, что́ означают женщина и женский труд в условиях свободного от эксплуатации человека человеком общественного строя. Сколько спокойной уверенности и вместе гордого торжества в устремленных в едином порыве вперед фигурах мужчины и женщины, впервые в истории осознавших свою равную роль в историческом созидательном труде на благо всех людей, как живущих, так и имеющих жить (илл. 68).

Трудолюбие женщины не поддается описанию, как и ее выносливость. Как правило, она и работает, и учится, воспитывает детей и ведет всю необходимую и повседневную работу по хозяйству. Иногда просто диву даешься, как такое хрупкое и нежное существо в состоянии нести столь тяжкую ношу, в состоянии справляться со столь многочисленными равно насущными и ответственными обязанностями, где только она черпает для этого нравственные силы? А ведь при этом она находит возможным и даже, как мы видели, считает необходимым заниматься систематическим пополнением своего образования, неустанным повышением своего общего культурного уровня, расширением, как у нас принято говорить, своего умственного горизонта, — следить за движением политических событий в своей стране и за ее пределами, быть в курсе художественной жизни, в особенности же литературы. А какие чудеса героизма женщины обнаруживают в труде?! И это понятно: если даже в условиях буржуазного строя, в условиях нередко нещадной эксплуатации труда, которой особенно подвергается труд женщины, последняя, если она не бастует (как и ее товарки, разумеется, ибо она всегда действует заодно с ними и иначе не может!), если и в этих условиях женщина-рабочая считает делом своей рабочей чести, как и мужчина-рабочий, показывать образцы качества в труде, то как должна показать себя в труде женщина в условиях свободного от классового угнетения общества, в условиях общества, в котором господствует этический принцип общественной собственности на средства производства, — именно тот принцип, ради которого было принесено столько жертв, также и женщинами — в годы революции, гражданской и Великой Отечественной войн?! Достаточно сказать, что из общего числа 16 245 человек, которым на 1 сентября 1971 г. присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда 4497 составляют женщины, а из общего числа 105 человек со званием дважды и более Героя Социалистического Труда 24 составляют женщины. Вы скажете, может быть, что в свете вышесказанного вы ожидали иного соотношения, если не обратного, то хотя бы равного распределения среди женщин и мужчин этого многообязывающего звания. Но не спешите с выводами, товарищ, не забывайте, что во многие отрасли производственной деятельности женщины не допускаются вовсе — из чисто медицинских соображений. Не забывайте также, что значительная часть жизни женщины уходит на вынашивание и выкармливание (в точном смысле — воспитание) детей. Не забывайте также, о чем говорилось только что, что даже в самой идеальной семье основная тяжесть по ее бытовому обслуживанию пока еще, как это ни печально, ложится на женщину, и вы наверняка решите, что такое соотношение — не такое уже плохое для женщины соотношение, как это могло

бы показаться с первого взгляда. А сколько у нас матерей-героинь, вырастивших по десяти и более здравствующих детей! Согласитесь, что звание «Отец-герой» вызвало бы только улыбку, а вот мать-героиня вызывает к себе глубокое чувство восхищения, так как каждый сколько-нибудь смышленый ребенок понимает, скольких бессонных и полных тревоги ночей стоит матери один только единственный ребенок, и мы никогда не перестанем удивляться нравственной силе и нравственной красоте героини-матери.

А в спорте разве женщины не творят чудеса? И разве не требует он труда и трудолюбия, да еще какого! — повседневных и неустанных упражнений и тренировок. А ведь этому наши женщины, как правило, посвящают только свободное от работы на производстве время. И есть области спорта, где они буквально царят, и области эти безусловно самые изящные, так хорошо гармонирующие с изяществом строения самой женщины. Это, в частности, спортивная и в особенности художественная гимнастика и фигурное катание на льду. А в цирке разве не являются они образцом изящества в соединении с неимоверной отвагой? И как украшают жизнь и как украшают самоё женщину поистине ослепительные успехи женщины в этих изящных областях спорта?

Но есть область художественного творчества, в которой женщина выступает во всем блеске своей славы. Это балет. Решительно ни одна другая отрасль художественной деятельности так не подходит женщине, как именно эта. Балет кажется созданным специально для нее, чтобы она могла развернуть в нем все несказанное очарование, все несравненное изящество, всю светлую гармонию и пленительную грациозность, всю покоряющую красоту, одухотворенность и поэтичность женского существа. Глубокая романтичность души женщины, трогательная интимность всего ее облика ни в чем ином так полно не раскрываются, поскольку речь идет о художественной сфере существования (деятельности) человека, как именно в балете. В этом смысле — в смысле романтичности и интимности выражения чувств с ним могла бы соперничать разве только музыка, если бы сам балет не выступал перед нами как музыка же, пластическая музыка движений, как зримая музыка, воплотившаяся в прелестной женской фигуре и ее размеренных движениях. Конечно сам балет по необходимости сопровождается музыкой и, следовательно, не только не обделен обаянием, с нею связанным, но и оттеняет и увеличивает его вдвойне, со всем тем одна музыка (без балета) не способна, конечно, заменить собою живое прекрасное почти обнаженное женское существо, раскрывающее на сцене все заложенные в природе женщины роскошные потенции.

Танец — это настоящая стихия женщины, и неудивительно, что едва выучившись ходить, девочка уже пробует себя в танце, чего, конечно, не скажешь о мальчонке. При этом девочка инстинктивно понимает, как это хорошо показывают фигурки работы Елены Александровны Янсон-Манизер, что именно в танце выгодно вырисовывается врожденная и так свойственная ей как маленькой женщине непринужденность в осанке и движениях, стройность ее художественно-миниатюрной фигурки и жизнерадостное и жизнеутверждающее начало, от всего ее существа исходящее (илл. 69). Ясно, что в балете, как и в любой области человеческой деятельности (а любая человеческая деятельность, именно как человеческая имеет творческий характер по существу — в соответствии с творчески-преобразовательной природой общественно-исторического человека), в балете, как и в любой человеческой деятельности требуется трудолюбие, трудолюбие и еще раз трудолюбие, без которого классическая техника танца вполне немыслима. И творчески-преобразовательная природа человеческого труда и здесь, в балете, проявляет себя со всею силою: в нем женщина преображается на наших глазах, так что невозможно в нее не влюбиться — по крайней пере пока она перед нами выступает, преображает свойственную ей от природы красоту в нечто еще более прекрасное, в нечто, если хотите, идеальное. Я не смог бы себе представить, насколько женщина преображается в роли балерины на сцене, если бы мне не приводилось встречаться с ней же сразу после спектакля, в будничной обстановке, — я едва признавал в ней ту, что так очаровала меня на сцене и так безраздельно держала меня в своей власти на протяжении всего спектакля. Спектакль-балет — настоящий праздник не только для нас, зрителей, но и для самих его участников, хотя каждый такой спектакль — труд.

Е. А. Янсон-Манизер воплотила в незабываемых скульптурных образах героинь балета: Одетту-Уланову из «Лебединого озера», Лебедь-Плисецкую, Лолу-Власову из балета «Лола», Фригию-Бессмертнову из балета «Спартак». Вглядитесь в эти образы и решайте сами, сколько труда потребовалось артисткам, чтобы добиться такого совершенства исполнения на сцене и, кстати, сколько труда потребовалось скульптору Е. А. Янсон-Манизер, чтобы эти образы претворить в бронзе и гипсе. В образе Фригии-Бессмертновой она с поразительной, поистине потрясающей силой сумела показать душевное состояние юной жены Спартака, объятой ужасом от неимоверных жестокостей, учиненных торжествующими рабовладельцами над ее великим мужем и его героическими сподвижниками — участниками навеки прославленного восстания рабов против рабовладельческого строя, и бегущей темной ночью без оглядки и не разбирая дороги, куда глаза глядят, от своего нестерпимого горя (илл. 70).

Одетта-Уланова изображена и увековечена в тот трагический для нее момент, когда она, узнав об измене принца, пораженного на балу ослепительной красотой внезапно явившейся Одиллии, окончательно потеряла надежду на возвращение и ее самой и ее подруг к своему былому человеческому — женскому облику. Кроме того, здесь и уязвленное женское самолюбие и жгучая ревность: ее скромная лебединая красота не устояла перед яркой красотой женщины — соперницы, и боль за него, не сумевшего оценить ее красоты, растерявшегося перед соблазном новой красоты и потерявшего способность разобраться в том, где же красота истинная, и изменившего своей священной клятве в вечной к ней любви. Этот трагизм сказывается и в печальном и сосредоточенном взгляде, и в выражающих горе судорожно отброшенных руках, в особенности кистей рук, и во всей ее поникшей фигуре (илл. 71). Сколько трогательной грусти от горестной утраты веры в человека сосредоточено в одном только лице женщины!..

Трагизм достигает своего апогея в Лебеде-Плисецкой. «Умирающий лебедь» Сен-Санса, как мне кажется, — коронная роль Майи Плисецкой. Трагизм смерти — так можно было бы назвать эту замечательную скульптуру Е. А. Янсон-Манизер. Так и ощущаешь всеми нервами своими, как последнее дыхание покидает тело женщины и уже не различаешь, чего же больше — жизни или смерти — в лице женщины, в ее опущенных веках и потухшем взоре, в ее откинутых в беспомощности руках и ослабевших пальцах, в ее подкошенных ногах. Вся поза выражает хотя и в высшей степени сдержанное, но нескончаемое страдание. (илл. 72)

Очень выразителен и скульптурный образ Лолы-Власовой из балета «Лола». Ее обнаженная фигура говорит об огромной силе экспрессии (илл. 73). Несомненная заслуга скульптора в том, что она сумела схватить и воплотить самые драматические сцены из воспроизводимых ею спектаклей, как и в том, что она сумела показать, какими неисчерпаемыми выразительными средствами располагает балет в лице его талантливых представителей.

Скульптор Е. А. Янсон-Манизер создала также и замечательные образы гимнасток, выполненные в бронзе. Таковы в частности «Дискоболка» (илл. 74), «На буме» (илл. 75), «Старт в воду» и «Баскетболистка» (илл. 76), М. Г. Исакова (Конькобежка) (илл. 77). А. П. Савинкова (Художественная гимнастика) (илл. 78). Не требуется особого воображения, чтобы представить себе, сколько труда должны были затратить эти спортсменки, чтобы столь непринужденно выступать перед нами в избранном виде спортивных состязаний. И потому совершенно понятно то чувство высокого удовлетворения, которое они испытывают от гор-

дого сознания, что их труд дал столь осязательные результаты. Разве не это чувство читается на лицах и во всей осанке «Двух физкультурниц» того же автора? В отличие от всех названных скульптур Е. А. Янсон-Манизер, отличающихся динамичностью, каждая в своем роде, в соответствии с характером действия в балете и с видом движения в спорте, эта характеризуется торжественною статичностью. Античным покоем веет от этих двух фигур, а в выражении их лиц явственно ощущается горделивое сознание собственного достоинства, столь характерное для женщины-работницы советской эпохи (илл. 79).

«Птице на зависть» — таким выразительным заголовком сопроводила «Комсомольская правда» опубликованный ею (в номере от 3 октября 1972 г.) снимок с фрагмента гимнастического выступления юной Ольги Корбут на Олимпийских играх в Мюнхене летом 1972 г. (илл. 80). Сильнее, пожалуй, не скажешь. «Мгновение остановлено... Изящная фигурка спортсменки белой молнией “чертит” в воздухе замысловатую траекторию. С чем сравнить этот полет, в котором изысканная пластика, необыкновенная легкость и раскованность движений слились воедино с безукоризненным расчетом?» Приходится только пожалеть о том, что популярная газета («Комсомолочка») не назвала автора этой замечательной фотографии и этой не менее красноречивой заметки.

Истинно прекрасное обретает и соответствующие слова для своего выражения. Вот как пишет о впечатлении, произведенном на англичан гимнастическим выступлением Ольги Корбут, спортивный обозреватель газеты «Дейли миррор» Френк Тейлор:

«Сегодня Ольга Корбут принадлежит миру. А до десяти часов утра 31 августа 1972 года она была просто 16-летней участницей Олимпиады в Мюнхене. После своего выступления там она стала кумиром публики, Брижит Бардо гимнастического мира. Золотая девушка с шапкой пшеничных волос, похожая на беспризорного ребенка, излучающая грацию и женственность, королева-балерина в гимнастике. Подобно Бобби Чарльтону и Пеле в мировом футболе, она шагнула с телевизионного олимпийского экрана прямо в сердце человечества. Ее искусство, покорившее 800 миллионов телезрителей, наблюдавших Олимпиаду, перешагнуло через национальные границы» (см.: *Михалев П.* Большой бал граций. Комс. правда. 1973. 15 мая. № 112 (14703).

Женщина — существо трудолюбивое и едва ли кто-нибудь рискнет это отрицать: такое отрицание выглядело бы как попрание всех нравственных завоеваний человечества. А ведь общественно-полезный творчески-созидательный труд, к какой бы области он ни относился, — главное назначение человеческого существа. В нем именно и сказывает-



ся общественная (общественно-историческая) и творчески-преобразовательная нравственно-революционная природа человека, ибо только в труде рождается новый, очеловеченный мир и новый же, очеловеченный человек. Поэтому не удивительно, что чувством собственного достоинства по-настоящему обладает только и исключительно трудящийся человек — творец жизни и творец истории. В труде женщина-человек, как и человек-мужчина, творит историю не в меньшей мере, чем в борьбе за победу нового строя в революционной, освободительной, справедливой войне. Конечно, в условиях победившей социалистической революции роль труда и человека труда возрастает неимоверно, но в классово-антагонистическом обществе только труд и человек труда творят историю. Стоило бы трудящемуся человечеству прекратить свою трудовую деятельность, как люди одичали бы совершенно. А ведь человека труда в буржуазном обществе третируют почти так же, как и в крепостническом и рабовладельческом обществе.

Однако сколько ни стремились унизить чувство собственного достоинства в трудящемся человеке, в особенности же в трудящейся женщине в классово-эксплуататорском обществе, в этом нисколько не преуспели — до того оно неразрывно с трудом и трудолюбием. А ведь нравственное правило собственного достоинства — необходимое душевное качество для образования себя в духе этического принципа внутренней, духовной, или нравственной, свободы, без коей всякая внешняя свобода, общественная и гражданская, превращается в пустой звук: к чему эта внешняя свобода, если отсутствует внутренняя потребность в ней? Я не говорю уже о том, что внутренняя, духовная, нравственная свобода человека — необходимое условие борьбы за завоевание общественной и гражданской свободы; она тождественна революционному самосознанию. Чувство собственного достоинства развито в женщине очень сильно, оно усиливается в ней еще высоким сознанием своей материнской миссии, и тесно связано не только с рассмотренными уже нравственными правилами, но и с теми, что нам еще предстоит рассмотреть — в плане анализируемой в этой главе неотъемлемой черте женственности — доброты. Чувство собственного достоинства делает женщину особенно непримиримой к тунеядству, несправедливости, малодушию, преступному легкомыслию, лживости. Оно делает ее так же непримиримой к чувству зависимости и унижению человеческого достоинства в ком бы то ни было, как и непримиримой, забегая несколько вперед, к соглашательству (оппортунизму) всякого рода, к жестокостям, самомнению и безответственности. Если непримиримость к лживости, легкомыслию, малодушию, несправедливости и тунеядству

стоит в прямой связи с нравственными правилами правдивости, серьезности, самоотречения (самоотвержения), справедливости и трудолюбия, а непримиримость к соглашательству, жестокости, самомнению и безответственности стоит в такой же прямой связи с теми нравственными правилами, которые нам еще предстоит здесь (в этой главе) рассмотреть, — с нравственными правилами последовательности, сострадания (солидарности), скромности и ответственности, — то непримиримость к рабскому чувству, к чувству зависимости и к унижению человеческого достоинства в ком бы то ни было является уже прямой оборотной стороной самого рассматриваемого нами сейчас нравственного правила собственного достоинства.

Всякий безнравственный поступок оскорбляет чувство собственного достоинства в человеке. В женщине же он оскорбляет это чувство вдвойне, ибо в ней оно стоит в прямой связи не только с обсуждаемой нами чертой женственности — с добротой женщины, — но и с разобранными нами в предыдущих главах чертами женственности, каковы изящество, нежность, стыдливость, любовь, материнство. Всякая безнравственность есть прежде всего жестокость, а жестокость и изящество, жестокость и нежность, жестокость и стыдливость, жестокость и любовь, жестокость и материнство — вещи несовместимые. Не приходится, разумеется, доказывать, что жестокость и доброта — антиподы. Это самоочевидно. Но ведь не менее очевидно, что жестокость не вяжется и с изяществом женщины, как оно нами было определено выше, а именно как органическое единство физической и духовной красоты, идет вразрез с ее нежностью, противоречит присущей ей стыдливости, дисгармонирует с любовью, контрастирует с материнским чувством. А ведь перечисленными чертами исчерпывается женственность как таковая. Так сама природа женственности исключает безнравственность в принципе. И это понятно, ведь женственность определена нами как человечность в женщине, как истинная человечность в ней, тогда как безнравственность есть самая настоящая бесчеловечность.

Нравственное правило собственного достоинства немыслимо без нравственного правила последовательности, составляющего необходимую душевную атмосферу для образования себя в духе этического принципа благородства. Принцип этот как один из принципов истинной человечности, образующих в своей целокупности нравственный закон совести, требует от человека нравственной гармонии целей и средств: как цели, так и средства должны быть одинаково нравственными и недопустимо достижение нравственных целей безнравственными средствами. Простое чувство последовательности в его этической интерпре-



тации, иными словами, последовательность как нравственное правило подсказывает человеку столь же простую, как и само это чувство, истину: ежели он не допускает безнравственного в цели именно как безнравственного, то не должен допустить его и в средстве. Совершенно понятно, что чувство собственного достоинства, не мирящееся с какой бы то ни было безнравственностью как жестокостью и столь острое в женщине как существе добром, столь естественно следующее из самой доброты как неотъемлемой черты женственности, не мирится с низменными — безнравственными и жестокими средствами, — пусть даже и ради достижения высокой, т. е. самой по себе нравственной, цели.

Эта проблема целей и средств с особой остротой встала перед деятелями «Народной Воли» на заре революционного движения в России, когда марксизм в лице В. И. Ленина еще не обрел в ней своей второй родины, когда революционная мысль еще только металась в поисках научной теории как руководстве к действию. И народовольцы сделали главным средством борьбы за свои социалистические идеалы индивидуальный террор, хотя и не могли не сознавать безнравственного характера этого средства. Ведь они встали на путь террора лишь будучи вынуждены к этому — после того, как претерпели его — и с избытком — от своих врагов. Первоначально они, лучшие юноши и девушки России занимались лишь мирной пропагандой социалистических идей, шли «в народ» с добрым словом, чтобы просвещать его и лечить его (они для этого специально учились педагогике и медицине), чтобы сеять в нем семена социализма. Но темные тогда еще крепостные крестьяне нередко и сами помогали правительству крепостников, предавая их в его руки. И на редкость благородное «хождение в народ» оборачивалось жестокой (да еще какой!) расправой с лучшими сынами и дочерьми народа. Не найдя никаких других средств борьбы со злом, они встали на путь террора, хотя не могли, конечно, не понимать, что заплатят за него еще более дорогой ценой, что правительственные репрессии на этот раз обернутся для них, совсем еще молодых, настоящим кошмаром. И все же до такой степени им было свойственно это чувство нравственной последовательности, до такой степени остроты осознавался ими этот поистине трагический разлад между нравственным характером цели и безнравственностью средства к ее реализации, в особенности же женщинами, по их великой женской доброте, что Софья Перовская, больше всех сделавшая ради подготовки убийства Александра II, непосредственно организовавшая его и принявшая в нем руководящее участие, после его успешного совершения разрыдалась... Так горько было сознание, что достижение насущной социальной цели благодаря репрессиям правительства невозможно без крайних и безнрав-

ственных в основе средств. Это сознание «греховности» убийства, хотя и признаваемого неизбежным и совершаемого во имя добра, очень ярко отображено в воспроизведенном выше тургеневском Стихотворении в прозе. Вы помните, что тогда как на вопрос, готова ли она на жертву, девушка без тени колебаний ответила сразу и односложно: да; на вопрос: Готова ли ты на преступление? девушка потупила голову... И лишь потом ответила, притом не односложным да, как на предыдущий вопрос, но полностью, членораздельно и точно: — И на преступление готова, — с тем чтобы не было на этот счет никаких неясностей, — что она даже готова жертвовать своим естественным вдвойне для женщины нравственным чувством последовательности и нравственным достоинством только бы помочь своему народу, хотя сколько-нибудь облегчить его участь. Можно полагать, что нечто подобное испытывала и легендарная Юдифь, вероломно поступившая с вражеским военачальником Олоферном, заманившая его в сети своей красоты и умертвившая его ради спасения своего народа (илл. 81). Этот эпизод послужил, как известно, сюжетом не для одного шедевра искусства. При взгляде на такое полотно невольно испытываешь двойственное чувство: при всем том, что ты не можешь не признать справедливости содеянного (тем более, что в отличие от «акции» Софьи Перовской, «акция» Юдифи и в самом деле привела к должному результату), тебя в то же время коробит вероломный и жестокий характер, одним словом, безнравственный характер самого средства, столь резко контрастирующий с благородною возвышенностью цели и с нежной красотой женщины, его себе позволившей. Скажу по совести, что я уже собирался воспроизвести здесь Юдифь Джорджоне (если и в самом деле, как предполагал вначале, снабжу это сочинение иллюстрациями, заимствованными из сокровищницы мирового искусства) без отрубленной головы Олоферна и окровавленного меча, — просто как впечатляющий образ спокойной и мирной женской красоты, до того они показались мне уродующими эту красоту. Но к несчастью, как говорится, ничего не поделаешь: на насилие нередко (ох, как не редко!) приходится отвечать насилием же, и принципы истинной человечности потому и идеальные принципы, что мы в состоянии лишь приближенно ими руководствоваться, хотя и призваны ими руководствоваться неукоснительно, если хотим оставаться людьми и не опуститься до уровня диких животных, жестоких по неразумию. И уже то, что нас коробит от сознания безнравственности средства при всем убеждении в его неизбежности, — уже одно это служит гарантией наступления лучших времен, когда такие средства останутся лишь в исторической памяти — среди других кошмаров прошлого.



Нравственное правило сострадания (солидарности), столь необходимое душевное средство для образования себя в духе этического принципа благодарности, признательности к другому за взаимное обогащение человеческой природы, следует уже прямо рассматривать, в особенности поскольку речь идет о женщине, как сгусток самой доброты. Подобно тому как чувство сострадания является наиболее конденсированным выражением, или наивысшей концентрацией, чувства солидарности, оно является таковым же относительно доброты, наиболее сознательным воплощением женской доброты. Со всем тем не сама по себе доброта является нравственным правилом, ибо она, как уже было сказано в самом начале этой главы, — лишь психологическая подпочва, на которой нравственные правила лучше (легче) всего культивируются, образуя собою уже психологическую почву (не подпочву) для образования себя в духе нравственного закона, или этических принципов истинной человечности. Лишь в этом наиболее конденсированном, наиболее концентрированном, наиболее сознательном своем воплощении в сострадательном чувстве доброта выступает как нравственное правило. Ведь все нравственные правила — сознательно воспитываемые в себе человеком чувства, тогда как доброта присуща человеку, в частности женщине, от природы, и от его воли не зависит. И если женщина чувствует жалость к поверженному врагу, и не только когда он испытывает физические страдания, но и душевные, испытывает, например, унижение, если в ней самой оскорблено чувство собственного достоинства, не мирящееся с оскорблением его, этого человеческого достоинства в другом, в ком бы то ни было, то какова должна быть сила сострадания нежного и доброго женского сердца не к другу даже, а просто к человеку (не врагу?). Прежде всего сострадание движет людьми в борьбе за добро — сострадание к угнетенным и порабощенным, к униженным и оскорбленным, к «бедным людям», к «Неточке Незвановой». И кто в состоянии отрицать, что такое сострадание мы встречаем в женщине неизмеримо чаще, чем в мужчине, что женское сердце в этот отношении, как, впрочем, и во всех других, более ранимо, чем мужское.

Можно было бы в этом уподобить женщину ребенку, если бы дети не были сплошь и рядом жестоки по неразумию. Женщина — тот же ребенок, но в высшей степени разумный, следовательно, в высшей степени человечный ребенок. Сама женская красота, как уже говорилось, вопиет против жестокости и против унижения человеческого достоинства в ком бы то ни было. В этом усматривается и специфическое чувство собственно женского достоинства. И как сильна в сознании человеческом, в особенности же в сознании мужчины, эта связь красоты женщины с

красотой нравственной, как слиты и нераздельны в нем и та и другая красота, очень хорошо показал не кто иной, как Л. Н. Толстой в своем маленьком, но знаменитом рассказе «После бала».

Молодой человек, потрясенный на балу красотой одной девушки, страстно и робко влюбленный в нее, от счастья, что она улыбнулась ему не знавший куда себя деть, пробродивший по окончании бала всю ночь напролет по улицам, — вдруг, в самый момент, когда все его помыслы были заполонены ею, остановился, как вкопанный: он оказался невольным свидетелем жестокой и унизительной экзекуции, которая была учинена по распоряжению здесь же присутствовавшего ее отца — военного коменданта города. Это зрелище поразило его в самоё сердце, и все обаяние от красоты любимой девушки и все его счастье оказались разбитыми вдребезги...

Ведь именно это великое сострадание к людскому горю, к бедствиям народным заставили неопытную еще и совсем юную девушку Тургенева перешагнуть Порог, обречь себя не только на физическую, но и нравственную жертву, смириться даже с готовностью пойти на преступление против совести. Между прочим, сама Неточка Незванова, к которой мы испытываем хватающее за сердце чувство сострадания, сама ведь была олицетворенным состраданием к людям, была вся, можно сказать, соткана из сострадания — к ближним, к дальним, ко всему страждущему человечеству. И если бы потребовался обобщенный образ сострадательной женщины, мы едва ли во всей мировой литературе сыскали бы более адекватный, нежели этот бессмертный образ, созданный сострадательным гением Ф. М. Достоевского (илл. 82). Разве не из сострадания к людям взошла на костер Жанна д'Арк? Разве не из сострадания к людям взошла на эшафот Софья Перовская? Разве не из сострадания к людям дали себя растерзать Ида Краснощекина, Люба Аронова, Зоя Космодемьянская, Ульяна Громова, Любовь Шевцова и многие-многие женщины, чей высоконравственный героический подвиг украсил историю человеческого общества? И если и в мужчинах это чувство сострадания (не только справедливости) подвигает на героические дела, то кто может, повторю, отрицать, что к тому чувству сострадания, которое естественно присуще женщине как человеку, примешивается еще и чувство сострадания, столь же естественно присущее ей именно как женщине, заложенное как доброта в самой природе женского начала? Иными словами, кто в состоянии отрицать особую остроту женского сострадательного чувства, сострадания, что называется двойного, удвоенного и утроенного, ведь острота сострадания нередко доводит даже и мужчину до умопомешательства и самоубийства, кто, говорю я, в состоянии из-

мерить всю глубину великого сострадания женщины? Положительно: сострадание женщины не знает границ...

Казалось бы, столь великие достоинства женщины — и изящество, и нежность, и стыдливость, и любовь, и материнство, и доброта, — все эти качества, объединенные нами общим понятием женственности, должны вознести женщину в ее собственных глазах высоко над мужчиной, должны вселить в нее спесивое чувство превосходства над ним, а между тем кому не известно, что такое похвальное чувство мужчина скорее испытывает и даже выражает по отношению к женщине, нежели женщина по отношению к нему, хотя казалось бы, повторяю, что она имела бы на это неоспоримо больше оснований, чем он. Но именно потому, что обрисованные нами черты женственности являются достоинством женщины, действительным ее достоинством, т. е. достоинством нравственным, она и не испытывает подобного безнравственного в корне спесивого чувства: спесь претит ее природе как женщине, точно так же, как напротив, скромность гармонически ей соответствует. Все дело в грунте, подпочве — доброте, коренящейся в самом женском начале, подсознательно присущей женщине и образующей, как уже говорилось, основу для сознательного воспитания ею себя в нравственных правилах, в том числе и в нравственном правиле скромности. Во всяком случае «петушится», да простит мне читатель это выражение, но оно очень точно выражает суть того, что мы хотим сказать, скорее мужчина. И не дело мужчины обижаться за то выражение, — ведь в его власти перестать петушиться.

Нравственное правило скромности, составляющее необходимую внутреннюю, душевную атмосферу для образования себя в духе этического принципа мудрости — веры в человека, надежды на торжество добра и любви к жизни — тоже подготовлено в психологии женщины, как уже говорилось, ее исконной добротой, неотъемлемой чертой женственности как таковой. Сколько добрых дел повседневно исполняет женщина на благо своей семьи и людей, но что-то не слышно, чтобы она трубила об этой на всех перекрестках! До того она считает, что все то, что делает хорошего, естественным и необходимым проявлением своей человеческой и женской природы. Поистине: скромность — одно из самых замечательных украшений женщины и она так же органично связана с добротой, как и эта последняя со всеми остальными неотъемлемыми чертами женственности. При этом скромность женщины отнюдь не противоречит ее же гордости, чувству собственного достоинства, ибо антипод скромности не гордость, не чувство собственного достоинства, но кичливость и спесь, унизительное чувство собственного превосходства над другими. Но именно высокое чувство гордости, собственного достоинства не позволяет женщине

опуститься и унизиться до подобных низменных чувств. Истинная, нравственная гордость, выражаемая в чувстве собственного достоинства, не мирится, как мы видели, с унижением этого чувства в другом, в чем бы такое унижение ни выражалось. Только благодаря этому нравственному правилу скромности, столь чудесно увязываемому с добротой, женщина неизмеримо реже, чем мужчина, изменяет такому принципу истинной человечности, какова мудрость — реже чем мужчина теряет под влиянием обстоятельств веру в человека, надежду на торжество добра и любовь к жизни: ведь в потере человеком самого себя (а утрата веры в человека есть именно потеря человеком самого себя!) сказывается нескромность, не позволяющая ему долго (ровно столько, сколько надо!) и терпеливо ждать, если иного выхода нет... Ему не иначе, как немедленно, во всяком случае не иначе, как при его собственной жизни необходимо осуществление идеала (как будто бы этого не всем хотелось бы!), в которой он по нескромности своей разуверяется, если по тем или иным причинам идеал этот медлит осуществлением, или же осуществляется на деле не так, как это представлялось в воображении (ведь всегда легче наметить, чем осуществить). Он сплошь и рядом забывает, что нравственный идеал осуществляется человечеством вечно, что все больше и больше к нему приближаясь, вследствие неустанной жертвенной деятельности, люди одновременно все больше отдаляются от него вследствие его прогрессирующей идеализации (вместе с ростом самого человечества), вследствие все бóльшего обогащения его в его идеальном содержании.

Человечество творит свой идеал, но ведь человечество и не стоит на месте. Оно беспрерывно растет, растет вместе с ним и его нравственный идеал. И иначе быть не может. Между прочим, такая нескромность, идущая, кстати, рука об руку с невежеством, отличает многих молодых людей на Западе, главным образом, из числа интеллигентов, которые вместо кропотливой и терпеливой повседневной революционной работы в массах, как тому учит марксизм-ленинизм, единственная революционная наука современности, наука побеждать наверняка, хотели бы одним махом свалить ненавистный капитализм и установить социализм, который они в своем воображении разукрашивают самыми радужными красками, ибо реальный социализм, победивший во многих странах, их не устраивает, как будто социализм — не естественное человеческое общество, нуждающееся в развитии и развивающееся на деле, но надуманное от начала и до конца и раз и навсегда законченное в своей идеальности. А так как чудес не бывает, а реальные условия жизни и борьбы их не устраивают, то эти молодые люди так же быстро разуверяются в своих идеалах, как и загораются ими.

И вот в отличие от такой нескромности, считающей человеческие жертвы в реальных условиях, вполне естественных, конечно, ибо других нет и быть не может, если не призвать на помощь сверхъестественное вмешательство божества, напрасными, скромность, напротив, никогда не разуверяется в людях, в жизни, в идеале. Скромность идет рука об руку с неутомимым трудолюбием и умеет терпеливо ждать. Недаром она образует необходимую душевную атмосферу для этического принципа мудрости. А кому такое умение ждать отпущено больше, чем женщине? Женщина терпеливо ждет, пока не повстречается на ее пути истинно достойный ее мужчина, который ее полюбил бы и которому она смогла бы подарить свою ответную и вечную женскую любовь, — ведь она не может навязываться мужчине. Женщина терпеливо ждет, пока не появится на свет зреющее в ней дитя. Женщина терпеливо ждет, пока это дитя не вырастет и не наберется сил. Женщина терпеливо ждет, пока ее повзрослевший ребенок не наберется ума, а потом и мудрости, ибо требуется большущее терпение, чтобы из несмышленыша сделать человека. Женщина терпеливо ждет, пока не вернется с фронта ее муж, сын или дочь. Женщина терпеливо переносит все тяготы и невзгоды жизни, терпеливо ждет вёдра. Женщина терпеливо ждет реализации добра — идеала человечности.

— Потому еще, что ей в исключительной мере присуще чувство ответственности — перед человечеством, а это означает чувство ответственности не только перед соотечественниками и современниками и не только перед жившими уже поколениями (ведь и они недаром жили!), но и перед всеми грядущими поколениями, чувство, не позволяющее ей опустить руки и отказаться от борьбы за коммунистический идеал оттого только, что идеал этот неосуществим сразу и сполна — в определенный отрезок времени. Женщина всегда думает о своем ребенке неизмеримо больше, чем о себе, стало быть, о будущем больше, чем о настоящем, и чувство ответственности за это будущее, чувство, составляющее оборотную сторону ее материнского чувства, органично увязывается в ней с ее высокой нравственной скромностью и, как и последняя, имеет своей подосновой все ту же женскую доброту. А ведь нравственное правило ответственности, синтетически включая в себя в качестве заключительного все прочие нравственные правила — правдивости, серьезности, самоотречения, справедливости, трудолюбия, собственного достоинства, последовательности, сострадания, скромности, — составляет ту внутреннюю душевную атмосферу, которая совершенно необходима, чтобы образовать себя в духе этического принципа поступка, повелевающего во всем и всегда поступать по совести, и не иначе, как по совести.



Женщина и идеал

Если принципы истинной человечности, в своей целокупности образующие нравственный закон совести, или, что то же, совесть как закон, имеют своим назначением добро как имманентное содержание совести, или, что то же, как верховный этический идеал человечества, то женственность является лучшей порукой реализации этого идеала в жизни. Ничто так убедительно не говорит об естественности этого, казалось бы, столь далекого от реальной жизни идеала, как женственность, в которой истинная человечность как идеал нашла возделанную почву для ее реализации на деле. Так резко расходится этот идеал человечности во многих чертах, встречающихся в мужчине, что если бы не женственность можно было бы вообще отчаяться в реализации идеала, а стало быть, и усомниться в его действительности: уж не выдаем ли мы за идеал то, что на самом деле таковым не является и не упускаем ли мы тем самым из вида настоящий идеал?

Нет, друзья, наш идеал прямым и непосредственным образом связан с самóй общественной и трудовой, творчески-преобразовательной и нравственно-революционной природой человека, состоит он не в чем ином, как в очеловечении существующего, в творческом преобразовании мира на началах истины, правды и красоты, в коммунистическом переустройстве общества как социальном фундаменте этого нового мира и в очеловечении самого человека как прямом действии этого творческого преобразования мира на началах добра — истины, правды и красоты в идеале, или, что то же, идеальной истины, идеальной правды, идеальной красоты. И если бы даже вся история человечества, его материальной и духовной культуры не свидетельствовала прямым и непосредственным образом в пользу нашего идеала и его жизненности, то наличие женственности, женского начала в природе вещей, как нельзя ярче демонстрировало бы его истинность, правдивость, красоту.

Может ли человек жить без идеала? Думаю, что нет, — как не может он жить без надежды. Человек не может жить без идеала уже благода-



ря своей творчески-революционной природе, устремленной вперед — к лучшему и ко все более лучшему. Сама общественная природа человека диктует ему идеал, и не только в смысле его насущной и жизненной необходимости для человека, но диктует и самоё содержание идеала, в чем именно до́лжно полагать этот идеал.

Каким же требованиям должен отвечать идеал? Имеется в виду идеал без всяких ограничений, или верховный идеал человечества. Можно было бы насчитать, по крайней мере, девять требований, обращенных к такому идеалу. *Первое.* Идеалом до́лжно полагать то, выше чего и представить себе невозможно. Это ясно само собой, иначе он не будет верховным идеалом, т. е. идеалом, выше коего нет и быть не может. *Второе.* Идеал этот не только не может противоречить всем остальным людским идеалам и любому из них в отдельности, но обязательно должен включать их в себе — все решительно людские идеалы — в качестве моментов. *Третье.* Идеал этот должен быть вечен, т. е. должен иметь для человечества неизменную (непременную) притягательную силу, не должен быть подчинен закону прехождения, — начиная с исторического происхождения человека — человеческого общества и пока не прейдет род людской. Если он когда-либо не был идеалом, переставал быть идеалом или не будет таковым когда-либо, это уже не идеал — не верховный идеал человеческого общества. *Четвертое.* Идеал должен быть способен к развитию, не переставая вместе с тем быть самим собой, — должен быть способен к беспредельному развитию, иначе его пришлось бы признать ограниченным, следовательно, пришлось бы признать нечто, что было бы выше его. *Пятое.* Идеал должен быть общезначимым, т. е. обязательно должен являться таковым как дли каждого отдельного человека, так и для всех людей, взятых вместе, и не только для нашего поколения, но и для всех живших и грядущих поколений, — положительно до скончания веков. Скажут, да ведь это то же самое, что говорилось в третьем требовании, т. е., что идеал должен быть вечен. Но это не так. Конечно, все пункты, как те, что уже названы, так и те, что еще будут названы для характеристики идеала, между собою теснейшим образом увязаны, ибо служат к характеристике одного и того же идеала, но не сводятся друг к другу: вечность идеала означает его объективную вечность (с момента происхождения человека и пока он будет существовать — только в этом определенном и весьма ограниченном смысле употребляется нами применительно к человеческому обществу слово «вечность»). Общезначимость же идеала, о котором трактуется в этом, пятом, требовании, есть субъективная его значимость для людей. *Шестое.* Идеал должен диктоваться самой природой человека, а не быть чем-то произвольным,

т. е. должен быть необходим, а не случаен. *Седьмое.* Идеал должен быть истинен, а не ложен, ибо всякого рода несбыточные фантазии (а их мы отличаем от научных фантазий) тоже сплошь да рядом диктуются человеческой природой. *Восьмое.* Идеал должен быть правдив, а не лжив. *Девятое.* Идеал должен быть красив, а не уродлив.

Таким идеалом является в общеэтическом плане идеал добра — имманентное содержание совести. Его социальным фундаментом является коммунистическое общественное устройство. Только и единственно идеал добра отвечает всем перечисленным требованиям, предъявляемым к верховному идеалу человечества, если под добром понимать новый мир, творимый человечеством в порядке реализации его творчески-революционной природы на основе высшего, идеального синтеза истины, правды и красоты. Нет более достойного применения для нравственной энергии человека, чем строительство нового, очеловеченного мира. Самый смелый фантастический ум не способен вообразить себе лучшее приложение творческим силам и способностям человека, применение, которое в такой же мере, как творчество нового мира, исчерпывало бы все стороны его материальной и духовной жизни, которое доставляло бы ему столько же высокого удовлетворения и в то же время, что важнее всего, так же естественно и просто, прямо и непосредственно, проистекало бы из его революционной творчески-преобразовательной природы.

Идеал творчества нового мира состоит в разрешении морально-осознанного противоречия между бытием и долженствованием (между сущим и должным), противоречия, коренящегося в самом процессе труда, органически связанного с само́й общественной сущностью человека и составляющего основу всего его сознания — интеллектуального, эстетического и морального. В труде возникает то противоречие между сущим и должным, стихийным и разумным, которое и определяет человека в его нравственной сущности революционного преобразователя старого и творца нового мира. Именно в материальном процессе труда из слепого сопротивления природного материала разумной энергии человека рождается то объективное противоречие, которое отзывается в зарождающемся человеческом общественном сознании как морально-осознанное противоречие между наличным бытием и долженствованием, морально-осознанное противоречие, имманентное самой совести человека и составляющее живую клеточку его нравственного сознания.

В этой «клеточке», в противоречии между бытием и долженствованием, бытию соответствует истина — как правильное его постижение в результате творчески-преобразовательной деятельности человеческой познавательной способности, долженствованию — соответствует прав-

да как правильное его постижение в результате той же творчески-преобразовательной деятельности человеческого сознания; противоречию между бытием и долженствованием соответствует красота — как правильное постижение меры разрешения противоречия между бытием и долженствованием в процессе общественно-исторической практики людей, в процессе совершающейся исторически их творчески-преобразовательной деятельности по очеловечению существующего, по созиданию нового, разумного мира, по объективной реализации человеком своего исторического назначения творца добра. Идеал положительно неисчерпаем, как неисчерпаема и сама стихийная сторона жизни, подлежащая преодолению и в действительности преодолеваемая целенаправленной деятельностью общественно-исторического человека.

До социалистической революции, в предысторию человечества, созидание нового мира человеком происходило преимущественно стихийно, именно в порядке объективной реализации им своей общественной, трудовой, творчески-преобразовательной сущности. Начиная же с Октября 1917 года, когда были заложены основы действительной истории человечества, покончившей уже на большой части Земли с эксплуатацией человека человеком, созидание нового мира человеком совершается уже — опять-таки преимущественно — сознательно. Сознательное творчество нового мира человеком начинается с создания его общественного фундамента — коммунистической общественно-экономической формации. И фундамент этот развивается и углубляется вместе с последовательно-поступательным созиданием нового очеловеченного мира в процессе общественно-исторического развития человечества — вечно.

Многие понимают общество, основанное на началах истинной человечности, — коммунистическое общество — слишком ограниченно, представляя его себе только как известное общественное устройство, ограничивая его рамками отношений между людьми и рисуя его себе как известную общественно-экономическую формацию, стоящую в одном ряду со всеми прочими общественными формациями, уже пережитыми человечеством. Они обычно любят щегольнуть такими учеными и «коварными» вопросами: а что будет после истинно-человечного — коммунистического — общества, ведь все общественные формации преходящи, следовательно, и это общество должно нести на себе печать разложения и уничтожения, превращения в свою «противоположность». А наиболее глубокомысленные из «критиков» обычно вопрошают: если противоречие является движущим источником всякого развития, то каким образом будет развиваться истинно-человечное — коммунистическое — общество, — ведь в нем противоречий не будет, в частности, не будет морально-

осознанного противоречия между бытием и долженствованием, которое мощным образом стимулирует деятельность нравственно мыслящего человека в настоящем; не означает ли подобный рай, к которому стремятся революционеры, полнейший и безысходный застой мысли, деятельности? Не говоря уже о том, что критики эти самым непозволительным образом смешивают чисто стихийное развитие, совершающееся в природе, которое и в самом деле с необходимостью приводит к смене одного качества его противоположностью, с общественно-историческим развитием, в котором стихийное развитие носит на себе могучую печать разумной энергии человека с его свободно-необходимой творчески-преобразовательной природой; не говоря уже, далее, о том, что и в обществе человечество вечно (доколе живо будет само общество — само человечество) будет разрешать это же морально-осознанное противоречие между бытием и долженствованием, ибо разрешенное уже противоречие необходимо составляет основу для нового противоречия этого же рода, — они ошибаются в своей исходной посылке: истинно-человечное — коммунистическое — общество не представляет собой общественной формации, стоящей рядом с прочими общественными формациями и среди них. Все известные формы общественного устройства представляли собой последовательно-исторические усилия людей, направленные на создание общественного фундамента нового мира, тогда как истинно-человечное — коммунистическое — общество предполагает завершение этого фундамента и начало сооружения самого здания нового мира, есть общественное устройство, которое адекватно самому человеку в его раскрытой в процессе предшествующего исторического развития человеческой сущности. Мы не говорим уже о том, что люди, направляющие свою «критику» против истинно-человечного — коммунистического — будущего, не предлагая при этом ничего взамен, кроме увековечения неприглядного настоящего (их настоящего!), тем самым расписываются в своем глубоком безразличии к судьбам и надеждам человечества.

Коммунистический идеал составляет, стало быть, неотъемлемую часть верховного этического идеала человечества — идеала добра, — соответствуя тому его компоненту, который мы называем правдой. Такими же неотъемлемыми его частями являются познавательный идеал — истина и эстетический идеал — красота. Реальным прообразом идеальной красоты служит для нас одухотворенная женская красота. Красота женщины, красота ее тела, ее души, ее духа являются для человечества залогом и эталоном всякой иной красоты — красоты мысли, поступка, деяния, красоты творимого человеком нового мира, — одним словом, всего творимого им как добро — прекрасное. Эта красота служит лучшим и

ярчайшим гарантом того, что и идеальная красота, являющаяся наряду с идеальной же истиной и идеальной правдой необходимым компонентом добра, являющаяся, как уже указывалось, мерой совершенства нового мира и его творца — человека, что эта идеальная красота не есть измышление гордого человеческого ума, но является идеальным обобщением реального человека.

Лучшим гарантом верховного этического идеала человечества — идеала добра, — повторяю, является изящество женщины, нежность женщины, стыдливость женщины, любовь женщины, материнство женщины, доброта женщины, — одним словом, женственность. Женственность — олицетворение всего самого высокого на Земле. Этим и определяется роль женского начала в нравственной развитии человечества. Она не поддается оценке. Если мы все, люди, и мужчины и женщины, и взрослые и дети, лучше, чем могли бы быть, и если мы, что еще важнее, сделаемся лучше, чем мы есть теперь, то этим мы в первую очередь обязаны женственности и ее необоримому влиянию на жизнь человека. Недаром во все времена все лучшие чаяния людские поэты, композиторы, живописцы, ваятели воплотили в образе женщины — естественной носительницы и хранительницы всего прекрасного. Всё светлое, мягкое, ласковое, лирически нежное и поэтически высокое связывалось и связывается с бесконечно милым женским существом. Афродита Книдская Праксителя до сих пор служит идеалом человеческой красоты — и телесной и духовной, — идеалом женственности.

Сколь велико нравственное значение этого образа богини в жизни человечества очень хорошо, ярче чем в каком бы то ни было другом произведении мировой литературы, показано в известном рассказе Глеба Ивановича Успенского «Выпрямила» (впервые напечатан в 1885 г. в журнале «Русская мысль»). Этот рассказ давно уже стал классическим, вошел во все хрестоматии по русской литературе и во все учебные программы родного языка, на него часто ссылались авторы трудов по эстетике, не можем обойти его и мы, так как он самым непосредственным образом касается нашей темы. Мало того, он в настолько концентрированной форме и так высокохудожественно выражает основную тенденцию нашего сочинения, что по справедливости должен послужить канвой для его заключительной главы. К тем или иным частностям этого рассказа мы в дальнейшем изложении будем возвращаться не раз, сейчас же воспроизведем его краткое содержание. Человек, исстрадавшийся душой от царящих в мире несправедливости и горя, отдающий себе ясный отчет в том, что и эта несправедливость и это горе — прямое следствие несправедливого общественного устройства, сам сверх всяких сил ис-



пытавший на себе несправедливость и хлебнувший горя, униженный и оскорбленный в своем человеческом достоинстве — не столько даже за себя, сколько за своего ближнего, впервые увидел статую Венеры Милосской. Она поразила его в самоё сердце, так потрясла все его существо, что он мгновенно прозрел, как будто его насильственно разбудили от долгого и кошмарного сна, и он внезапно обрел в себе чуть было не утраченную им вовсе веру в человека и в его высокое призвание на Земле. Одним словом, бессмертная богиня «выпрямила» его, согбенного под жестокими ударами жизни, исцелила его истерзанную и искалеченную душу, выпрямила его как человека, ибо вернула ему чувство собственного человеческого достоинства, возродила уже только тлевшее в нем уважение к самому себе как к человеку, в буквальном смысле слова открыла в нем человека и внушила ему ни с чем не сравнимое счастье быть этим человеком. И в то же мгновение, когда он почувствовал себя «выпрямленным», он «немедленно же» начал думать о том, «как несчастлив человек» на деле, в действительной жизни. После встречи с богиней в его голове уже просто не укладывалось, «каким образом можно было допустить, чтобы человеческое достоинство, чтобы человек был так глубоко оскорблен. Человека — и сметь так осрамить! Человека-то сделать таким несчастным, так его всего скомкать, испачкать грязью!..»

Этот рассказ, если я не ошибаюсь, Л. Н. Толстой, которого так же неотступно, как и Тяпушкина (героя рассказа Успенского), терзали нравственные проблемы, включил в свой знаменитый «Круг чтения» — наряду с такими перлами, как трогательная до слез «Душечка» А. П. Чехова, маленький рассказ о большой женской верности.

Всемирная литература богата образами идеальных по красоте женщин. В этих образах величайшие писатели всех времен воплотили свои лучшие мечты об идеале человечности, выраженном в женственности. Беатриче Данте в этом смысле едва ли не наиболее нарочитый образ: преклонение перед женской красотой, прямое обожествление ее достигли в этом образе своего апогея. Свою рано умершую возлюбленную, которая и вовсе не подозревала о его любви к ней, которую он любил тайно, робко и почтительно, он наделил в своем воображений и в своей «Комедии» всеми мыслимыми и немыслимыми совершенствами, заставив ее сверкать в веках. Многие из вымышленных женских имен, которыми столь богаты литературы всех времен и всех народов, глубоко запали в душу людей, очищая их от всего, что оскорбляет человеческое достоинство. И среди этих имен особым ореолом, я бы сказал, ореолом святости, окружены для нас образы женщин-мучениц, образы тягостные и светлые в одно и то же время, образы тоже созданные гениями литературы и искусства,

но в которых воплощен выстраданный протест лучших из людей против эксплуататорского строя, обездоливившего женщину, обрекшего ее на непосильный труд, на беспросветную нужду, на безотрадное и унизительное существование, изуродовавший и огрубивший ее, от природы красивую и нежную. Неточка Незванова (одно имя и прозвище чего стоят!) в этом ряду скорбных женских имен едва ли не самый выразительный литературный образ, как и «Плачущая женщина» Винсента Ван Гога — живописный. Разве не надрывает нам душу это страшное и безысходное горе сидящей в одиночестве бедной женщины. Эта женщина, по всему видно, «привыкла» и к тяжкому труду, и к бесконечным лишениям, и к повседневным унижениям и невзгодам, она, конечно, в этом смысле «закалена» — всеми закономерностями эксплуататорского общества — и, вероятно, даже потеряла способность плакать. Поэтому должно было с ней стрястись что-то уже и вовсе необыкновенное, из ряда вон выходящее, чтобы она вот так, целиком ушла в свое горе (илл. 83). Может быть, она потеряла своего ребенка или мужа, может быть, кто-то надругался над ее женскою честью, может быть, она влюблена и из-за своей несчастной бедности безнадежно, а ведь она еще молода и красива, и хотя лица ее мы не видим, мы чувствуем это по ее нежной шее и подбородку, по ее неожиданно кокетливой в этой обстановке прическе. А может быть просто количество перешло в качество, как говорят философы, и в ее сознание ворвалась жалящая мысль о бесцельном и забитом существовании, о загубленной жизни и заставила ее так разрыдаться. Кто знает?!..

А согбенные в три погибели женщины, несущие уголь?! Кстати, женщины в этот момент не как работницы несут уголь, но несут его из дальних разработок для себя. Они набирают его бесплатно. Но какой это уголь? Женщины сгребают отходы угля, туго набивая ими свои мешки, угольную пыль, суррогат угля, то, что уже никак не годится в продажу и выбрасывается на свалку за ненадобностью. От этого неимоверная тяжесть их ноши становится еще и предельно унизительной, — и все это ради того, чтобы хоть сколько-нибудь, с едким дымом и чадом пополам, отогреть свои промерзшие убогие жилища. Легко понять, как надрывают свое здоровье, катастрофически сокращают свои жизни и уродуют себя, свою естественную человеческую красоту, эти поистине «бедные люди», бедные женщины. Нетрудно ведь понять, что они занимаются этим в «свободное» время, после изнурительного рабочего дня, когда они возвращаются, наконец, смертельно усталые с работы и берутся за приготовление пищи и прочую унылую домашнюю работу, работой вовсе и не считающуюся. Разве уже одна эта картина Ван Гога не является настоящим обвинительным приговором буржуазному строю, вынесенным великим

страдальцем, приговором, не подлежащим никакой апелляции, никакому дальнейшему обжалованию, ибо это приговор самой совести человечества (илл. 84). И если бы мы позволили себе такую параллель, а что могло бы этому помешать? — не сказали ли бы мы, что Достоевский — это Ван Гог в литературе, тогда как Ван Гог — это Достоевский в живописи.

Капитализм уродует не только телесную красоту женщины и не только душевно калечит ее, он извращает и развращает ее духовно, искажает ее моральный облик. С потрясающей силой этот факт показан на полотнах и в картинах Анри де Тулуз-Лотрека, с исключительной документальностью запечатлевшего тему продажной любви и образы проституток. Каждое его произведение — обвинительный приговор обществу, превратившему самое интимное в жизни женщины — любовь — в предмет профессии, тяжкого «труда». Произведения Лотрека тем более вопиют против частнособственнической основы строя эксплуатации, что художник был далек от морализирования по поводу им изображенного. Однако, как правильно заметила автор монографии о замечательном художнике, сделавшем главной темой своего творчества человека, Н. И. Воркунова, «отсутствие морализирования отнюдь не есть отсутствие оценки, хотя отношение художника к изображаемым явлениям не обнаруживается прямолинейно, а иной раз даже замаскировано собственно художественными находками.

Уже само изображение повседневного быта проституток как устоявшегося, имеющего свои порядки и традиции образа жизни, ставшего для этих женщин обыденным, нормальным, едва ли не естественным способом существования — уже этот подход к теме воплощает глубоко пессимистический взгляд Лотрека на современное ему общество, где аморальное и противоестественное оказывается приемлемым и привычным. Величайшее надругательство над личностью и достоинством человека, ставшее прозаической нормой существования, — сама констатация этого факта оборачивается решительным обвинением обществу.

Ужасное, ставшее обыденным, и обыденное, таящее в себе нечто ужасное, — таковы два аспекта видения мира, питающие творческий метод Тулуз-Лотрека и составляющие содержание его гротеска» (*Воркунова Н.* Тулуз-Лотрек. М.: Наука, 1972. С. 174–175).

Тему Тулуз-Лотрека в литературе продолжил наш соотечественник А. И. Куприн в знаменитом романе «Яма».

Я очень долго думал, дать ли из серии работ Лотрека здесь, в трактате о женственности и в главе «Женщина и идеал», хотя бы одну, и если дать, то какую. А потом решил: какое же я имею право не дать, если дело идет о самой насущной задаче человечества — решительного ниспровер-



жения общественного строя, одинаково калечащего нравственный облик и женщины и мужчины, и остановил свой выбор на одной-единственной, кажущейся мне особенно страшной картине Лотрека «Со своей милой (В кабачке)» (илл. 85). «В картине Лотрека представлены не просто усталые люди “низшего” круга, но уже явно личности, находящиеся на самом дне буржуазного общества. Их облик и манеры не оставляют сомнения в том, что здесь представлены стареющая проститутка и сутенер. Оба они, в особенности мужчина, сильно нетрезвы... Оба смотрят куда-то влево, как будто навстречу входящие в кафе посетителям и, очевидно, в расчете на какую-то поживу. Женщина прищуренными глазами выискивает “клиента”, на лице сутенера скользит гнусная развязная усмешка. Во всем облике этих людей — женщины с помятым опухшим лицом и рыжими крашеными волосами, мужчины в потрепанном котелке и полосатом шарфе — вызывающе проявляются их вульгарность и порочность» (*Воркунова Н.* Тулуз-Лотрек. М.: Наука, 1972. С. 69–70).

Нет, решительно нет: не вяжется с нравственным сознанием человечества этот образ изуродованной женской красоты, как и эксплуататорский антиобщественный строй, его породивший! И напротив, как нельзя лучше гармонируют с нравственным идеалом людей образы торжествующей женской красоты. Торжество совести всегда, во все времена ассоциировалось с торжеством женственности, как и угнетение совести — с угнетением женственности.

Нравственное действие женской красоты неотразимо. При этом на человека действует весь комплекс женственности, если можно так выразиться, — каждый из ее компонентов с одинаковой силой. До такой степени они органично слиты в женственности, что трудно подчас бывает определить, что же в том или ином случае превалирует, какая именно черта женственности действует на нас всего более, хотя первый толчок в этом смысле, как правило, сообщается той именно чертой женственности, которую мы назвали изяществом и которая, характеризуя первее всего бросающийся в глаза внешний облик женщины, естественно, прежде всего и поражает наше воображение и, как об этом уже говорилось, воображение не только мужчин, но и женщин же, и не только взрослых, но и детей. Ее нежность мы поначалу узнаем не столько в собственном выражении последней, сколько выраженной в тех же изящных чертах ее лица и фигуры, манер. Стыдливость женщины мы при первом с ней знакомстве не столько узнаем, сколько угадываем по тем же чертам нежности и изящества ее натуры. Любовь же женщины мы, конечно, узнаем, когда сами воспылали к ней любовью и интуитивно ощутили в ней ответное чувство. Надо сказать, что в любящем очень сильно раз-

вита интуиция в отношении всего, что касается до его возлюбленной, интуитивное чувство едва ли не больше обострено в нем в отношении всего, что связано с его любовью, нежели в отношении всего остального в его жизни. Материнское чувство любимой и любящей женщины распространяется на нас, непосредственном предмете этой женской любви, еще гораздо раньше, нежели она делается матерью; ее повседневную опеку над любимым, ее трогательную заботу о нем иначе как материнской опекой и материнской заботой не назовешь. Развертывается же это материнское чувство в ней по мере созревания в ней ее собственного ребенка и раскрывается полностью с его появлением на свет. Но хотя это чувство материнства и в самом деле раскрывается с рождением ребенка, это, конечно, не значит, что оно останавливается в своем развитии, — как раз напротив, оно продолжает развертываться в ней уже на новой основе до масштабов доброты, изливаемой на все человечество. И ничто не в состоянии устоять перед великой нравственной силой этой всепобеждающей женской доброты. Решительно каждая из черт женственности имеет нравственное значение, облагораживающе действует на наше сознание. Однако в доброте это нравственное действие всех остальных черт женственности как бы соединилось воедино, выступает с огромной сосредоточенной силой.

Очень ярко и убедительно могучее нравственное воздействие женского начала на душу человеческую показал Г. И. Успенский в том же рассказе «Выпрямила». Правда, Успенский стремится доказать, будто автор Венеры Милосской вовсе не думал ни о женской, ни о мужской красоте, ни вообще о поле, но только о человеческом. Но в этом мы позволим себе с ним не согласиться. Скульптор, несомненно, думал именно о женской красоте, но под ней изобразил женственность. Женственность же, согласно нашему определению, — это человечность в женщине, точнее, истинная человечность в женщине, как о том говорилось выше (в главе «Существо женственности»). Следовательно, думая о красоте женщины, скульптор думал о красоте человеческого существа вообще, нашедшей в красоте женской свое наивысшее, идеальное выражение. И как вообще можно выразить человеческую красоту вне пола? А если выразить ее в поле, то не естественнее ли взять за образец именно прекрасный женский пол? Весь этот рассказ, возвращаемся к рассказу Г. И. Успенского, целиком, как я уже говорил, посвящен разрабатываемой мною в настоящем сочинении теме. Рассказ ведется от первого лица и его герой начинает с того, что выражает сомнение в справедливости слов И. С. Тургенева, — о том, что «Венера Милосская несомненнее принципов восемьдесят девятого года». С его, Тяпушкина, точки зрения

«все мы, я, Тяпушкин, принципы и Венера — все мы одинаково *несомненны*, т. е. моя тяпушинская душа, проявляя себя в настоящее время в утомительной школьной работе, в массе ничтожнейших, хотя и ежедневных волнений и терзаний, наносимых на меня народною жизнью, действует и живет в том же самом несомненном направлении и смысле, которые лежат и в несомненных принципах и широко выражаются в несомненности Венеры Милосской». Под несомненными принципами герой Успенского, как и герой тургеневского «Довольно», понимал «Декларацию прав человека и гражданина», в которой отразилось нравственное сознание той эпохи, — иными словами, отразились принципы истинной человечности в их тогдашнем историческом проявлении.

Далее он рассказывает, как поразили его воображение три встречи с женщиною и как эти встречи укрепили в нем все светлое. Первая женщина поразила его своим изяществом. Он засмотрелся на деревенскую девушку, ворошившую сено. «Вся она, вся её фигура... была так легка, изящна, так “жила”, а не работала, жила в полной гармонии с природой, с солнцем, с ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и её тело и её душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее, думал и чувствовал только одно: “Как хорошо!”».

Другая встреча с женщиною: «Нет уж ни солнца, ни света, ни аромата полей, а что-то серое, темное, и на этом фоне — фигура девушки строгого, почти монашеского типа. И эту девушку я видел также со стороны, но она оставила во мне также светлое, “радостное” впечатление потому, что та глубокая печаль — печаль о *не своем горе*, которая была начертана на этом лице, на каждом её малейшем движении, была так гармонически слита с её личною, собственною её печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали её *одну*, не давая ни малейшей возможности проникнуть в её сердце, в её душу, в её мысль, даже в сон её чему-нибудь такому, что бы могло “не подойти”, нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла...» По свидетельству А. И. Иванчина- Писарева, встреча Г. И. Успенского с В. Н. Фигнер, с «человеком высшего порядка», в ком «идея не отделилась от его существа», повлияла на создание этого замечательного в своей нравственной чистоте образа: «Именно В. Н. Фигнер, приговоренная в 1884 году к смертной казни, замененной 20-летним заключением, выведена в образе “девушки строгого, почти монашеского типа”, которая так потрясла душу Тяпушкина».

Наконец, третья встреча с женщиною, навсегда запавшая в душу героя рассказа Г. И. Успенского, была встреча в Лувре с Венерою Милосскою: «Хотите — верьте, хотите — нет, но я вдруг, не успев опомниться и сообразить, очутился не в своей берлоге с полуразрушенною печью и



промёрзлыми углами, а ни много, ни мало — в Лувре, в той самой комнате, где стояла она, Венера Милосская...»

С тех пор этот бессмертный образ богини, и в самом деле виденный им «не меньше 12 лет тому назад», в 1872 году, в Париже, куда он случайно попал вместе с семьей, где он давал уроки, и попал, когда всё еще живо напоминало о трагических, так потрясших все его существо и так измучивших его днях потопления в крови Парижской коммуны — воплощенной справедливости тех лет, — с тех самых пор этот бесконечно женственный образ бессознательно для него самого рождал в нем всё радостное и светлое, истинно доброе и человечное, единственное его утешение в несчастье...

И вспомнился ему душивший его во сне кошмар, когда он чувствовал каждую минуту, что «несчастие» сверлит его мозг, что горе его жизни точит его всего каждую секунду... «И вдруг, во сне же, я почувствовал что-то другое; это другое было так не похоже на то, что я чувствовал до сих пор, что я хотя и спал, а понял, что со мной происходит что-то хорошее; ещё секунда — и в сердце у меня шевельнулась какая-то горячая капля, ещё секунда — что-то горячее вспыхнуло таким сильным и радостным пламенем, что я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и открыл глаза.

Сознания несчастия как не бывало; я чувствовал себя свежо и возбуждённо, и все мои мысли, тотчас же, как только я вздрогнул и открыл глаза, сосредоточились на одном вопросе: Что это такое? Откуда это счастие? Что именно мне вспомнилось? Чему я так обрадовался?

Я был так несчастлив вообще и так был несчастлив в последние часы, что мне непременно нужно было восстановить это воспоминание, обрадовавшее меня *во сне*; мне стало страшно даже думать, что я “не вспомню...”».

И всплыло в его сознании первое воспоминание — о встрече с первою женщиною, — но оно лишь «чуть-чуть подходило к тому впечатлению». И всплыло в его сознании второе воспоминание, — трогательный образ печальной девушки, являвшей собою такую естественную гармонию самопожертвования, что «при одном взгляде на нее всякое “страдание” теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, лёгким, успокаивающим и, главное, *живым*, что вместо слов: “Как страшно!” заставляло сказать: “Как хорошо! Как славно!”».

И всё же и это воспоминание не давало нужного покоя, не давало ответа на вопрос о причине так властно охватившего его во сне чувства полноты счастья, пока в его сознании, как вы уже догадываетесь, читатель, не всплыл третий образ — прекрасный образ Венеры Милосской:

«Да, вот она теперь совершенно ясно стоит передо мною, точь-в-точь такая, какою ей быть надлежит, и я теперь ясно вижу, что вот это самое и



есть *то*, от чего я проснулся; и тогда, много лет тому назад, я так же проснулся перед ней, так же "хрустнул" всем своим существом, как бывает, "когда человек растет", как было и в нынешнюю ночь.

Я успокоился: больше не было в моей жизни ничего *такого*...»

Таково действие Венеры Милосской. Все идеальное, все возвышенное, все прекрасное, что есть в человеке, соединилось в этом образе и светится в нем как бы изнутри, излучаясь на нас великим нравственным благодеянием, будит в нас все лучшее, гонит вон из нас все худшее, делает нас чище, растит в нас человека. И так она действует и на современное нам человечество во всех частях света, и так она действовала на все прошедшие его поколения в течение двух с лишним тысяч лет, с самых тех пор, как ему, человечеству, посчастливилось впервые встретиться с нею, и так она будет действовать во веки веков, облагораживая людей все более.

Одним словом, женская красота «выпрямляет» душу человека, как бы исковеркана она ни была. Много лет позже, почти столетие спустя, уже наша современница Анна Зегерс устами героя повести «Через океан. История одной любви» в следующих словах выразит ту же мысль: «Я не понимал тогда, что наполнявший эту девочку внутренний свет и окружавшее ее сияние называют красотой, которая поражает даже самых угрюмых людей и пробуждает радость» (Иностр. лит. 1972. Янв. № 1).

Как же должна была действовать на своих собственных современников Венера, впервые появившись на свет, как должно было действовать само, фигурально выражаясь, «Рождение Венеры»? О том настоящем восторге, который обуял людей, впервые ее лицезревших, рассказывает древнеримский писатель Плиний: «Выше всех произведений не только Праксителя, но и вообще существующих во вселенной, находится Венера его работы. Чтобы ее увидеть многие плавали на Книд. Пракситель одновременно изготовил и продавал две статуи Венеры, но одна была покрыта одеждой — ее предпочли жители Коса, которым принадлежало право выбора. Пракситель за обе статуи назначил одинаковую плату, но жители Коса эту статую признали серьезной и скромной; отвергнутую ими купили книдяне. И ее слава была неизмеримо выше. У книдян хотел впоследствии купить ее царь Никомед, обещая за нее простить государству книдян все огромные числящиеся за ними долги. Но книдяне предпочли все перенести, чем расстаться со статуей. И не напрасно. Ведь Пракситель этой статуей создал славу Книду. Здание, где находится эта статуя, все открыто, так что ее можно со всех сторон осматривать. Причем верят, будто эта статуя была сооружена при благосклонном участии самой богини. И ни с одной стороны вызываемый ею восторг не меньше...» (илл. 86, 87), (*Колпинский Ю*. Искусство Древней

Греции // Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1956. Т. 1: Искусство Древнего мира. С. 240).

Можно думать, что и «Рождение Венеры» Боттичелли должно было произвести такое же неизгладимое впечатление на его современников, людей Высокого Возрождения, как и «Афродита Книдская» на людей Высокой Классики, коль скоро и мы, не раз видавшие эту картину просто в репродукциях, не в силах оторвать от нее взора.

Образ Венеры как идеал женственности и человечности вообще вдохновлял художников на всем протяжении истории. Не менее знаменитой, чем «Афродита Книдская», — пишет уже цитировавшийся нами в самом начале нашей книги (в главе «Венец творения») историк античного искусства Ю. Д. Колпинский, — была «Афродита Анадиомена» Апеллеса, украшавшая храм Асклепия на острове Ко́се. «Апеллес изобразил обнаженную Афродиту выходящей из воды и выжимающей из волос морскую влагу. Современников в этом произведении поражало не только мастерское изображение влажного тела и прозрачной воды, но и светлый, "сияющий негой и любовью" взгляд Афродиты» (*Колпинский Ю.* Искусство Древней Греции // Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1956. Т. I: Искусство Древнего мира. С. 249).

Является настоящей трагедией, что два самых знаменитых произведения античности, посвященных женственности, до нас не дошли. Но больше все же посчастливилось скульптору Праксителю, нежели живописцу Апеллесу, благодаря многочисленным, хотя и, по уверениям авторитетов, невысокого качества копиям и изображениям на монетах. «На основании монет, — пишет Б. Р. Виппер, — как наиболее точная копия с Книдской Афродиты была идентифицирована ватиканская статуя. Но ватиканская копия не в состоянии воспроизвести очарование оригинала, вызывавшее такое восхищение у античных зрителей» (*Виппер Б. Р.* Искусство Древней Греции. М.: Наука, 1972. С. 252). И если несомненная ценность римских копий в том, что они позволяют, хотя и весьма приблизительно, судить о греческом оригинале, то ценность статуй, «навеянных праксителевским образом и сохраняющих его обаяние», созданных греческими мастерами IV–II вв. до н. э., в том, что они «в отличие от римских копий, доносят до нас поэтическую прелесть и тонкость художественного языка поздней классики», — пишет Ю. Д. Колпинский. И как на пример такого близкого Праксителю творчества он ссылается на «выполненную современным ему мастером мраморную голову Афродиты или Артемиды, очаровательную своей поэтически-мечтательной взволнованностью и живописной мягкостью моделировки» (илл. 88), (*Колпинский Ю. Д.* Искусство эгейского мира

и Древней Греции // Памятники мирового искусства. М.: Искусство, 1970. Вып. 3. Сер. первая. С. 83).

«Афродита Книдская» Праксителя послужила прообразом для последующих изображений богини. В частности, нельзя пройти мимо мраморной статуи Афродиты III в. до н. э., получившей название «Венеры Таврической» (илл. 89) и хранящейся у нас, в ленинградском Эрмитаже. Скульптура представляет римскую копию. Она была найдена в 1718 г. во время раскопок в Риме и куплена по приказанию Петра I. «Неизвестный скульптор III в. до н. э., — пишет искусствовед Ю. Г. Шапиро, — изобразил богиню любви и красоты Венеру обнаженной. Стройная фигура, округлые, плавные линии силуэта, мягко моделированные формы тела — все говорит о живом и чувственном восприятии женской красоты. Наряду со спокойной сдержанностью (поза, выражение лица), обобщенной манерой, чуждой дробности и мелкой детализации, а также рядом других черт, свойственных искусству классики (V–IV вв. до н. э.), создатель Венеры Таврической воплотил в ней свое представление о красоте, связанное с идеалами III в. до н. э. (легкие пропорции — высокая талия, несколько удлиненные ноги, тонкая шея, маленькая головка, наклон фигуры, поворот корпуса и головы и т. д.)» (*Шапиро Ю. Г.* По Эрмитажу без экскурсовода. Л.: Аврора, 1972. С. 26). Нельзя сомневаться в том, что мастер не избежал влияния традиций, созданных в изображении Афродиты Праксителем всего лишь за столетие до того. Надо полагать, что и прямых подражаний было немало, и не только в древнегреческом и древнеримском искусстве, но и в европейском искусстве всех последующих веков. Однако наибольшую известность и славу, можно сказать, всеобщее поклонение, снискала к себе «Афродита (Венера) Милосская» работы Агесандра (или Александра) III–II вв. до н. э. из Лувра (илл. 90, 91), так поразившая героя повести Успенского. Свое название статуя получила по острову Мелос, где она была найдена в 1820 г. «В зависимости от аспекта зрения, — пишет об этой статуе искусствовед Е. Ротенберг, — фигура богини кажется то гибкой и подвижной, то полной величавого покоя. При всей идеальности форм тело богини поражает своей изумительной жизненностью... Наконец, главная черта, представляющая особую привлекательность этого произведения, — это этическая высота образа. В эллинистическую эпоху, когда в многочисленных изображениях Афродиты подчеркивалось прежде всего чувственное начало, автор Афродиты Милосской сумел подняться до осознания идеала высокой классики, когда красота образа была неотделима от его высокой нравственной силы» (*Ротенберг Е.* Искусство эпохи эллинизма // Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1956. Т. 1: Искусство Древнего мира. С. 269–270).

К сожалению, в дальнейшем и вплоть до наших дней эта этическая высота образа уже не достигалась, несмотря на все примечательное, привносившееся в образ Афродиты-Венеры каждым из великих художников — живописцев и скульпторов. Всемирно прославлена, в частности, «Спящая Венера» Джорджоне (илл. 92). Об этой картине, настоящей жемчужине Дрезденской галереи, исследователь (Ю. Д. Колпинский) утверждает, что хотя она осталась незаконченной и, мало того, «утратила некоторые свои живописные качества вследствие ряда повреждений и неудачных реставраций», «именно в этом произведении с большой гуманистической полнотой и почти античной ясностью, раскрылся идеал единства физической и духовной красоты человека». Мне представляется, что в скульптуре этот же образ «Спящей Венеры» очень удачно воспроизведен М. Г. Манизером. Свое произведение скульптор скромно назвал «Этюдом» (илл. 93). Во всяком случае этот образ спящей женщины воспринимается нами как идеальный, «божественный» образ женской красоты по сравнению с им же созданными прекрасными женскими «земными» образами, каковы «Девушка с луком» (илл. 94), «Девушка с бусами» (илл. 95) и «Физкультурница» (илл. 96).

В высшей степени своеобразную трактовку образа богини красоты дал еще в конце XVI в. представитель позднего итальянского Возрождения скульптор Амманати. Его «Венера», хранящаяся в Палаццо Веккьо во Флоренции, поражает своей рафинированной изящностью. Перед нами, казалось бы, самая настоящая земная женщина исключительной красоты, женщина, что называется, с головы до кончиков ногтей на ногах, что особенно подчеркивается ее тяжелой дивной косой, ниспадающей ей на плечи, но она кажется настолько отрешенной от всего мирского, настолько недоступной представляется смертным, что невольно ассоциируется с образом богини. Создается впечатление, что автор усматривает божественность Венеры именно в ее изысканной женственности, в самодовлеющей женской красоте. Он как бы нам говорит: не богиня воплотила себя в женском образе, как это все признают (вспомните «Афродиту и Эрота» из Танагры в главе «Существо женственности»), иными словами, не богиня — женщина, но, наоборот, женщина и есть богиня, воплощенное божество. Обожествление женской красоты — таков смысл предложенной интерпретации вековечного образа. Совершенно естественно, что с таким обожанием женщины мы встречаемся только и исключительно в юношеской любви. Но как бы то ни было, но идеализированная женская красота поистине чудодейственна (илл. 97).

«Я стоял перед ней, — продолжает свой рассказ герой Г. И. Успенского о первой своей встрече со статуей Венеры Милосской в Лувре, — смо-

трел на нее и непрестанно спрашивал самого себя: “Что такое со мной случилось?” Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только увидел статую, потому что с этого момента я почувствовал, что со мною случилась большая радость... <...> Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня... <...> С этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо необходимость... безукоризненного поведения: сказать что-нибудь не то, что́ должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидеть человека, смолчать о чем-нибудь нехорошем, затаив его в себе, сказать пустую, ничего не значащую фразу единственно из приличия, делать какое-нибудь дело, которое могло бы отозваться в моей душе малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим образом стеснить чужую душу, — теперь с этого памятного дня сделалось немыслимым: это значило потерять счастие ощущать себя человеком...»

Идеал женской красоты — это идеал красоты человеческого существа вообще. «Ему нужно было, — говорит Г. И. Успенский об авторе «Венеры Милосской» устами столь полюбившегося нам героя своей повести, — и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка, старика — с ощущением счастия быть человеком, показать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасным — вот какая огромная цель овладела его душой и руководила рукой».

Человек, которым владеют такие чувства, — сколько он добра может принести, а сколькими людьми такие чувства владели на протяжений веков — под прямым нравственным влиянием идеальной красоты женской? И скольких людей выпрямила великая красота женщины, во скольких людях она возродила или пробудила ранее угнетенного или просто дремавшего в них человека, следовательно, направила на путь добра: ведь для того, чтобы поступать как человек, мы должны сознавать в себе человека — должны «выпрямиться» во весь свой исполинский человеческий рост.

Пробуждение человека в нас — истинное начало нашего нравственного (духовного) Возрождения, как бы наше крещение — ради новой жизни, воскрешение к жизни, полной человеческого достоинства. И непосредственным толчком такого великого пробуждения в нас человека, как это убедительно показал Г. И. Успенский, является сознание красоты человеческого существа — его физического, душевного и духовного облика. И эта красота человеческого существа с особенной силой выражена в красоте женщины — в женственности. Женственность — это и есть фи-

зическая и духовная красота, соединенные в женщине как ее идеальная красота, или ее истинная человечность. Повторю: я не случайно говорю об истинной, или, что то же, высокой, человечности, ибо под «человечностью» вообще нередко понимают все, так или иначе связанное с человеческим существованием, в том числе (и даже в первую голову) человеческие слабости: он, дескать, всего-навсего человек (а не бог), и ничто человеческое ему не чуждо. Очевидно, что такое «прибеднение» человека отнюдь не говорит в его пользу и служит к «оправданию» всяких гадостей. Женственность, как могучий гений, ударяет по струнам нашей души, извлекая из нее лучшие, нежнейшие и благороднейшие звуки, заставляет звучать их с неслыханной дотоле силой, и это нравственное звучание нашей души, как круги на воде, распространяется и ширится всё больше и больше, усиливается и наполняется индивидуальною окраскою от человека к человеку, приподнимая на всё новую высоту целые народы. Так женственность пробуждает человека в целом человечестве, и в этом — ее необоримая нравственная сила: мы уже не можем вернуться к состоянию, этому пробуждению предшествовавшему, ибо познали счастье, выше коего нет, — счастье творить добро, быть человеком на деле. Мы с омерзением и болью оглядываемся на свое прошедшее, не будучи в состоянии понять, как это мы до сих пор могли жить и не знать, какое чистое, одухотворенное, нравственное, высокое существо в нас самих таится как наш же собственный идеал, идеал самой совести, рассматриваем все свое существование до этого нравственного озарения как простое прозябание, иными словами, как существование мало чем отличавшееся от жизни животного или растения, а этот момент духовного озарения, напротив, — как самый великий переломный момент в нашей жизни, как истинное начало жизни человека — в собственном значении этого слова.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, — прежде всего и главнее всего оберегает в себе совесть и ее оборотную сторону — честь, ибо честь не что иное, как внешнее выражение того внутреннего чувства, которое называется совестью. Совесть — то, без чего положительно немыслимо истинно человеческое существование, без чего оно, существование человека, обращается в пустую форму, лишается действительного содержания, ибо совесть — субъективное (идеальное) выражение само́й объективной общественной природы человека. Каждый хорошо понимает, что нелегкое дело — сберечь в себе совесть, что ее надо оберегать в себе постоянно и неустанно, ибо натиски враждебной стихии на человека, как внешней, так и внутренней, исходящей из животных инстинктов, столь же бесчисленны, сколь и непрерывны. Даже при самых благоприятных социальных условиях человек нередко под-

дается искушению поступиться своею совестью. Что же тогда сказать о неблагоприятных социальных условиях, о враждебных человеческой совести условиях, с которыми мы сплошь и рядом сталкиваемся в обществе с господством частной собственности и эксплуатации. Я не говорю уже о том, что даже самые благоприятные социальные условия никогда не бывают столь идеальными, чтобы не желать условий, еще более благоприятствующих истинному счастью человеческого существа.

Без совести никакой идеал невозможен, невозможны никакие духовные ценности вообще, невозможны ни истина, ни правда, ни красота.

Следовательно:

Оберегай совесть — то внутреннее чувство, которое повелевает поступать в соответствии с идеалом добра, чувство, составляющее наидрагоценнейшее твое достояние, лучшую часть твоего существа, его нравственное одушевление и высочайшую, целомудренную страсть, пламенеющее сердце всяческой духовной жизни и жизненности, залог душевной чистоты, святая святых человека.

Совесть единственное истинное, неотъемлемое и неотчуждаемое твое достояние, которое не может быть отнято у тебя даже с жизнью, ибо в ней — в совести твоей — бессмертная совесть человечества.

Только совесть духовно роднит тебя со всем критически и революционно мыслящим передовым и прогрессивным человечеством, связывает тебя с ним неразрывными интимными узами, делает тебя равноправным членом великого общественного целого, уважаемым в собственных глазах.

Совесть — действительное совпадение единичного (интимного) с всеобщим (человечностью), и в этом основание ее бессмертия: доколе живо будет человечество, будет жива совесть.

Спасибо женщине за то, что она своею высокою женственностью напоминает нам о совести.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, — проявляет неизменную заботу об интеллектуальном, эстетическом и моральном самосовершенствовании, так как он хорошо понимает, что остановиться в духовном росте это все равно что остановиться в своем человеческом росте, а это, в свою очередь, значит идти вспять, деградировать как человек — он всемерно заботится об умножении и углублении знаний, об улучшении и утончении вкуса, о развитии нравственного образа мыслей и действий. Нередко причиной безнравственности является умственная ограниченность и эстетическая слепота. Человек, как и человечество в целом, в своем нравственном образовании, включающем в себя и умственное, и художественное, и моральное образование, не знает и не может знать остановок. Достигнутый уровень человеческого образования лишь тогда составляет



богатство человеческого существа, его действительное достояние, когда оно служит трамплином для дальнейшего и непрестанного роста. Безграничное самосовершенствование — отличительная особенность человека — как существа общественного, трудового, творчески-революционного. Для того чтобы оправдать свое историческое назначение творца добра, человек обязан постоянно и неустанно совершенствовать себя в истине, совершенствовать себя в правде, совершенствовать себя в красоте.

Следовательно:

Твори из себя человека. Человек не рождается готовым, но образует себя в течение целой жизни, ведет упорную борьбу с инстинктами, обличающими животное происхождение человека, с нежелательными случайностями социального происхождения и условий жизни, воспитания и образования, кладущими неизбежный отпечаток на его моральный облик, добивается торжества разумного, нравственного, свободно-необходимого в себе над стихийным, слепым, принудительно-необходимым.

Человек воспроизводит в своей индивидуальной жизни историю становления человечества в целом: человек утверждался и утверждается в своем человеческом качестве бесконечно — вместе с историческим процессом практического созидания им нового, разумного, свободного мира, по мере освобождения от оков стихийной и слепой необходимости бытия.

Человек до самообразования, до самосозидания себя человеком выступает в роли стихийного общественного существа, и только от его собственного разума, от его совести и его воли зависит пересоздать себя наново, идеально, а вместе и реально, на началах добра, на началах того же разума. От его решимости неуклонно идти по пути интеллектуального, эстетического и морального самосовершенствования зависит сделать из своей жизни один-единственный, сплошной, непрерывно длящийся добрый поступок, в котором реализуется, объективируется, материализуется его сокровеннейшая, творчески-преобразовательная сущность.

Спасибо женщине за то, что своею высокою женственностью она побуждает нас к самосовершенствованию.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, видит свое историческое назначение и смысл своего существования в том, чтобы творить добро, отдает себе исчерпывающий отчет в том, что только в творчестве добра реализуется на деле его глубочайшая нравственная сущность общественного и трудового существа. Добро, как уже говорилось, — это имманентный идеал самой совести, и как совесть есть свет разума, так и добро — идеальный первоисточник этого света и состоит оно в творчестве человеком нового, разумного, очеловеченного мира в



природе, в обществе и в себе самом, в собственном сознании, — мира истины, мира правды, мира красоты.

Следовательно:

Твори добро, то есть такой мир, социальный и естественный, в котором истина — принцип теоретической деятельности, правда — принцип практической деятельности и красота — принцип художественного творчества общественно-исторического человека слились бы в высшем, идеальном синтезе.

Твори новый, разумный, очеловеченный мир, который отвечал бы нравственному достоинству человека, ибо существующий (старый) мир, в силу господствующей в нем слепой, стихийной, случайной необходимости, не удовлетворяет человека, зачастую оскорбляет и истязает его нравственное самосознание.

Творчество добра, то есть творчество нового мира на основе истины, правды и красоты, есть одинаково и высшая реализация человеком своей сущности, своего исторического назначения, и высшая добродетель человека — основа всех и всяческих добродетелей.

Эти три принципа — истина, правда и красота — имеют вполне объективный и реальный смысл, но лишь в связи с человеком и его сознанием, с его объективной творчески-преобразовательной природой и имманентно связанным с ней осознанием противоречия между бытием и долженствованием, и поэтому их основание должно как раз и корениться в этом противоречии между бытием и долженствованием. И истина, и правда, и красота — явления идеальные, то есть явления сознания, хотя в них и отражаются объективные связи и отношения вещей, общественно-преобразовательной природы человека в том числе. Только добро как творческое преобразование существующего на основе этих идеальных принципов, как практическое воплощение этих принципов в новом мире, творимом человечеством, не переставая быть идеалом (ведь его составляющие идеальные принципы — истина, правда и красота), в то же время вполне реально, притом реально в самом высоком значении этого слова, так как, в противоположность объективной реальности бытия, реальность добра включает в себя и материальность (вещественность) и идеальность на самом высоком уровне.

Вся история человечества, как и вся история его культуры, материально-производственная и духовная жизнь человека, весь его физический и душевный склад, вся структура его сознания с очевидностью свидетельствуют о его творчески-преобразовательной природе, со всей достоверностью доказывают его историческое назначение и призвание творца нового, очеловеченного мира. Прямой долг человека — выпол-

нить себя, свое человеческое назначение и призвание в наилучшей форме. Коль скоро человек призван по самой природе творить новый мир, то он должен творить его не иначе, как по максимальной мерке — наивысшей во всех решительно возможных и мыслимых отношениях.

Таков новый мир, который явился бы величайшим памятником человечеству Земли в назидание векам, в назидание планетам. Воплоти в этом новом мире все лучшее, на что человек способен и на что способен только человек. Воплоти в нем те великие принципы, ради которых только и стоит жить и в которых отразился наивысший взлет человеческого гения: истину, правду, красоту, принципы, образующие в своем гармоническом единстве верховный этический идеал человечества — идеал добра. Докажи на деле, что принципы эти — не пустой звук, что человечество не зря выпестовало их в своем сердце, что этот идеал так же закономерно вырос из всей истории материальной и духовной культуры, как и люди исторически выросли для его практического осуществления. Докажи, что человечество не напрасно проделало столь долгую, длящуюся миллион лет историю, до краев наполненную безысходной нуждой, муками и преступлениями, и что дети недаром обливались горькими недетскими слезами, терпя лишения и мучения и воссылая столь же трогательные, сколь и тщетные мольбы к пустым небесам — к «боженьке». Мир, являющий собой отвратительный клубок страданий, кнутобойства и позора и так часто заставляющий думать, что зло абсолютно и всевластно, добро же относительно в высшей степени, обрати, наконец, в мир сверкающей чистоты, в храм совести.

Докажи, что ты не рабски воспринял и унаследовал готовый уже до твоего рождения мир, о котором никто и не спрашивал тебя, хочешь ли ты его таковым, удовлетворяет ли он твоим нравственным запросам и требованиям, но что ты сам творец того мира, в котором ты хочешь жить и в котором ты только и можешь жить не стыдясь.

Помни, что только мир, одушевленный совестью, способен удовлетворить человека. Всякий иной мир, хотя и созданный руками человека, но недостаточно чистыми, — это в лучшем случае многообразно украшенный храм без святая святых; он может быть просторен, удобен и даже по-своему величествен, но пуст: зябко, неуютно, неприветливо, а главное — стыдно будет в нем человеку, ибо совесть не составляет животворящую душу подобного храма.

Борись за добро, — всем существом своим, всем разумением своим, каждым биением своего сердца, каждым дыханием своим; всеми соками своих нервов борись за истину, борись за правду, борись за красоту — как в великом, так и в малом, во всем и вся, во всем решительно. В этом одном — верховный смысл существования человека на Земле, его наи-



высшее внутреннее удовлетворение, полная реализация его творческой сущности, его истинное счастье.

Творчество добра требует высшего напряжения всех интеллектуальных, эстетических и моральных сил человека, всей его свободной, духовной, нравственной мощи.

Не щади жизни в борьбе за добро, ибо добро выше жизни настолько же, насколько всеобщее и истинное благо человечества, включающее в себя его необозримое будущее, бесконечно выше мелкого и призрачного благополучия конечного индивидуума и настолько же, насколько твоя истинно человеческая природа, воплощенная в твоей совести, бесконечно выше твоей же животной природы. Жизнь человека в собственном смысле — творчество добра.

Жизнь без добродетели — человеческая только по форме. Не жди наград за добродетель, ибо награда за добродетель — сама добродетель.

Спасибо женщине за то, что своею высокою женственностью она нацеливает нас на добро, направляет нас на путь истины, правды и красоты.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, борется не щадя сил и самой жизни, за общественную собственность на орудия и средства производства — там, где ее еще нет, и хранит ее пуще глаза там, где она уже завоевана, укрепляет и развивает ее всемерно как единственную возможную основу справедливого общественного строя, строя свободного от эксплуатации и порабощения человека человеком. Он отдает себе исчерпывающий отчет в том, что положительно невозможен общественный строй, который отвечал бы нравственному самосознанию и нравственному достоинству человека, вне института общественной собственности, вне коммунизма. Вот почему принцип общественной собственности возводится им в ранг этического принципа истинной человечности.

Следовательно:

Борись за общественную собственность на средства производства и храни ее как зеницу ока.

Общественная собственность — настоящая первооснова добра, — жизни построенной на началах истинной человечности, основа благосостояния народов и действительной свободы человеческой личности.

Общественная собственность на средства производства — единственная возможная гарантия от эксплуатации человека человеком, истинного первоисточника всех и всяческих социальных зол.

Частная собственность решительно калечит человека — и нравственно и физически и, во всяком случае, находится в вопиющем противоречии с его изначальной общественной природой.



Частная собственность — стихийно сложившийся институт социального бытия, и он столько же враждебен человеческой совести, сколько и всякая другая принудительная стихия, сколько и неразрывно с ним связанная эксплуатация человека человеком.

Нет более гнусного и омерзительного зрелища, чем частнособственническое свинство, как и более плачевного и душераздирающего зрелища, чем голодающие, бездомные и оборванные дети.

Господство частной собственности — наиболее резкое выражение того противоречия между бытием и долженствованием, которое является единственным источником несчастья человека. Осознание этого противоречия — интимнейший нравственный стимул к разумному преобразованию существующего.

Поистине неисчислимых жертв стоил человечеству, как стоит и поныне и как, несомненно, еще будет стоить, каждый шаг по пути общественного, в том числе и нравственного, прогресса — по пути смягчения форм эксплуатации и конечной ликвидации эксплуатации человека человеком вообще вместе с ликвидацией самой частной собственности на средства производства и установлением безраздельного господства общественной собственности. Если собрать всю кровь, уже пролитую трудящимся человечеством в борьбе с общественным злом на протяжении истории общества, то немного найдется на свете водоемов, чтобы ее вместить.

Только общественная собственность совместима с человеческой совестью, со священными принципами истины, правды и красоты, с верховным этическим идеалом человечества — идеалом добра.

Общественная собственность, то есть собственность в ее общественной форме, совершенно необходима. Нельзя, ликвидировав частную собственность, ликвидировать вместе с ней и всякую вообще собственность, как таковую, как нельзя оставить средства производства без хозяина. Без общественной собственности средства производства, как и все богатства и ценности, создаваемые трудом человека, оказались бы в небрежении, не были бы ограждены от расхищения и разбазаривания, равно как и от всякого рода разрушительных действий природы, не говоря уже о том, что без общественной собственности невозможно никакое планирование, разумное и организованное общественное производство и потребление, как оно невозможно и без учета.

Общественная собственность освобождает человека, является непременным условием социального раскрепощения, как трудящегося человечества в целом, так и каждой отдельной человеческой личности.

Общественная собственность ставит людей в равноправное отношение к материальной основе их жизни, к самому источнику их

существования, является непременным условием их общественного равенства.

Общественная собственность сплачивает людей — в их общих заботах и усилиях укреплять, расширять и всемерно обогащать эту основу основ их общего материального и культурного благосостояния, является непременным условием братства людей — безотносительно к их расовой и национальной принадлежности, и их убеждениям и верованиям.

Общественная собственность развязывает творческую инициативу человека, является непременным условием для всестороннего роста личности, для безграничного развития и расцвета как физических, так и духовных способностей человека — его научных, художественных и нравственных талантов, является непременным условием для внутренней, духовной свободы человека.

Общественная собственность освобождает и раскрепощает самый труд человека, превращает его в источник неиссякаемой творческой радости, по-новому возвращает ему его качество первейшей жизненной — материальной, эстетической и нравственной — потребности человека, потребности, заложенной в самой основе объективной общественной и творчески-преобразовательной природы человека, является непременным условием свободного труда человека.

Общественная собственность раскрепощает материальные производительные силы, является непременным условием их неуклонного и планомерного, мощного и безграничного подъема в интересах общества, следовательно, условием постоянного и всестороннего роста материального благосостояния и культурного уровня всех его членов, условием максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества.

Решительно невозможно перечислить все те бесконечные преимущества, которые превращают, чем дальше, тем больше (это процесс), общественную собственность на средства производства в настоящий и постоянный первоисточник всех и всяческих благ.

Будь бдителен: всемерно охраняй кровью завоеванную общественную собственность на средства производства от происков ее врагов — скрытых и явных.

Не жалей жизни ради сохранения и укрепления, расширения и обогащения общественной собственности — этой всеобщей надежды человечества. Всеми имеющимися в твоем распоряжении средствами не допускай извращений великого принципа — положением, властью и так далее, и тому подобное, памятуя и не позволяя себе забывать, что любое извращение принципа общественной собственности ставит под прямую



и непосредственную угрозу честь и достоинство личности, само гордое звание человека — свободного, разумного и нравственного существа, творца и преобразователя.

Спасибо женщине за то, что своею высокою женственностью она вдохновляет нас на революционную борьбу за коммунизм, за торжество великого этического принципа общественной собственности на средства производства.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, — трудится, показывает высокие образцы общественно-полезного труда, ибо только в труде человек реализует свою творчески-преобразовательную нравственно-революционную природу, только в труде он творит новый мир и нового самого себя. И только в труде он развивает и обогащает общественную собственность на средства производства, развертывает на деле все заложенные в ней возможности, которые поистине неисчислимы, для всеобщего блага человека и человечества. Беспрестанно наращивая производительность труда, человек в условиях социалистического общественного строя создает материальную базу для обеспеченного существования и духовного развития не только для своей страны и своего поколения, но и для всех стран и всех грядущих поколений людей.

Следовательно:

Трудись. Только общественно-полезный и производительный труд делает человека человеком, полноправным и полновластным участником общественно-исторического процесса, приобщает его к великому целому, именуемому трудящимся человечеством.

Помни, что только трудящийся — действительный творец истории, только он накладывает печать разума на жизнь народов и государств, оставляет неизгладимый и благотворный след в жизни всего человечества, меняет к лучшему лицо Земли и лицо человека, устремляет к добру весь ход исторического процесса, творит новый мир и нового человека в соответствии с требованиями морального сознания общества, выносит на своих могучих плечах всю тяжесть борьбы со стихией зла, естественной и социальной, осуществляет на деле общественную, нравственную и революционную, творчески-преобразовательную природу человека.

Человек исторически возник, выделился из среды животных исключительно благодаря труду и пребудет человеком только пока будет трудиться. Стоит человечеству прекратить свою общественную трудовую деятельность, как оно мгновенно потеряет свое человеческое лицо и неминуемо погибнет; оно выродится во враждующие друг с другом и живущие на подножном корму стада диких и слабых животных, тем более слабых и обреченных на полное истребление, чем менее они сохранили

в себе те вековые инстинкты, которые составляют преимущество представителей животного мира и которые мощным образом помогают им в их суровой борьбе за существование. Даже вековечный инстинкт самосохранения в значительной мере потерял свою власть над человеком, во всяком случае потерял свою безраздельную власть над ним, если человек нередко предпочитает добровольную смерть скотскому образу жизни.

В труде прогрессирует человек, совершенствуется его творчески-созидательная сущность, углубляется понимание им своего исторического общественного назначения творца и преобразователя, конкретизируется и уточняется понимание им истины, правды и красоты — постижение добра в качестве верховного веления совести. В труде человек последовательно и поступательно утверждает себя в своем качестве человека и объективирует свое специфически человеческое общественное призвание.

Человек — единственное существо природы, способное к безграничному самосовершенствованию, и эта его неоценимая способность, как и все прочие особенности человеческого существа, целиком и без остатка основана на его трудовой природе. Воспроизводя и совершенствуя постоянно и непрерывно материально-производственный процесс труда, человек воспроизводит и совершенствует постоянно и непрерывно все стороны своего сознания, и труд поистине является той изначальной живой клеточкой, из которой вырос и вырастает человек — творец и преобразователь, революционер по природе.

Человек — единственное существо природы, которое обладает свободой и обладает ею только и исключительно благодаря своей трудовой сущности. Свобода человека растет и ширится, постоянно и поступательно — по мере роста и расширения его материально-трудовой практики, общественно-исторического процесса, его творчески-познавательной, творчески-художественной и творчески-нравственной деятельности, всей совокупности его культуры.

В свободном труде сливаются воедино долг и наслаждение — как сознание исполненного долга и как радость творчества.

Творчески-созидательный труд — это альфа и омега, начало и конец, первая потребность и последняя цель, Песнь Песней истинно человеческого существования.

Спасибо женщине за то, что своею высокою женственностью она призывает нас к труду.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, — внутренне, духовно, нравственно свободен. Он неустанно укрепляет в себе это выпрямляющее его великое чувство свободы, адекватное его совести, не позволяет возродиться в себе унизительному и рабскому чувству



зависимости, привитому ему несправедливым в корне общественным строем, основанным на частной собственности и эксплуатации человека человеком, чувству, искалечившему и изуродовавшему его душу. Без такой внутренней, духовной, или нравственной, свободы положительно невозможна революционная борьба за внешнюю материальную, общественную и гражданскую свободу. Высокий пафос духовной свободы — источник всех великих свершений на Земле.

Следовательно:

Будь свободен. Нет более гнусного преступления против человеческой совести, нежели духовное (нравственное) рабство, ибо раб, смирившийся со своим положением, — не человек, он не в состоянии осуществлять свою творческую человеческую сущность, свободную по глубочайшему существу.

Истинная свобода человека одинаково не состоит ни в произволе, ни в покорствовании обстоятельствам, — и то и другое позорит человека, — но в сознательном и настойчивом следовании объективной необходимости его природы, каковая необходимость, в силу общественного и нравственного, творчески-преобразовательного и революционного характера самой изначальной природы человека, есть свободная необходимость по существу.

Вопреки произволу, истинная свобода духа есть ответственность в высшем и самом точном значении этого слова, строжайшая ответственность перед совестью человечества — собственной совестью.

Вся идеальная сфера жизни общества есть не что иное, как субъективное выражение его объективной, материально-трудовой деятельности, творчески-преобразовательной по существу. И то, что объективно является стихийным преобразованием сущего, то субъективно имеет характер сознательного и разумного, целенаправленного, творческого преобразования, что невозможно без свободной утверждающей способности разума — воли. Воля и направляет деятельность осознавшего свое историческое назначение человека на разрешение противоречия между бытием и долженствованием, на осуществление добра в соответствии с категорическими велениями совести, принципами истинной человечности, нравственным законом.

Нравственное, благое проистекает из нас самих, из нашей общественной, разумной и доброй природы, из свободы нашей воли, как и безнравственное, злое проистекает из принудительной в существе своем стихии, в том числе и общественной стихии, а в конечном итоге — из нашей физической природы и порожденных ею инстинктов и прежде всего инстинкта самосохранения, или, что то же, из несвободы — из принужденности извне, со стороны нашего чисто физического (физиологи-



ческого) существования, из стремления сохранить его (это физическое существование) во что бы то ни стало, даже вопреки совести и чести. Безнравственное есть принуждение извне относительно истинно понятого человеческого существа, поскольку истинно-человечное в нас выражается именно в нашей свободной воле, в нашем разуме и в нашей совести, в нашей общественной природе.

Человек без совести и чести — раб в полном объеме и самом точном, катастрофическом значении этого слова. Животным, к которым понятия свободы и рабства неприложимы вовсе, такого человека не назовешь, ибо он так же отличается от животного наличием разума, точнее, его формы, как и от свободного человека отсутствием совести, и потому его справедливо приходится квалифицировать как раба, произвольно (по произволу) отдавшегося в рабство стихийному началу своего существования. Не следует забывать, что свобода и произвол — антагонисты.

Если возможность свободы, как и сама совесть, заложены в самой общественной, революционной природе человека, то ее действительность зависит целиком от того, насколько человек образовал себя именно как человек. Внутренней свободой обладает в действительности только тот, кто ставит совесть превыше всего, кто выработал в себе нравственное, истинно-человечное самосознание, обладают только революционные элементы общества, весь смысл своего существования усматривающие в разумном творческом преобразовании существующего, борющиеся за имманентный идеал совести, в котором воплощена истинная, высшая нравственная свобода человека, свобода познавательная, свобода оценочно-критическая и свобода морально-волевая, ратующие за верховный этический идеал человечества, идеал добра и за его практическое претворение.

Такой уразумевший свое историческое назначение человек, всю свою жизнь обративший в подвиг во имя идеала добра, верховного идеала человечества, действующий и поступающий во всем в согласии с нравственным законом, общественным долгом, в духе принципов истинной человечности, и есть реально-духовное существо.

Научное понятие о человеке как о реально-духовном существе противостоит идеалистическому представлению о человеке как о чисто духовном существе. Научное понятие о человеке как реальном духовном существе есть прежде всего понятие о нем как существе общественном, трудовом по природе, наделенном совестью, — средоточием и внутренним содержанием всей духовной жизни человечества. Понятие о человеке как о реально-духовном существе, в противоположность идеалистическому представлению о нем как существе чисто духовном, не исключает, но именно предполагает и указывает на то, что человек —



существо наделенное плотью и кровью, существо в этом смысле родственное всему остальному животному миру, из которого он произошел исторически как в смысле естественных закономерностей органического развития, так и в прямом, собственном смысле, ибо человек выделился из животного мира только благодаря труду — истинному творцу истории в тесном смысле. С происхождением человека начинается история, понимаемая как общественная история, как творчество нового, очеловеченного мира разумной, свободной необходимости в старом и из старого мира слепой, принудительной необходимости.

Возникновение человека было революционным скачком в истории животного царства, скачком, выведшим его из этого царства, вызволившим его из животного мира.

Образование в себе внутренней, духовной, или нравственной, свободы есть образование себя как существа реально-духовного, как существа, руководствующегося во всей своей жизни и деятельности великими принципами истинной человечности.

Тот, кто умеет подчинить все свои поступки — мысли, слова и дела — категорическим предписаниям совести, или, что то же, общественному долгу, нравственному закону — принципам истинной человечности, только тот и может почитать себя внутренне, духовно, нравственно свободным, ибо совесть является одинаково и источником духа и источником его свободы.

Во имя жизни по совести презирай смерть. В этом одном — залог твоей нравственной, духовной свободы, равно как и твоего истинного бессмертия в бессмертной совести людей.

Спасибо женщине за то, что она своею высокою женственностью наставляет нас в свободе.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, — благороден: он преследует лишь нравственные цели с помощью нравственных же средств; не допускает дисгармонии целей и средств, отдавая себе исчерпывающий отчет в том, что безнравственные средства не в меньшей мере претят человеческой совести, чем безнравственные цели. Зло, проистекающее из безнравственных средств борьбы, бесконечно усугубляется еще и тем, что они неизбежно и безнадежно порочат самоё нравственную цель, ради которой к ним прибегают. Нравственная гармония целей и средств — субъективный показатель достигнутого уровня совершенства человеческой природы, как и мера реализации добра — нового, очеловеченного мира истины, правды и красоты — ее же объективный показатель. Гармония здесь и выступает в роли объединяющего начала субъективного и объективного показателей совершенства человеческой природы.



Следовательно:

Будь благороден. Преследуй лишь достойные цели в жизни и употребляй лишь достойные средства к их достижению.

Ни одна цель, как бы высока и благородна сама по себе она ни была, неспособна оправдать низменные средства к ее осуществлению: высокая цель и низменные средства борьбы — вещи несовместимые.

Благородство характера — истинно человечная черта, необходимо присущая человеку, осознавшему свое высокое историческое назначение свободного и разумного преобразователя и творца, черта характера, свидетельствующая о возвышенном понимании человеком своей природы и ответственности своей перед собственной совестью — всеобщей совестью человечества.

Выработка в себе благородства характера и неукоснительное руководствование им во всей своей жизни и деятельности, неизменная верность ему есть величайший нравственный подвиг, величайший подвиг ума и воли, на какой только способен человек.

Если даже каждый отдельный благородный поступок является предметом восторга и восхищения и образцом для подражания, то что тогда сказать о непрерывном благородное горении целой жизни истинно добродетельного человека? Такой человек является ярчайшей демонстрацией того, что усилия, делаемые людьми на тернистом пути интеллектуального, эстетического и морального самосовершенствования, могут и должны увенчаться успехом, является сам по себе величайшей предметно-воспитательной силой.

Ясное понимание нравственной допустимости или недопустимости тех или иных определенных средств ради достижения той или иной цели — первая отличительная черта истинно благородного, интеллигентного, или добродетельного человека.

Не дай себя совратить лукавому соображению, будто цель и средства вполне и всецело диктуются объективными обстоятельствами, то есть стихийным природным и общественным бытием. Становящиеся на эту точку зрения ни больше, ни меньше, как отдают себя целиком — и тело и душу — в полную и безраздельную власть стихии, освобождение от которой и составляет необходимое историческое назначение человека как разумного и нравственного существа. Они, следовательно, с самого начала отказываются от своей внутренней, духовной свободы, олицетворенной в совести, и обрекают себя на полное покорствование обстоятельствам, на безысходное и безнадежное рабство.

Цель и средства определены объективным бытием лишь пассивно, отрицательно, то есть лишь постольку, поскольку оно стихийно воздей-

ствует на человеческое сознание, вызывая в нем столь же стихийную реакцию, в результате которой человеческое сознание оказывается в несвойственном ему как собственно человеческому сознанию страдательном состоянии. Иными словами, лишь в том случае и цель и средства оказываются нацело определенными объективным бытием, если они формируются в низших отделах человеческой души, которые и сами составляют факты бытия, принудительного внутреннего бытия в самом сознании человека, так же подлежащего переделке в духе истинной человечности, как и само внешнее бытие.

Активно и положительно, иначе, — свободно, и цель и средства диктуются только и исключительно общественной и творчески-преобразовательной, нравственной и революционной природой человека, стало быть, его моральным сознанием, его совестью, которая одинаково не может мириться ни с безнравственными целями, ни с безнравственными средствами, — целями и средствами, уже вполне порожденными принудительной стихийной и слепой необходимостью бытия, внешнего — и внутреннего.

Повинуясь целям и средствам, подсказываемым объективным бытием, человек повинуется внутреннему, столь же стихийному бытию, — в своем собственном сознании, иными словами, отказывается от совести и разума, которые именно и составляют специфическую особенность его собственно человеческого сознания, перестает отвечать своему историческому назначению человека, перестает быть человеком.

Цель не оправдывает средств, ибо сама нуждается в нравственном оправдании совести, которая в свою очередь не может оправдать в одном то, что она категорически осудила бы в другом, иными словами, не может оправдать в средствах то же самое, что она осудила бы в самой цели, в том случае, если бы то, что составляет содержание средства, было возведено в содержание цели. Поэтому, запрещая безнравственное в цели, совесть человека вместе с тем и с той же степенью категоричности запрещает и безнравственное в средствах. Зато средства опорочивают цель, если они запрещены совестью. Человек же, называющий нравственным «объективно-диктуемое», стало быть, не гнушающийся никакими средствами, является человеком только по названию.

Употребляющий недостойные, безнравственные средства борьбы или, что еще хуже, побуждающий другого к ним — предатель собственной совести, а нет никого гнуснее предателя.

Только то средство может считаться нравственным, или, что то же, оправданным совестью, которое, будучи возведено в цель, сохраняет свой нравственный характер, — таков единственный критерий, который



должен быть положен в основу определения допустимости или недопустимости тех или иных средств борьбы.

Одно из двух: или человек должен отказаться от здорового и возвышенного понимания собственной природы, или же должен отказаться — раз и навсегда, окончательно и бесповоротно — от безнравственных и недостойных, уродующих, позорящих и унижающих человека, заставляющих его краснеть за самого себя, бессовестных и бесчестных средств борьбы. Другого выбора нет. И надо полагать, что человечество изберет первое, как оно и поступило по легенде, — избрав нравственно здоровое и плодоносящее древо познания добра и зла и наотрез отказавшись от гнилого и фантастического древа жизни и связанного с ним вечного невежества.

Возвышенное понимание человеком его собственной сущности неразрывно с его объективным историческим назначением разумного преобразователя старого и творца нового, с его объективной общественной (трудовой) природой, с его неоспоримой нравственной свободой, с его бессмертной совестью, повелевающей ему творить добро и только добро, постоянно и неустанно.

Человек так же не может отказаться от возвышенного понимания собственной природы, как не может отказаться от своего разума, от познания объективной действительности, ее критической оценки и переделки ее в соответствии с идеалом добра, как не может отказаться от истины, правды и красоты, как не может отказаться от самого себя, от собственной совести, от своего человеческого первородства на Земле.

Будь революционером, революционером мысли, слова и дела, ибо истинное благородство и действительная революционность — синонимы.

Спасибо женщине за то, что своею высокою женственностью она внушает нам благородство.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, — благодарен, испытывает постоянное чувство признательности к другому — к своему другому — за взаимное обогащение человеческой природы, рассматривает человека — своего другого — не как средство, а как цель. Только с обществом других людей человек есть человек и он обязывается ко всяческому вниманию и к предупредительному отношению к другому, он помнит о том, что обогащается духовно не только за счет того, что получает от другого, но и за счет того, чем обогащает этого своего другого сам, так как только делясь с другим, человек выявляет и развивает собственные сокровища души.

Следовательно:

Будь благодарен — будь преисполнен чувства признательности к другому за взаимное духовное обогащение. Чувство благодарности —



такое же существенное качество образовавшего себя человека, как и благородство характера. Если нравственная жизнь общества связывает между собой людей духовно, подобно тому как они связаны в труде материально, то прямым и непосредственным выражением этой связи является великое чувство благодарности человека к человеку.

Чувство благодарности человека к человеку внутренне и необходимо присуще его общественной (нравственной) природе. Человек стал возможен только с обществом других людей, и язык, как орудие общения с себе подобными, так же невозможен у животного, как и совершенно необходим человеку.

Чувство благодарности естественно связано с той радостью, которую доставляет людям их сотрудничество и духовное общение, означает их признательность друг другу за существенно необходимую взаимопомощь в труде, жизни и борьбе.

Помни о прошлом. Тени замученных людей и загубленных детских жизней пусть будут для тебя печальным напоминанием о неповторимости и самоценности человеческой жизни, вечным предостережением о том, как бережно до́лжно относиться к каждому — к человеку и его счастью.

Помни, что все материальные и духовные блага, которыми ты располагаешь, вся атмосфера мысли, которой ты дышишь, весь тот новый мир и в природе и в обществе, в котором ты живешь, как бы ни был далек он от совершенства, и который служит исходным пунктом для твоей собственной творчески-созидательной деятельности, для дальнейшего и безграничного его исторического революционного совершенствования, — все это создавалось многими, поистине неисчислимыми человеческими поколениями, всеми до тебя жившими поколениями в обстановке тяжелой и мучительной, подчас самоотверженной борьбы со стихией зла.

Историческая связь людских поколений так же нерасторжима и такой же несомненный факт, как и общественная связь между людьми в каждый данный исторически определенный момент развития человечества, и нравственным выражением этой объективной и всесторонней связи человечества, как во времени, так и в пространстве, как в материальной, так и в духовной жизни, как в радостях, так и в страданиях, как в опасениях, так и в надеждах, является великое чувство благодарности человека к человеку.

Чувство благодарности человека к человеку, распространенное на все прошлое человеческой истории, является выражением взаимной признательности людей за жертвы, приносимые каждым в великой борьбе со стихией зла в природе и обществе, за торжество общего дела добра, очеловечения существующего, равно как и выражением нравственной ответственности всего человечества за эти жертвы, приносимые каждым



в отдельности в священной борьбе со старым — со всяческой принудительной стихией в природе, обществе и сознании, за торжество нового — разумного, нравственного, революционного, свободного, человечного.

Истинно прекрасное не достигается без жертв, приносимых повседневно и повсечасно, ведь оно рождается в беззаветной борьбе конечного человека со всей бесконечной стихией, и если человек все же добивается успеха в этой заведомо неравной борьбе, те лишь благодаря тому, что он объединяет свои усилия с усилиями всего человечества, соединяет в одном страстном порыве усилия своего поколения с усилиями всех поколений человечества.

Самое испытанное оружие наше в борьбе за лучшее составляют нравственные принципы — принципы истинной человечности. Но принципы эти не нами созданы; они последовательно создавались, накапливались и развивались задолго до нас — всеми до нас жившими поколениями людей. Сами же мы развиваем дальше эти принципы в новых исторических условиях, как в теории, так и на практике, обеспечивая тем самым их достойную передачу в руки будущих поколений. Отсюда — непрерывность чувства благодарности, связующего человечество на всем протяжении его общественно-исторического развития.

Великие принципы совести представляются священным знаменем, передаваемым из поколения в поколение с момента происхождения человека на Земле. И это знамя с каждым новым поколением не только не стареет и не выцветает, но, напротив того, разгорается все более и более ярким пламенем — в силу непрерывного и последовательного развития и обогащения этих принципов каждым поколением и в силу того, что это знамя впитывает в себя все новые и новые капли крови людей, с радостной готовностью приносящих жертвы на алтарь добра — в борьбе со стихией зла в природе и обществе.

Чувство благодарности человека к человеку столько же диктуется тем, что есть общего между ними, сколько и их индивидуальными особенностями, различиями между ними, служащими и их взаимному духовному — интеллектуальному, эстетическому и этическому — обогащению.

Неслышные сами по себе, индивидуальные нравственные качества каждого отдельного человека приобретают явственное звучание в мощном аккорде всеобщей совести человечества, ибо они не только не теряются, не заглушаются и не подавляются в этом общем свободном аккорде, — ведь человечество в них заинтересовано кровно, — но обогащают его бесконечно.

Духовное богатство человечества состоит в духовном богатстве составляющих его индивидуальностей, как и в духовных богатствах, накопленных на всем протяжении исторического прошлого.



Благодарность человека к человеку — естественное выражение признательности всех людей друг другу как за взаимное духовное обогащение, так и за всеобщее обогащение человеческой природы, как таковой.

Чувство благодарности есть выражение признательности человеку, как таковому, именно потому, что он человек, выражение признательности одного общественного (нравственного) существа другому общественному (нравственному) существу, и не потому только, что он оказал тебе личное благодеяние, личные услуги, но именно потому, что, не зная даже тебя в лицо, он оказывает тебе высшее благодеяние самим фактом своего существования на Земле.

Не забывай, что только благодаря наличию других людей возможно общество, возможна общественная и нравственная природа человека, как таковая, возможен ты сам в качестве человека, в качестве общественного и нравственного существа, преобразователя и творца, а не в качестве животного только существа. Наличие другого человека и непосредственное или посредственное общение с ним — необходимая предпосылка тебя самого как человека. Постоянно воспитывай в себе живой интерес к жизни других людей, огорчайся их огорчениями, радуйся их радостями, будь счастлив их счастьем и несчастлив их несчастьем: ведь каждый другой человек — частичка тебя самого, твоей собственной сущности человека, его природа имманентно связана с твоей собственной.

Противно общественной природе человека безразличное отношение к несчастью другого, к загубленной человеческой жизни, загубленной физически или нравственно. Сострадание — оборотная сторона чувства благодарности человека к человеку. О том, кто не испытывает ни того, ни другого, справедливо говорят, что он — черствый эгоист, что он не ощущает свою живую связь с другими людьми, с человечеством, что в нем человеческая, общественная, нравственная природа приглушена и затемнена чисто животными инстинктами.

Из сострадания, как неосознанного по большей части трепета человеческой души, вырастает по мере его осознания нравственная солидарность, как свободное и действенное согласие людей в принципах общественной жизни и борьбы, как общность их идеальных устремлений, полагающая равную ответственность за судьбы человечества, равную опеку над человечеством, которую каждый несет доброхотно, в силу простого веления собственной совести — совести всего трудящегося человечества прошедшего, настоящего и будущего.

Высшим выражением солидарности является пролетарский интернационализм — пролетарская солидарность, классовая солидарность трудящихся всего мира.



Спасибо женщине за то, что своею высокою женственностью она прививает нам благодарность к другому.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, — мудр: он преисполнен веры в человека, надежды на торжество добра, любви к жизни — ко всему прекрасному в ней, преисполнен стремления сделать жизнь еще более прекрасной, достойной ее творца — человека.

Следовательно:

Будь мудр: верь в человека и в его высокое историческое назначение — в несокрушимую мощь его разума, неистощимую сокровищницу его совести, в безграничную делительную силу его революционной творчески-преобразовательной способности; надейся на конечное торжество добра — истины, правды и красоты; люби жизнь во всей ее неисчерпаемой прелести.

Вера в человека, основанная на объективно-истинном, глубоком и возвышенном понимании его изначальной общественной, творчески-созидательной, нравственной и революционной природы, есть то качество, которое обеспечивает сознательное и целеустремленное, настойчивое и систематическое, беззаветное и безоглядное выполнение человеком своего долга перед совестью, есть источник всех благородных свершений на Земле, всего великого и доброго в мире — истинного, правдивого, красивого, источник осуществления человеком своего высокого человеческого подвига.

Без веры в человека люди вырождаются в жалких, ничтожных и жестоких изуверов, неспособных ни на что великое, ибо вера питает волю человека, она поистине движет горами.

Истинная вера, то есть вера в человека, ничего общего не имеет с суеверием — с религиозной верой. Вера в человека коренным и принципиальным образом противостоит вере в «бога», настолько же, насколько истина противостоит лжи, правда — кривде, красота — уродству, добро — злу.

Бог — абсолютная невозможность, его существование шло бы вразрез со всем строем природы, ибо природа как самопричина исчерпывает собой всякую сущность и всякое существование.

Природа и бог находятся в совершенно определенном соотношении — сущего и не сущего, но в принципиальное отличие от естественно не существующего, от не существующего в природе, которое при известных обстоятельствах может сделаться существующим, может получить существование, бог — абсолютно не существующее, ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях не может стать существующим, не может получить существования.



Вера в человека есть необходимейшее условие осмысленной творчески-революционной деятельности, сознательной реализации человеком своей истинно человеческой (специфически человеческой) природы.

Вера в человека составляет существеннейший элемент самой совести человека.

Можно с уверенностью сказать, что все великое, что было совершено на Земле в борьбе со стихией зла в природе и обществе, все истинно нравственное и революционное было вдохновлено и воодушевлено верой в человека, какой бы несовершенной она ни представлялась нам сейчас в свете современного нравственного — научного, эстетического и философски-исторического — сознания человечества.

Надежда на торжество добра, основанная на истинном, глубоком и всестороннем познании объективных закономерностей существующего, есть то качество, которое подкрепляет веру в человека и в его разумную нравственно-творческую мощь реальными аргументами, почерпнутыми из реальной действительности.

Безнадежность губит волю человека к борьбе за лучшее, расслабляет его революционную творческую энергию и создает благоприятную почву для торжества злого начала — принудительно-стихийного естественного, социального и психического бытия.

Надежда несказанно умножает силы человека, мощно стимулирует и двигает вперед его нравственную деятельность, сокращает сроки и реально приближает осуществление идеала.

Порукой конечного торжества добра является могущественная логика человека, указывающая верные пути к объективно-истинному познанию существующего, как и пути к его революционному преобразованию на началах истинной человечности.

Человек и его счастье, то есть творчество добра, — вот та верховная цель, этическая по существу, к которой должна быть направляема научная, художественная и практическая деятельность. В этом — высший смысл и действительный пафос всех истинно человечных усилий, в какой бы области они ни были приложены. И в этом же — безусловное повеление всеобщей человеческой совести.

Невозможно, чтобы все нравственные, научные, художественные и практические усилия людей, направленные на доброе, на торжество добра, или на полную реализацию объективно-необходимой общественной и творчески-преобразовательной природы человека, не дали результатов, оказались тщетными, и надежда на конечное торжество добра имеет, следовательно, под собой непоколебимый фундамент; она так же незыблема, как и сама человеческая логика.



Любовь к жизни, ко всему прекрасному в ней, основанная на глубокой вере в человека и на неискоренимой надежде на торжество доброго, является тем качеством, без которого все существование человека беспочвенно, обращается в бессмыслицу.

Безотчетная любовь к жизни, присущая всему живому без изъятия и выражающаяся во всевластном инстинкте самосохранения, общественно преобразуется в человеке в осмысленную, интеллектуальную любовь к жизни, в свободную и творческую любовь, одухотворенную объективным познанием природы и своего собственного существа, уяснением своей исторической роли носителя совести и творца добра, творца всего прекрасного в жизни, творца нового, разумного мира и нового, свободного самого себя.

Интеллектуальная любовь к жизни растет, развивается и обогащается вместе с нравственным ростом человечества — вместе с расширением его интеллектуального, эстетического и этического горизонта, вместе с углублением его творчески-созидательной деятельности по очеловечению существующего.

Интеллектуальная, то есть осмысленная, свободная и творческая, или возвышенная, любовь к жизни — это настоящая поэзия истинно человечного существования.

Спасибо женщине за то, что своею высокою женственностью она учит нас мудрости — вере в человека, надежде на торжество добра и любви к жизни.

Тот, в ком пробужден человек, в ком человек торжествует, — всегда и во всем поступает по совести, отдает себе исчерпывающий отчет в том, что оберегать в себе совесть — значит поступать по совести, неукоснительно следовать ее безусловным велениям на практике, на деле — повседневно и повсечасно, до последнего дыхания.

Следовательно:

Поступай по совести, — так, как если бы каждый данный день оказался для тебя последним, ибо невозможно, чтобы в виду предстоящей смерти — один на один со своей совестью — человек стал кривить душой, творить гадости. Во всяком случае какой-нибудь день наверняка будет для тебя последним, и живи так, чтобы в этот день, в который ты должен будешь держать строгий ответ перед совестью за всю прожитую тобой жизнь, тебе пришлось возможно меньше сокрушаться о содеянном дурном и несодеянном хорошем. Единственное утешение перед смертью дается человеку мыслью о том, что́ было в его жизни от самоотречения во имя добра.

Приучай себя только к таким мыслям, относительно которых на внезапный вопрос: «о чем думаешь?» ты смог бы тотчас отвечать, так как в



них не оказалось бы ничего постыдного, оскорбляющего совесть. Истинно этическая мысль напоминает вот это дерево — она прекрасна: она пряма, стройна и высока, коренится глубоко в земле и устремляется в небо. Только мысль о вечности — об истине, правде и красоте — мысль о добре как верховном идеале совести придает важность всему. Без этой мысли — все ничто, поскольку дело идет об истинно человечном существовании.

Все силы ума и характера употреби на то, чтобы постоянно, а не только в редкие минуты взлетов держаться на высоте Принципов — и в мысли, и в слове, и в жизни, нравственных принципов, выстраданных человечеством и являющихся в такой же мере принципами твоей собственной совести. Принципы истинной человечности, направляющие на творчество добра, делают жизнь человека предельно насыщенной и невыразимо прекрасной.

Раз проникшись сознанием совершенной непререкаемости принципов истинной человечности, коренящихся в само́й бессмертной общественной совести человека и направленных на торжество добра, поднявшись с таким трудом и в самой жизни на известные вершины нравственного самосознания, не позволяй себе — ни под каким видом и ни при каких обстоятельствах — быть сброшенным с этих высот. Удерживая завоеванный рубеж нравственного образа мыслей и действий, ты удерживаешь вместе и тот образец, по которому надлежит равняться: достигнутую ступень совершенства человеческой природы, как таковой.

Каждый твой новый поступок должен быть новым подтверждением обретенного нравственного уровня, равно как и новым вкладом в общую сокровищницу совести — нравственного прогресса всего человечества по пути идеала добра. Остановиться в нравственном развитии — значит идти вспять.

Всегда и всюду воспитывай в себе нерушимую цельность души — монолитность характера, основанную на совести с ее идеалом добра. Не допускай двоедушия ни в чем. Совесть — да не расходится у тебя с разумом; не уподоблялся тому, у кого долг в одном кармане, а выгода в другом. Не забывай, что верховная выгода человека, подсказываемая интеллектом, — в следовании велениям совести, в утверждении своей человечности. Мысль — да не расходится у тебя со словом; не уподобляйся тому, кто думает одно, а говорит другое. Слово — да не расходится у тебя с делом; не уподобляйся тому, кто говорит одно, а делает другое. Всякое расхождение совести и разума, мысли и слова, слова и дела обличает внутреннюю гнилостность и сводит на нет совесть человека — истинное начало нравственного существования. Вред от такого несоответствия не поддается никакое учету, ибо оно ведет не только к безнравственности жизни в настоящем, но и к профанации самих Принципов, — стало быть,



и к безнравственности жизни в неопределенном будущем. Цельность души, основанная на совести, есть нравственное целомудрие.

Не забывай, что только и исключительно практическими делами во имя торжества добра, полной безукоризненностью в своей общественной, семейной и личной жизни, неутомимой и жертвенной деятельностью для блага народа и человечества, только жизнью по совести в настоящем и строгом значении этого слова ты в состоянии доказать святость своих убеждений, привлечь к ним умы и сердца людей. Поистине: вера без дел мертва.

Будучи строг к себе, умей прощать других, нисколько, однако, не снижая при этом категорической требовательности, проистекающей из совести — из принципов истинной человечности, основанных на идеале добра, ибо всякое понижение принципиальной требовательности с неизбежностью ведет к объективному и всеобщему понижению нравственного уровня человечества.

Верховный идеал добра, являющийся последним итогом и решающим выводом всей истории человеческого духа, средоточием и смыслом всей культуры человечества, величайшим, несомненнейшим и заветнейшим завоеванием человеческого гения, идеал, имманентный совести, — да озаряет тебе путь к добродетельной жизни.

Непоколебимая вера в твое высокое историческое призвание человека — творца и преобразователя, воодушевленного совестью, творца истины, правды и красоты, творца добра, — да руководит всечасно и неизменно твоими поступками.

Воспроизводи в своей памяти все свои поступки за день и давай каждому из них нелицеприятную оценку под углом зрения идеала добра, строго объективную — по совести. Поступая так, ты делаешься лучше: что́ еще возможно исправить — ты исправишь незамедлительно, что́ уже поздно исправлять — будет служить тебе грозным предупреждением на будущее. Только тот поступок достоин человека, который является воплощенной совестью, практическим претворением мудрых принципов истинной человечности.

Так как своего часа ты не знаешь, то спеши творить добро, то есть жить по совести, реализовывать на деле свою нравственную творчески-преобразовательную человеческую природу, дабы не оказаться напрасным человеком. В этом — обязывающее значение смерти: она не допускает овладеть нами соблазну откладывать на потом то, что жизненно важно делать без всякого промедления.

Так поклонимся же женщине за то, что своею высокою женственностью она пробуждает в нас человека, от всего сердца и ото всей души еще и еще скажем ей: спасибо!.. И ответим ей нежностью на нежность.



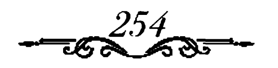
Послесловие

Книга Якова Мильнера-Иринина (1911–1989) «Женственность. О роли женского начала в нравственной жизни человечества» закончена им в 1973 г. Автор подчеркивает: «Эта тема выделена нами в этике впервые и выделена нами ... отнюдь не случайно — не только потому что женственность — человечность в женщине (ведь и мужественность — человечность в мужчине), но и потому — и это главное, — что роль женщины в нравственной жизни более велика, нежели роль мужчины, — и именно благодаря особенностям женского начала ее существа, — роль эта такова, что она просто не может быть переоценена» (*Мильнер-Иринин Я. А.* Женственность. О роли женского начала в нравственной жизни человечества. Материнство. С. 154)*. И тем менее признание в высшей степени благородной роли женщины в человечестве может оскорбить нравственно образующего себя мужчину, что он и сам повседневно и повсечасно испытывает на себе ее облагораживающее влияние.

Значение женщины в нравственном сознании и росте человека и человечества глубоко, разносторонне и всеобъемлюще. «Ибо сказывается не только в нравственно-революционном подвиге самой женщины, не только в прямом воспитательном ее влиянии, не только в материнской ласке и женской ласке вообще, не только в неотразимом нравственном воздействии самой женской красоты, изящества и поэтичности самого облика женщины, оно сказывается — для мужчины, и не только для мужчины, — в самом наличии женского начала в природе вещей» (Доброта. С. 197).

И если человек призван быть укротителем стихии, то женщина — «укротительница стихии вдвойне — по самой природе женской доброты, по самой природе существа мирного и трудолюбивого» (Доброта. С. 193). А женщина к тому же и прекрасна вдвойне: помимо того, что

* Далее цитируем так: Название главы (Материнство, Доброта, Женщина и идеал, Венец творения и др.). С.



она прекрасна как человек — созидатель добра, она еще прекрасна и как очаровательная женщина, предмет восторженного поклонения мужчины: человек ведь — не бесполое существо и в этом смысле родственен животворящей природе.

Однако же сама природа, при всей своей безграничной стихийной мощи, не в состоянии самостоятельно создать прекрасную и неповторимую женскую красоту. Соразмерность гармоничности и грациозности в природе — в мире растений и животных — имеет сугубо ограниченный характер, составляя лишь физическую сторону изящества. У прелестной женщины же чисто физическая сторона изящества необходимо связана еще и с ее душевным и духовным ее складом, с ее нравственными запросами — с ее одухотворенностью. Возвышенной одухотворенностью светится непременно лицо очаровательной женщины при всем том, что красота женского лица разнообразится от народа к народу, от поколения к поколению, от одной индивидуальности к другой. Ласковая улыбка, отражение душевных переживаний во взоре сообщают выразительному лицу женщины необычайную прелесть и необыкновенную же силу: сочетание властности и одновременно нежности завораживает.

Безграничное обаяние женщины в органическом единстве физической и духовной ее красоты — в том именно единстве, для которого человечество давно нашло выразительное и точное слово — «женственность». Но как научно обоснованная этическая категория женственность впервые трактуется Мильнером-Ирининым и рассматривается им как «драгоценный сплав природности, социальности и человечности».

Природа в процессе своей долгой стихийной эволюции постепенно, путем скрупулезного отбора и накопления бесчисленных и неприметных изменений формирует совершенство женского организма и женского тела — внешнего облика женщины.

Общество в своем историческом развитии, в процессе жизненно-необходимого для себя созидательного труда создает женщину трудолюбивой, осуществляющей со всеми трудящимися великий человеческий подвиг по творчеству добра, то есть по созданию нового, очеловеченного мира, поскольку существующий мир, подчас неприглядный и жестокий, угнетает человека, делает его несчастным.

Человечность же, воплощенная именно в женском начале, создается самою женщиной, нравственно преобразующей свое сознание, воспитывающей свои благородные душевные качества и образующей себя в духе принципов истинной человечности, в духе идеала добра — согласно этической концепции нравственной жизни человека, досконально разработанной Мильнером-Ирининым раннее в его фундаментальном



научном труде «Этика, или Принципы истинной человечности» (издание первое, 1963 г. и второе, стереотипное, 1999 г.)*.

Поскольку же «Нравственная жизнь человечества» заключена в заголовке Монографии: «О роли женского начала в нравственной жизни человечества», остановимся и на само́й последовательно научной, материалистической концепции нравственной жизни человека и всего человечества, созданной Мильнером-Ирининым.

Нравственная жизнь человека — этическая концепция Я. А. Мильнера-Иринина

Истоки нравственности

Историческое возникновение человека, закономерное и случайное одновременно, явилось одной из величайших вех по пути вечного самоопределения Природы в соответствии с ее стихийным внутренне-противоречивым законом существования — Природы как самопричины (абсолютная сущность Природы) и действования — Природы как действия себя (в явлениях, в пределах абсолютной сущности Природы).

Благодаря тому, что сущность Природы как самопричины допускает возможность (а следовательно, при известных условиях) и действительность бесконечно многих явлений, человек оказывается в состоянии изменять Природу в ее явлениях — в пределах ее абсолютной сущности. Однако изменить законы, выражающие самое абсолютную сущность Природы или следующие из ее сути, человек не в силах: этим его возможности по изменению мира ограничиваются.

Преобразовывая посредством труда и в труде преднаходимые в природе вещества в целях сделать их пригодными для удовлетворения насущных потребностей, человек, еще сам того не сознавая, изменял старый и творил новый мир. Радикально же новым в природе является именно осознание человеком ее законов в своей материально-производственной, трудовой практике.

Человек, осознавший свое историческое назначение в труде и через труд, исправляя случайности, допущенные природой, созидает мир новый не стихийно-необходимо, как природа, но вполне сознательно и целеустремленно, то есть разумно-необходимо — в интересах счастья человека и человечества. Через материально-трудовую практику и осуществляется связь человека и природы, причем человек составляет

---

* Далее цитируем издание 1999 г. так: Этика. С.



разумное, сознательное, вполне активное начало этой связи в отличие от других живых организмов.

С порождением человека природой происходит ее самораздвоение на два противоположных элемента: 1) бытие, охватывающее собой все то, что есть голый и слепой факт существования в природе и обществе, формой необходимости которого является стихийная, случайная необходимость, и 2) долженствование (историческим носителем которого является человек как существо общественное), диктующее творческое изменение природного и общественного бытия на основе разумной, свободной необходимости в интересах счастья человека и человечества.

В кардинальное отличие от принудительной в отношении человека (случайной) необходимости бытия, свободная (разумная) необходимость долженствования, осуществляемая человеком, освобождена от случайностей, свойственных объективной внутренне-противоречивой природной и общественной необходимости, которые и придают принудительной необходимости бытия ее случайный, слепой, принудительно-стихийный характер. Свободная же необходимость в своей основе есть необходимость, прошедшая через горнило познавательной энергии человека. На свободную и принудительную необходимости с порождением человека раздваивается абсолютная внутренне-противоречивая необходимость Природы (проистекающая из ее внутренне-противоречивой сущности самопричины) так, что эти две формы необходимости находятся между собой в состоянии противоречия на общей стихийной основе абсолютной необходимости Природы, — противоречия, разрешаемого природой же, но уже в лице человечества в его исторической деятельности по изменению старого и созиданию нового, более совершенного мира.

Постоянно и стихийно полагающее и разрешающее себя противоречие, составляющее жизнь Природы в целом и человека в том числе, приобретает только для человека морально-осознанный характер — в виде противоречия между бытием и долженствованием. В материально-трудовой практике общественно-исторического человека противоречие между бытием и долженствованием зарождается как осмысленное человеком противоречие между сознательным, целенаправленным действием человека и стихийным, слепым сопротивлением со стороны природы этому действию. В труде же это противоречие и разрешается — преодолевается исторически в новом, очеловеченном мире, творимом человечеством в ходе его общественного развития.

Осознание человеком противоречия между бытием и долженствованием составляет по Мильнеру-Иринину «живую клеточку морального (нравственного) сознания», создает почву для самой возможности морального



сознания, связывает внутренний мир человека со всем окружающим миром. Нравственное чувство присуще человеку с самого происхождения человека и человеческого общества в природе. И возникает оно из первоначального общения людей в процессе труда (в процессе добывания средств к жизни), когда у человека вырабатываются навыки — вносить элементы разумной целесообразности во все решительно и прежде всего в отношения с людьми. Отсюда и нравственность, нравственное сознание. Субъективные условия нравственного (морального) сознания состоят в историко-логической преемственности идей, когда каждая данная завоеванная уже ступень нравственного самосознания служит по необходимости исходным пунктом для дальнейшего развития и совершенствования. В порядке же разрешения морально осознанного противоречия между бытием и долженствованием люди ставят перед собой лишь те конкретные нравственные цели, которые всецело определены объективными закономерностями существующего, и в этом — объективные условия нравственного сознания.

Вместе с углублением и развитием общественно-исторического процесса, вместе с нравственным самосовершенствованием человечества в целом и каждого человека в отдельности, — совершенствуется по содержанию и нравственность, постоянно, однако же, пребывая неизменной по своей сущности. И существо нравственности состоит в истинной человечности — сущности человечества, квинтэссенции человечества — исключающей несовместимые с нравственностью слабости человеческой природы, которые имеют своим источником несовершенное физическое и социальное бытие человека, отражающееся в его психическом складе. Безнравственность же не есть зло, как свойство характера, но есть «временное и частичное притупление нравственного чувства, и человек потому и человек, в том и состоит его существенное отличие, что он способен внутренне, вполне сознательно исправиться» (Этика. С. 221).

Объективную основу нравственности (как духовного — внутреннего объединения людей между собой) составляет материальный процесс труда, который, вместе с тем, составляет и объективную основу сущности общества (как внешнего объединения людей), так же как и объективную основу сущности каждого из членов общества — человека как разумного преобразователя старого и творца нового. Как творчество нового, очеловеченного мира разумной свободной необходимости в старом и из старого мира со всеми его недостатками — понимается общественная история. «Единственное адекватное определение сущности человека общеизвестно: человек по своей сущности — совокупность всех общественных отношений», «как гласит классическое и предельно точное определение» (Этика. С. 253, 362).

Материальная основа нравственной жизни человека — его объективная общественная природа, его материально-производственная, трудовая практика, составляющая основу сущности человека как совокупности всех общественных отношений.

«Совокупностью же общественных отношений является единственно человек и ни одно другое живое существо во всей бесконечной вселенной... Даже труд в своей развитой человеком форме, в качестве человеческого труда, и в самом деле являющийся сущностью человека, в своей первоначальной, примитивной форме как источник добывания средств к жизни не является исключительным достоянием человека, но зарождается еще в недрах животного царства» (Этика. С. 253). Материально-трудовая практика же людей есть, в свою очередь, не что иное, как «целенаправленная творчески-преобразовательная деятельность по изменению старого и созиданию нового, разумного, очеловеченного мира. Способ производства материальных благ, составляющий основу данной общественно-экономической формации, есть исторически определенный способ изменения старого и созидания нового мира человеком в природе и обществе». Отсюда и «единственное научное понимание сущности человека как творца и созидателя нового мира» (Этика. С. 50). А поскольку человек стал и все более им становился и становится только в обществе других людей, то «революционизируя мир, человек одновременно революционизирует и свои собственные общественные отношения. И каждая новая веха по пути возведения нового мира в природе была одновременно и важной вехой по пути созидания нового мира в обществе, по пути все большего расширения и укрепления общественных связей, пока человек, наконец, не понял, что его счастье неразрывно связано со счастьем всего человечества, что только в обществе, основанном на началах истинной человечности, только в коммунистическом обществе он обретет, наконец, ту общественную форму, которая единственно будет адекватна человеческой сущности, раскрытой уже в процессе исторического развития во всем необычайном богатстве своего содержания» (Этика. С. 362–363).

Поскольку человек уже существует в природе, он как совокупность общественных отношений не подчинен безраздельно законам развития органического мира, поэтому не только не теряет свою сущность в процессе своего развития — общественного развития, но, как раз напротив, утверждается в своем человеческом качестве все больше и совершеннее по мере совершенствования самогó общественного устройства, наполняясь все новым конкретным содержанием с каждой новой общественно-экономической формацией.

Из сокровеннейшей сущности человека, единственно ему (из живых существ во всей бесконечной вселенной) присущей, необходимо проистекают истинные отличительные особенности человека: единообразие его психофизической конституции, его язык, неразрывный с мышлением, его развитой разум — разум нравственный, интеллект. Человеческий интеллект выступает активным началом в разрешении (преодолении) морально осознанного человеком противоречия между бытием и долженствованием, противополагая себя лишь нежелательным объективным случайностям природы (обусловленным объективной внутренней противоречивостью ее сущности как самопричины). И поддерживает интеллект именно ту тенденцию объективной необходимости, которая прокладывает себе путь (тоже вполне случайно относительно сущности природы) через случайности нежелательные, соответствуя запросам самого интеллекта. Интеллект, нравственный разум человека, твердо опирается на эту свою благоприятную тенденцию в своих действиях и своем ожидании будущего — именно того нового мира, в котором и осуществляется единство бытия и долженствования — единство, однако, сугубо временное и относительное, тогда как само противоречие между бытием и долженствованием пребывает положительно бесконечно: с возникновением человечества и до тех пор, пока существует человеческое общество.

Без свободной утверждающей способности нравственного разума человека невозможно сознательное и разумное, целенаправленное, творческое преобразование существующего. И субъективный мир сознания человека накрепко связан с объективным миром существующего (с действительностью) посредством объективной общественной природы человека: то, что субъективно является сознательным творческим преобразованием существующего, объективно же является стихийным преобразованием существующего. А вся идеальная сфера жизни общества есть не что иное, как субъективное выражение его объективной, материальной (трудовой), творчески-преобразовательной деятельности. С необходимостью (неизбежностью) отражаясь в сознании человека, его объективная общественная природа выражается как общечеловеческая совесть: совесть является идеальной формой относительно своего объективного содержания — общественной природы человека.

Идеальное условие нравственной жизни — совесть:
субъективное (идеальное) выражение объективной общественной природы человека — его материально-производственной, трудовой деятельности, творчески-преобразовательной по существу.



Объективная общественная природа человека идеально отображена в совести, являющейся идеальной формой относительно своего объективного содержания — общественной природы человека. Реальная сторона общественной природы человека, выражающая себя как сущее — момент бытия, и идеальная ее сторона, выражающая себя как должное — момент долженствования, находятся между собой в том же органическом и неразрывном единстве (диалектика), как и представляющие собой противоположности бытие и долженствование.

Практическое преобразование существующего в интересах счастья человека и человечества основано на истинном познании требований и запросов совести. Поступать по совести — значит поступать нравственно. «Разум, рассматриваемый под углом зрения собственной причины, есть совесть... Эта причина, воплощенная в совести как субъективном (идеальном) выражении объективной общественной природы человека, и есть содержание разума. Рассматриваемый под углом зрения действия собственной причины разум есть воля, то есть причина в действии (действующая причина). В качестве субъективного (идеального) воплощения объективной общественной природы в действии (действующей объективной общественной природы) воля есть форма разума. Таким образом, совесть выступает перед нами как идеальное содержание разума, а воля — как его же идеальная форма» (Этика. С. 31).

Воля, являясь неотъемлемой чертой общественного по своему существу разума человека, есть сознательное утверждение (стремление к чему-либо: к истине ли, к правде, к красоте) или же сознательное отрицание (отвращение от чего-либо: от лжи, от кривды, от уродства). Иметь волю (силу воли) поступать нравственно, по совести — значит поступать морально. Именно совестливая сторона разума человека определяет мотив моральной (категорической) обязательности логики разума, когда человек оценивает критически результаты познания под углом зрения совести, то есть под углом зрения насущных интересов своей общественной природы (в отличие от другой стороны — простого, пассивного отображения в сознании человека объективных закономерностей существующего). Мотив моральной обязательности заставляет человека направлять стихийный ход вещей именно по прогрессивной, действующей в интересах человечества стезе, — несмотря на одинаковую (вследствие объективной внутренней противоречивости природы) возможность как «прогрессивного», так и «регрессивного» развития.

Воля и направляет деятельность осознавшего свое историческое назначение человека на разрешение противоречия между бытием и долженствованием. Свобода воли же всецело предопределена свободной необхо-



димостью творчески-созидательного труда человека. Но если свобода воли каждого отдельного человека ограничена вследствие обусловленности уровнем его нравственного развития, свобода воли всего человечества границ не имеет: она углубляется и неуклонно расширяется исторически — по мере общественного развития, по мере развития самого человечества, по мере творчества нового, разумного, очеловеченного, свободного мира.

А поскольку совесть общечеловеческая — первоисточник вечного нравственного беспокойства, мир существующий, подчиненный принудительной в отношении человека необходимости, человека не удовлетворяет и он не может успокоиться на достигнутом: невозможен момент, когда достигнутое сможет вполне и навеки удовлетворить человечество, и в ходе общественно-исторического развития представление о должном (порождаемое самой жизнью как отрицание сущего со всеми его ограничениями и недостатками) углубляется и обогащается непрестанно, хотя (в соответствии с диалектикой) неизменно же остается именно понятием о должном.

Незыблемость же совести общечеловеческой основана на том, что при непрерывном своем росте и совершенствовании вместе с непрерывным же ростом и совершенствованием самого человечества в процессе общественно-исторического развития она остается не чем иным, как той же совестью подобно тому, как человечество не перестает быть человечеством — творцом новой природы, нового общества и нового же самого себя, одним словом, творцом нового мира в качестве идеала должного. И такой новый мир, более совершенный, и составляет внутреннее (имманентное) содержание самой совести, поскольку рассматривается она внутри самое себя. Поэтому-то совесть и является идеальной категорией не только как отражение в сознании объективной общественной природы человека, но и в смысле недосягаемости своего внутреннего (имманентного) идеала — постоянно развивающегося идеала должного.

Обусловливая непрерывность совести как субъективного идеального выражения объективной общественной природы человека, «нравственное развитие совершается всегда и неизменно только и исключительно созидательно, поступательно, невзирая на смены общественных формаций» (Этика. С. 353).

Верховная цель нравственной жизни — идеал добра как имманентный идеал совести, нравственный идеал, верховный этический идеал, адекватен самой общечеловеческой совести: составляет ее внутреннее (имманентное) содержание (совесть рассматривается внутри самое себя).



Верховная цель нравственной жизни — человечного существования и действования — в революционном изменении существующего и создании на его основе нового, разумного, свободного и нравственного мира, одним словом, очеловеченного мира. Добро и есть тот идеальный, новый мир, который реально призвано строить человечество в процессе своего общественно-исторического развития путем преобразования несовершенного старого мира в более совершенный новый.

Творчески-преобразовательная деятельность общественно-исторического человека в качестве своей материальной предпосылки имеет объективную природу с ее стихийной творческой мощью, причем природа не из ничего творит, а только преобразует старое в новое: расчленяет старое и воссоздает из его элементов новое. В процессе материально-трудовой практики человек, следуя природе, тоже расчленяет и воссоздает элементы старого в новое, но в кардинальное отличие от стихийно действующей природы, человек преобразует преднаходимые им в природе вещества сознательно, целеустремленно. И в человеческом сознании прямым выражением материальной предпосылки является идеальная предпосылка творчески-преобразовательной деятельности — аналитически-синтетическая деятельность его сознания, именно благодаря которой и возможны объективное познание вещей, их оценка и их преобразование.

С тех пор как человек появился на свет, он начал творить новое — такое принципиально новое, какого до него в природе не было, при всем ее бесконечном качественном самообновлении. Все дальнейшее общественно-историческое развитие человечества было лишь дальнейшим развитием и совершенствованием этого нового (свободного, разумного и нравственного в природе, в обществе и в человеческом сознании) в борьбе не с устаревшим новым же (менее свободным, менее разумным, менее нравственным), но именно со старым в точном и собственном значении этого слова, то есть с принудительным, неразумным и ненравственным по природе (со стихией естественного и общественного бытия, со стихией в самом сознании человека). И по мере развертывания, расширения и углубления этой борьбы в процессе общественно-исторического развития это новое, творимое человечеством, все более утверждалось в природе, обществе и сознании, все более развивалось и обогащалось по содержанию, не переставая быть новым, выражаясь в прямой и последовательно-поступательной непрерывности совести — нравственного сознания человечества: сознания, включающего в себя познавательную, оценочную и морально-волевую сферы, внутренне и необходимо связанные между собой.



Познавательная, оценочная и морально-волевая сферы исчерпывают собою всю деятельность человеческого сознания так же, как в деятельности по творчеству нового мира исчерпывается без остатка вся сущность человека (большего по своей истинной природе он сделать не в состоянии), а тем самым человек обязывается созидать этот мир по максимальной мерке во всех возможных и мыслимых отношениях — познавательном, эстетическом и моральном.

Познавательная деятельность сознания в ее исчерпывающем выражении представлена истиной — идеалом теоретической, научной деятельности общественно-исторического человека. Иными словами, истина — это достигнутая человечеством (в процессе общественного развития) исторически определенная мера (ступень) идеально правильного понимания бытия (естественного и общественного), то есть такого понимания, которое основано на познании присущих бытию объективных закономерностей, проистекающих из господства стихийной необходимости. На каждом данном, исторически определенном этапе развития общества результатом познания бытия является момент истины идеальной. Решающим в доказательстве истины является общественно-историческая практика людей и объективная логика самих вещей — диалектика. Постижение истины позволяет человеку составить себе идеальную модель реального старого мира, вскрыть господствующие в нем объективные закономерности и, опираясь на их знание, изменять старый мир.

Морально-волевая деятельность сознания в ее исчерпывающем выражении представлена правдой — идеалом практической, общественно-революционной деятельности общественно-исторического человека. Правда есть достигнутая человечеством (в процессе общественного развития) исторически определенная мера (ступень) идеально правильного понимания долженствования, такого понимания, которое основано на познании требований и запросов совести, выражающих разумную необходимость, сознательно осуществляемую человеком в силу его объективной общественной и творчески-созидательной, нравственной природы. На каждом данном, исторически определенном этапе развития общества результатом познания долженствования является момент правды идеальной. Истинное познание требований и запросов совести обеспечивает правильность целеполагающей деятельности — практического преобразования существующего в интересах истинного человеческого счастья, то есть в интересах именно полной (исчерпывающей) реализации сущности человека. Постижение правды позволяет человеку создать в своем уме идеальную модель реального нового мира, в соответствии с которой он и преобразует старый мир.



Идеальная морально-волевая деятельность — морально-волевая деятельность сознания — находится на пороге прямого, практического действования по изменению старого — созиданию нового мира. Она служит предпосылкой для реальной морально-волевой деятельности — морально-волевой деятельности общественно-исторического человека: его прямого практического вторжения в процессы объективной действительности в целях ее революционного преобразования на началах идеала добра.

Оценочная (эстетическая) деятельность сознания в ее исчерпывающем выражении представлена красотой — идеалом художественного творчества. Красота — это достигнутая человечеством (в процессе общественного развития) исторически определенная мера (ступень) идеально правильного понимания единства бытия и долженствования, того единства, которое осуществляется человеком в порядке разрешения противоречия между бытием и долженствованием в творимом человеком новом, очеловеченном мире. На каждом данном, исторически определенном этапе развития общества результатом познания противоречия между бытием и долженствованием в их единстве — в процессе практической творчески-преобразовательной деятельности общественно-исторического человека — является момент идеальной красоты. Идеально правильное понимание единства бытия и долженствования основано на истинном познании противоречия между ними и позволяет определить как степень совершенства, достигнутого человечеством в реализации своего исторического назначения, так и степень совершенства самого преобразованного мира.

Высшим же синтезом истины в идеале, правды в идеале и красоты в идеале является добро, реально претворяемое творчески-созидательной деятельностью общественно-исторического человека во все возможные блага в новом, очеловеченном мире и в новом же очеловеченном человеке. Благо есть момент добра — практический результат целенаправленной деятельности общественно-исторического человека по разумному преобразованию существующего на началах истины, правды и красоты на каждом данном, исторически определенном этапе развития общества. И становится благом добро (должное) в результате своей реализации в жизни: при конкретном воплощении добра в данных, совершенно определенных обстоятельствах с неизбежными поправками и отклонениями, вызываемыми конкретными условиями, местом и временем, из-за чего реализованное уже в жизни добро по необходимости перестает быть идеалом.

Благое (нравственное) проистекает из общественной, разумной и доброй природы человека — в ней выражается истинно человечное в людях: развитый разум, совесть, свободная воля. Из несвободы же про-

истекает злое (безнравственное), когда извне принуждается человек принудительной стихией (общественной в том числе) к инстинктивному сохранению своего физического (физиологического) существования подчас даже вопреки совести и чести, вопреки всему истинно человечному. Тогда как в свободе от безнравственных мотивов и невежества, от действия низменных страстей (затемняющих разум и загрязняющих душу) состоит свобода именно нравственная.

Истинная, высшая, нравственная свобода человека воплощена в имманентном идеале совести, идеале добра и составляют ее: свобода познавательная, свобода оценочно-критическая и свобода морально-волевая. Нравственная свобода является предпосылкой творческого, революционного изменения действительности в направлении добра: истины, правды и красоты. Само же это творческое изменение действительности: неустанное созидание и совершенствование нового, очеловеченного, свободного мира — представляет собой настоящее положительное содержание нравственной свободы человека.

Степень обретенной человеком внутренней, духовной, или нравственной, свободы обнаруживается в добродетели — таком свойстве характера человека, которое определяет постоянный нравственный образ его мыслей и действий. Добродетель является в такой же мере свойством характера добродетельного человека, как и средством для достижения им цели нравственности: в средство ради достижения верховной этической цели — идеала добра добродетельный человек обращает всю свою жизнь. Путь к добродетельной жизни да озаряет тебе «верховный идеал добра, являющийся последним итогом и решающим выводом всей истории человеческого духа, средоточием и смыслом всей культуры человечества, величайшим, несомненнейшим и заветнейшим завоеванием человеческого гения, идеал, имманентный совести» (Этика. С. 455). В качестве же самóго творчества добра добродетель составляет истинное содержание нравственной жизни человека.

Содержание нравственной жизни — добродетель,
практическое творчество добра, нравственная деятельность по осуществлению добра, в которой исчерпываются без остатка все заложенные в человеке способности — познавательная, оценочная и морально-волевая. Это такая благородная деятельность, в которой средства должны находиться в строжайшем соответствии с нравственной высотой самой цели.

Творчество добра есть одинаково и высшая добродетель человека — основа всех и всяческих добродетелей, и высшая реализация человеком своей сущности — верховное благо, или счастье, человеческого существа:



быть добродетельным — значит творить добро; полная же внутренняя удовлетворенность человека, сопровождающая добродетельный образ жизни, составляет его счастье. И настоящее несчастье для человека — это собственная его ущербность как человека, которой он себя жестоко наказывает сам, не реализуя свою глубочайшую сущность нравственного преобразователя существующего на началах идеала добра. Умственная ограниченность оборачивается нередко и прямой безнравственностью: «только ограниченный ум формализирует нравственное предписание, иссушает его, изымает из него его живое содержание, цепляясь за одну его пустую формулу, воображая при этом, что́ горше всего, что действует в духе строжайшей добродетели» (Этика. С. 288). Нравственный порок — отсутствие добродетели является прямым следствием непонимания человеком своей внутренней, духовной, нравственной свободы. И взысканием за порок является сам порок, как и наградой за добродетель — сама добродетель. Предрассудок, будто смерть равняет всех — и правого и виноватого, и добродетель и порок. Обязанности человека отнюдь не заканчиваются с его физической смертью; «как раз, напротив, они сохраняются в полной мере, навечно: ты обязан и после смерти творить добро, и только добро, — в этом твое истинное бессмертие, а это означает жить так, чтобы воспоминание о тебе связывалось с представлением о добродетели, а не о пороке, чтобы твой пример, пример твоей жизни, вдохновлял и твое потомство на подвиги во имя добра» (Этика. С. 134).

«Высшая добродетель человека — спасение человеческой жизни и обращение ее на служение добру. <...>

Высшая добродетель человека — излечение себе подобного и возвращение ему всех физических и умственных сил для нравственно-революционной деятельности во имя торжества добра. <...>

Высшая добродетель человека — всемерное ограждение и возвеличение человеческого достоинства. <...>

Высшая добродетель человека — бдительная охрана и превознесение нравственной свободы мысли и последовательная борьба за ее сохранение и расширение во имя блага человека» (Этика. С. 329–336).

«Высшая добродетель человека — последовательная и неуклонная борьба за мир между народами, за мирное сосуществование государств с различными социальными и политическими системами, за ликвидацию частной собственности на средства производства, порождающей войны, за торжество принципа общественной собственности, за торжество пролетарского интернационализма, за братское единение народов в человечестве, за предотвращение войн и их прекращение, если они все же вспыхнули» (Этика. С. 338).



Неоценимо огромное воспитательное значение истинно добродетельного человека: он является «ярчайшей демонстрацией того, что усилия, делаемые людьми на тернистом пути интеллектуального, эстетического и морального самосовершенствования, могут и должны увенчаться успехом» (Этика. С. 326).

В совершенствовании человеком всех сфер своего сознания: и познавательной (логической), и оценочной (эстетической), и морально-волевой (этической) состоит самосозидание себя как сознательного общественного существа — иначе существа реально-духовного. Так что реально-духовное существо человек творит в себе и из себя сам и в той мере, в какой он образует и развивает в себе совесть — нравственно себя образует. Нравственно образующий себя человек — «тот, кто настолько сумел образовать себя в духе нравственного презрения к собственной боли, лишениям, страданиям и к самой смерти, что он нередко даже не ощущает этой физической боли, а еще чаще, конечно, действует наперекор ей, идет на всякие физические и душевные страдания и на самое смерть ради торжества общечеловеческого начала в нем — торжества совести, своего интимнейшего, духовного "я"» (Этика. С. 311).

По мере же роста и расширения творчески-познавательной, творчески-художественной и творчески-нравственной деятельности человека (в процессе его материально-трудовой практики) постоянно и поступательно растет и ширится свобода человека. И люди все более утверждаются в своей свободной, реально-духовной роли: само развитие человечества совершается от первобытного дикаря, неизмеримо больше страдающего, испытывающего на себе действие слепой и принудительной необходимости бытия, нежели оказывающего свое разумное воздействие на нее, — до человека будущего, как существа реально-духовного уже подготовляемого настоящим и не столько страдающего от действия слепой и принудительной необходимости бытия, сколько самого оказывающего на нее реальное воздействие в духе разумной, свободной необходимости.

Свободную (разумную) необходимость долженствования в противовес необходимости принудительной (как внешнего относительно человека естественного и социального бытия, так и внутреннего бытия в самом сознании человека) олицетворяет собой нравственный закон человечества — закон должного, а не сущего — в коренное отличие от всех остальных законов природы и общества. И в коренное же отличие от всех остальных законов природы и общества, которых бесчисленное множество (хотя все они и восходят к сущности Природы как самопричины), нравственный закон является одним-единственным, так как сводится к — единственной — общечеловеческой совести: к осознанию

человеком противоречия между сущим и должным и к категорическому (нравственному) императиву изменить сущее в соответствии с должным. Однако будучи единственным, нравственный закон является одновременно и всеобъемлющим — представляет собой научную, диалектическую абстракцию, заключающую в себе все богатство особенного и конкретного, что и позволяет следовать нравственному закону (в качестве верховного критерия) в практическом решении любых конкретно поставляемых жизнью проблем.

Общечеловеческую совесть во всех ее проявлениях претворяют в себе принципы истинной человечности, охватывая собою в своей целокупности (логическом единстве) все стороны духовной, нравственной сферы человека. В совести принципы истинной человечности до того органически взаимосвязаны, что нарушение любого из них с неизбежностью ведет к нарушению их всех. Но находясь между собой во всестороннем взаимодействии, взаимозависимости, взаимопроникновении, принципы истинной человечности не сводятся друг к другу, поэтому только изучая каждый из принципов в отдельности, можно постигнуть их строжайшую взаимосвязь в совести. В принципах истинной человечности, в высших принципах нравственной жизни людей, общечеловеческая совесть и воплощена как нравственный закон.

Нравственный закон жизни человека – целокупность принципов истинной человечности

Принцип совести повелевает: оберегать в себе совесть — внутреннее чувство, повелевающее поступать в соответствии с идеалом добра. Совесть — истинное средоточие духовной, нравственной жизни человечества и в ней возможность реально-духовного существа в человеке. Действительность же реально-духовного существа зависит от того, насколько человек сумел не только сберечь, но и развить в себе совесть.

Принцип самосовершенствования поэтому является логически следующим и предписывает он творить из себя человека: совершенствоваться интеллектуально, морально и эстетически.

Принцип добра требует неукоснительно претворять в жизни добро — верховный этический идеал человечества: реализовывать на практике, на деле свою творчески-преобразовательную человеческую природу, поскольку иначе невозможно самосовершенствоваться.

По принципу общественной собственности — бороться за становление и умножение общественной собственности на средства производства (где ее еще нет) и всячески ее развивать и охранять (где она уже завоевана), означает творить добро. Ведь первооснову добра и составляет обще-



ственная собственность на средства производства: она не только первоисточник всех и всяческих социальных благ (свободы и общественного равенства в том числе), но и надежная гарантия от первоисточника всех и всяческих социальных зол — эксплуатации человека человеком.

По принципу труда — неутомимо отстаивать и умножать общественную собственность на средства производства возможно лишь при условии, что владыкой мира станет общественно-полезный труд, сочетающий в себе труд физический и труд умственный (для гармонического развития личности). Ведь исключительно только трудом материальное и духовное достояние общества (его общественная собственность) и множится количественно и обогащается качественно.

По принципу свободы — действительно признать труд сущностью общественной природы человека возможно только, если самому сделаться внутренне, духовно свободным человеком, ибо раб, смирившийся со своим угнетением, не в состоянии претворять в жизни творчески-преобразовательную сущность, свободную по своему глубочайшему существу. Тем более, что духовная свобода человека есть свобода не только морально-волевая, но вместе с ней и интеллектуальная и эстетическая — в единстве.

По принципу благородства — быть свободным по силам лишь человеку благородному, то есть строго придерживающемуся нравственной гармонии цели и средств к ее достижению, поскольку безнравственное средство низводит саму нравственную цель к безнравственности же самого средства, превращая ее в свою противоположность.

По принципу благодарности — проявлять свое высокое благородство следует в отношениях с другими людьми, своими единомышленниками в форме искренней и активной признательности за взаимное обогащение человеческой природы, чему способствует нравственное взаимовлияние людей друг на друга.

По принципу мудрости — следовать всем этим духовным принципам способен только человек мудрый, быть же мудрым значит: 1) верить в человека — в несокрушимую мощь его разума, неистощимую сокровищницу его совести, в безграничную целительную силу его созидательной творчески-преобразовательной природы; 2) надеяться на конечное торжество добра — на успех усилий человека по реализации своей объективной общественной природы, своей нравственно-революционной деятельности по созиданию нового мира; 3) любить жизнь, условие всякого блага, интеллектуальной любовью — любить в ней все прекрасное, создаваемое прежде всего нравственной энергией самого человека; высшее же выражение любви к жизни — в беззаветной борьбе за добро вплоть до нравственного презрения к смерти, если это необходимо.



Принцип поступка заключает — стать мудрым возможно не иначе, как поступая в каждом отдельном случае только по совести и не медлить с исполнением велений совести, так как жизнь и здоровье далеко не целиком в нашей власти. В поступке вся целокупность принципов истинной человечности из нравственной теории вливается в практику, находя в том свое естественное и полное теоретическое завершение. В любом добром (нравственном) поступке воплощены все принципы истинной человечности в действии. Вот почему каждый добрый поступок велик и нет «малых добрых дел». Доброе дело, каким бы малым оно ни казалось всегда требует жертв: даже простое оказание материальной помощи другому, в ней неотложно нуждающемуся, связано часто с отказом в самом необходимом себе и своей семье. «Такова уже природа добродетельной жизни, что она не обходится без жертв, требует самоотречения, самоотверженности, самопожертвования, что и придает ей особую значительность и обаяние, значительность и обаяние настоящего подвига, делает ее истинно прекрасной» (Этика. С. 292).

Принцип поступка обогащает всю систему принципов истинной человечности «еще и тем богатством реального содержания, которое только и доставляется претворением его в реальной жизни». Однако реальный поступок и принцип поступка (как научный этический принцип) не одно и то же: если реальный поступок «всегда и неизменно реально определен, осязательно конкретен, то принцип поступка, при всей своей синтетичности, не выходит из рамок чисто теоретической конкретности, остается в реальном, жизненном смысле абстрактным. И иначе быть не может, ибо в противном случае он не мог бы служить в практических целях, не мог бы охватить собой каждый реальный жизненный поступок, а его назначение в том именно и состоит, чтобы охватить собой любой поступок или все поступки, без единого изъятия» (Этика. С. 69).

Принцип поступка, завершающий систему принципов истинной человечности, — повелевающий поступать по совести — смыкается с принципом совести, начальным принципом этой системы, — повелевающим оберегать в себе совесть: ведь оберегать совесть возможно только по совести поступая. И если в начальном принципе — принципе совести содержится указание на самоё условие нравственной жизни человека, то в завершающем принципе — принципе поступка содержится указание на самый смысл нравственной жизни. «Когда речь идет об этических принципах, или, что то же, о принципах истинной человечности, то особую важность имеет выяснение сущности человека вообще, — при всем том, что сущность человека неизбежно варьировалась исторически, приобретала новые особые применительно к каждой определен-

ной общественной формации, то есть при всем том, что определенный характер совокупности всех общественных отношений, составляющий природу человека, зависел от характера общественного строя. Принципы человечности, разумеется, углублялись и развивались вместе с общественно-историческим развитием, но они в то же время не переставали быть именно принципами человечности, ибо человеческая природа не только не прекращалась в процессе этого развития, но утверждалась все больше и больше» (Этика. С. 50–51).

С принципами истинной человечности, представляющими собой грани общечеловеческой совести, вполне совпадает и общественный долг — долг в своем истинном понимании по Мильнеру-Иринину как веление совести. Причем веление совести вовсе не является делом произвола каждого (делом его «особой», якобы ему одному присущей «совести»), но делом совести именно общечеловеческой, ибо иной и нет. «И как совесть есть начало общественное в человеке, так и долг есть общественный долг по природе, и в качестве такового вполне совпадает с совестью, если вне велений совести нет совести как таковой... Если источником общественного долга является совесть, то его целью является добро, а содержанием — добродетель, то есть деятельность по осуществлению добра, в которой исчерпываются без остатка все заложенные в человеке способности — познавательная, оценочная и морально-волевая» (Этика. С. 64–65).

Форма нравственной жизни — общественный долг

и состоит он в следовании велениям собственной совести в истинном ее понимании как велении совести общечеловеческой, в неукоснительном соблюдении принципов истинной человечности, принципов нравственной жизни человека. Общественный долг — это живая конкретизация (практическое претворение) абстрактных по существу принципов истинной человечности в реальном добром деле применительно к каждому данному случаю. Любая же конкретизация Принципов, сделавшаяся наличествующей (то есть по необходимости ставшая ограниченной данными конкретными обстоятельствами), уже является недостаточной в свете постоянно развивающегося нравственного самосознания человека. Поэтому-то только в своем абстрактном плане принципы истинной человечности и удовлетворяют человека вполне — именно в своей идеальной природе, в качестве идеала должного — того, что должно быть, но чего еще нет.

Идея долженствования возникает у человека в результате осознания им слепого, принудительного в отношении него, характера стихийной необходимости естественного и социального бытия (и собственного сознания человека в том числе, обусловленного бытием социальным). Идея дол-



женствования и противопоставляется человеком слепой, принудительной необходимости, формируясь в категориях морального сознания: человек не хочет мириться со слепой, принудительной для него необходимостью бытия, «какой бы железной и неотвратимой она ни казалась, и с полным на то основанием: человек не может жить в удушливой атмосфере безвременья слепой, а потому жестокой необходимости. В нем неумолчно звучит безусловное повеление совести: злу я не покоряюсь» (Этика. С. 129).

И прямой долг человека — выполнить себя, свое человеческое назначение и призвание творца нового, очеловеченного мира в наилучшей форме: «коль скоро человек призван по самой природе творить новый мир, то он должен творить его не иначе, как по максимальной мерке — наивысшей во всех решительно возможных и мыслимых отношениях» (Этика. С. 131). Из чувства общественного долга проистекает и сознание ответственности перед человечеством, проявляющееся в благодарности человека к своим единомышленникам «как в случае поощряющего одобрения, так и в случае сурового неодобрения (порицания) его поступка, — поскольку и в том и в другом случае честный человек ставится выше, чище, благороднее, одним словом, совершеннее, а в этом его высшее собственное стремление» (Этика. С. 358).

Для практического претворения абстрактных принципов истинной человечности в жизни, конкретизацией которых и является общественный долг, необходимо «так организовать душевную жизнь человека, чтобы она обеспечила ту необходимую душевную чистоту, без которой немыслимо претворение им в своей деятельности принципов нравственности» (Этика. С. 284). А внутренним средством для воспитания в себе таких прекрасных душевных качеств является система нравственных правил. Каждое из таких нравственных правил душевной жизни человека соответствует существу одного из принципов истинной человечности, составляющих духовную жизнь человека. Так, целью нравственного правила правдивости является воспитание себя в духе принципа совести, серьезности — в духе принципа самосовершенствования, самоотречения — в духе принципа добра, справедливости — в духе принципа общественной собственности, трудолюбия — в духе принципа труда, собственного достоинства — в духе принципа свободы, последовательности — в духе принципа благородства, сострадания (солидарности) — в духе принципа благодарности, скромности — в духе принципа мудрости, ответственности — в духе принципа поступка.

Аналогично системе духовных принципов истинной человечности, где начальный принцип системы — принцип совести смыкается с завершающим эту систему принципом поступка, в другой системе — в системе



душевных нравственных правил тоже начальное нравственное правило — правдивости смыкается с замыкающим и эту систему нравственным правилом — ответственности. И так же, как в начальном принципе системы принципов истинной человечности — принципе совести содержится указание на условие нравственной жизни, а в завершающем — принципе поступка содержится указание на смысл нравственной жизни, в другой системе, системе нравственных правил, в начальном нравственном правиле — правдивости содержится указание тоже на условие нравственности — только душевное (уже в психологическом плане), а в завершающем нравственном правиле — ответственности содержится указание на смысл нравственности, тоже душевный (в психологическом же плане). И как в сфере научного анализа принципов истинной человечности заключительный принцип — принцип поступка представляется синтетическим относительно остальных, так и заключительное нравственное правило ответственности является синтетическим же в отношении остальных нравственных правил. «Такова внутренняя аналогия принципов истинной человечности и нравственных правил, лишний раз подчеркивающая их глубокую и всестороннюю взаимосвязь» (*Мильнер-Иринин Я. А.* Этика — наука о должном. Актуальные проблемы марксистской этики. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1967. С. 56)*. Поэтому-то нравственные правила и представляют собой внутренние средства для реализации принципов истинной человечности в жизни.

Но в коренное отличие от духовных принципов истинной человечности, каждое из нравственных правил может иметь исключения — именно, когда в реальной жизни под натиском враждебных обстоятельств перестает следовать духу принципа истинной человечности, которому это правило соответствует. Будучи внутренними средствами для реализации в жизни человека принципов истинной человечности, нравственные правила служат для нравственного воспитания человеком именно самого себя, своей собственной души — в отличие от средств внешних: материальных, воздействующих на мир вещественный, и средств, воздействующих на других людей с целью образования духовно и воспитания душевно уже других людей, а не себя.

Воспитание себя в *нравственном правиле правдивости* создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа совести — «О совести и чести и о высоком достоинстве человека». Оберегать в себе совесть — нравственно образующим себя человеком воспринимается как повеление его собственной совести

---

* Далее цитируем так: Тбилисский сб. С.



вследствие совпадения в совести интимного и общечеловеческого. А поскольку абстрактный характер требований совести предполагает их конкретизацию в каждом отдельном случае самим данным, именно этим человеком, «никто кроме него самого не в состоянии правильно судить в его случае» (Тбилисский сб. С. 44). Правдивость является нравственным правилом благодаря исключительно тому, что отвечает духу принципа совести, «ибо только совесть есть начало нравственности, только она сообщает всему (любому правилу) характер нравственности. В той же мере, в какой правдивость противоречит принципу совести, принципам истинной человечности вообще, самому духу, живому содержанию нравственного закона, она вполне безнравственна» (Этика. С. 289).

Правдивость ради правдивости — безотносительно к принципу совести — нередко, в тех случаях, когда «идет вперекор с совестью, наносит нравственный вред непоправимый, например, когда правдивыми показаниями выдают товарищей по революционной борьбе их смертельным врагам» (*Мильнер-Иринин Я. А.* Категория «чистота» в науке этики. Личный архив. — *Ред.*)*.

Воспитание себя в *нравственном правиле серьезности* создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа самосовершенствования — «Об интеллектуальном, эстетическом и моральном самосовершенствовании, или о нравственном самосозидании человека». Необходимо быть во всеоружии знаний и во всеоружии духовного развития, научиться различать истину и ложь, красоту и безобразие, правду и кривду — чтобы правильно разобраться в велениях совести и правильно их в своей жизни претворять. «Неустанной и систематической заботой об умножении, углублении и развитии знаний человек способен оградить себя от страшной нравственной болезни, именуемой умственной ограниченностью, когда он от всей души стремится поступать по совести, а на самом деле, не ведая того, действует вопреки ей — вразрез с истинно понятым духом ее велений» (Этика. С. 291–292). На спасительный путь добродетели человек может встать не иначе, как строжайше запретит себе не только недопустимые помыслы, в которых выражаются намерения, побуждения или мотивы к совершению какого-либо неблаговидного поступка, но и просто лживые, легкомысленные и бесполезные мысли, засоряющие ум.

Серьезность ради серьезности — безотносительно к принципу самосовершенствования — «сплошь да рядом вырождается в интеллигентский самоанализ, самокопание души в собственной грязи, в жалкий и сквер-

* Далее цитируем так: Категория «чистота».



но пахнущий пустоцвет, именуемый самобичеванием» (Этика. С. 291). В лучшем же случае серьезность ради серьезности способна сделать человека просто «безулыбчивым, а ведь улыбка отличает человека — животное не наделено способностью улыбаться» (Категория «чистота»).

Воспитание себя в *нравственном правиле самоотречения (самоотверженности, самопожертвования*) создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа добра — «Об истине, правде и красоте, или об историческом назначении человека». Творчество добра (добродетель) как творчество нового, идеального мира неразрывно с совершенствованием мира реального в той мере, в какой он подчинен законам принудительной необходимости бытия, оказывающей стихийное сопротивление нравственной энергии человека. Поэтому-то «непрерывное благородное горение целой жизни истинно добродетельного человека» и не обходится без жертв с его стороны, требует от него самоотречения, самоотверженности, самопожертвования, что и придает его жизни особую «значительность и обаяние настоящего подвига, делает его истинно прекрасной» (Этика. С. 292, 326). Содержание нравственного правила самоотречения составляет именно нравственное самоотречение в коренное отличие от самоотречения простого, присущего в известных пределах также и животным. «Ни одна самка не станет есть прежде чем не насытятся ее детеныши; что же удивительного в том, что и человек поступает так же?» — но у человека это простое самоотречение распространяется более широко: не только на собственных детей и не «только на кровных близких, но и на близких по духу — друзей». Однако же забота о благе своих родных и близких (друзьях) — прежде заботы о благе собственном равносильна тому, «чтобы опять-таки заботиться лишь о собственном благе, ибо что такое родные и близкие человека, как не он сам?» Такая забота и остается актом самоотречения простого, но уже человеческого, а не животного. И совсем другое дело заботиться — прежде собственного блага — о благе постороннего тебе человека, считая это благо «высшим собственным благом».

Забота о «высшем собственном благе» становится актом уже не простого самоотречения, но самоотречения нравственного. «Нравственное самоотречение есть не что иное, как идеально преобразованное в соответствии с принципами истинной человечности простое самоотречение. Не будь этого простого самоотречения, нравственное самоотречение было бы беспочвенно, выглядело бы как возникшее из ничего, ибо человек — не чисто духовное, но именно реально-духовное существо» (Этика. С. 294). Высшая же степень нравственного самоотречения, отмеченного печатью бессмертия, имеет место тогда, когда борьба за добро, за реализацию принципов истинной человечности требует от человека

даже самой его смерти. Однако он не вправе жертвовать своей жизнью, если всесторонний анализ обстоятельств свидетельствует со всей неумолимостью, что жертва эта напрасна: не только не приведет к непосредственному осуществлению нравственной цели, но и не подготовит почву для ее осуществления в дальнейшем. И в той мере, в какой принцип добра «содержит в себе указание на высочайшую цель и верховный смысл человеческого существования вообще» нравственное самоотречение в качестве нравственного правила характеризует высокую душу человеческую. (Этика. С. 295). Без принципа же добра самоотречение «вырождается в недостойную игру собственной жизнью, в бессмысленное расточительство сил и средств» (Этика. С. 294).

Воспитание себя в *нравственном правиле справедливости* создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа общественной собственности — «Об общественной собственности, свободе и равенстве». Бороться за общественную собственность на средства производства и хранить ее как зеницу ока — прежде всего означает культивировать в себе непримиримость ко всякого рода эксплуатации человека, ко всякого рода социальному и национальному угнетению, к унижению высокого достоинства личности — того достоинства, которое решительно не допускает ни при каких обстоятельствах обращение с человеком как со средством даже для достижения хотя бы и нравственной цели. Всяческое социальное неравенство, являющееся результатом господства частной собственности, равно как и всякого рода недостатки, ограничивающие и сам принцип общественной собственности, — абсолютно недопустимы согласно нравственному правилу справедливости.

Претерпевает ограничения нравственное правило справедливости даже при социализме — строе с общественной собственностью, поскольку господствует еще экономический принцип труда и распределения (от каждого по способностям, каждому по труду): разве виноват человек в том, что наделен ограниченными способностями (если, конечно, сам не желает учиться и развивать свои способности), и разве это основание обрекать его на ограниченное удовлетворение потребностей? Экономический принцип труда и распределения в социалистическом обществе к тому же «таит в себе опасность превратиться в несправедливый принцип в том случае, если, вместо того чтобы служить ступенькой по пути к обществу коммунистическому, когда наконец, восторжествует этический принцип труда и распределения, он, напротив, служит препятствием к такому переходу, если дать ему закрепиться и развиться в качестве самоцели». И случается это тогда, когда существует слишком большое рас-



хождение в оплате труда высшей и низшей квалификации, влекущее за собой сильное имущественное неравенство, «оскорбляющее нравственное чувство справедливости, как наносящее ущерб торжеству этического принципа общественной собственности» (Этика. С. 297). Также велика опасность и того, что общественная собственность на орудия и средства производства может оказаться в распоряжении группы правителей фактически, когда из материального источника гражданской свободы орудия и средства производства «обращаются в свою противоположность — в материальный же источник гражданского рабства, попрания всех свобод и прав, из первоисточника всех благ — материальных и духовных в первоисточник всех и всяческих социальных зол» (Категория «чистота»).

Хотя нравственное правило справедливости и проистекает непосредственно из духовного принципа общественной собственности, оно распространяется «не только на сферу труда и распределения, не только на классовые и имущественные отношения людей в обществе, но и на все их отношения вообще, на все то, что отмечено печатью нравственного несовершенства, ибо, как и принципы истинной человечности, все нравственные правила, именно как нравственные, связаны между собой внутренней и органической связью»: кто воспитывает себя в духе справедливости, ранее воспитывал себя в духе самоотречения, еще раньше — в духе серьезности, а перед этим — в духе правдивости; точнее же — «он воспитал и воспитывает себя одновременно во всех этих нравственных правилах», так что немыслим справедливый человек и в то же время не самоотверженный, не серьезный, не правдивый. (Этика. С. 299).

Воспитание себя в *нравственном правиле трудолюбия* создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа труда — «О творчески-созидательном труде человека». Общественно-полезный производительный труд делает нравственно образующего себя человека действительным творцом истории: в труде и трудом человечество творит добро, тот новый мир, который отвечал бы нравственному самосознанию человека. Трудом не только воспроизводится, множится и обогащается материальное достояние общества, но в нем же и претворяются все лучшие нравственные качества, так что труд и отец всех добродетелей: в нем нравственные качества «создаются, выявляются, воспитываются, развертываются, растут, умножаются, обогащаются, развиваются и закаляются... В свободном труде сливаются воедино долг и наслаждение — как сознание исполненного долга и как радость творчества» (Этика. С. 210–211).

Поэтому-то освобождение труда — первейшая задача нравственно-революционной деятельности человека и возможно оно только на

основе ниспровержения частной собственности на орудия и средства производства и установления великого этического принципа общественной собственности. И в историческом ракурсе — именно захват кучкой насильников себе в частную собственность средств производства, бывших общественными при первобытнообщинном строе, предопределил роковое расчленение общества на антагонистические классы эксплуататоров (рабовладельцев) и эксплуатируемых (рабов). В дальнейшем же, с появлением машин и развития техники в классово-эксплуататорском обществе, эксплуатируемый (рабочий) превращается в простой придаток к машине, а управляющий производством — в надсмотрщика, «выколачивающего из рабочего все силы ради умножения прибыли их общего хозяина — капиталиста, владельца предприятия» (эксплуататора). Также и из таких надсмотрщиков, не являющихся производителями материальных благ, слагается целый паразитический слой прямых наемников капитала, обслуживающих через разветвленнейший государственный аппарат интересы эксплуататорских классов. И эта так называемая «интеллигенция», несшая охранную функцию в интересах эксплуататоров и против эксплуатируемых, представляла в глазах трудящихся тоже — так называемый — «умственный труд», тогда как действительные представители труда умственного, внесшие неоценимый вклад в культуру человечества, — ученые, писатели, художники, революционные борцы с господствующим злом, связавшие свою судьбу с классовыми интересами трудового народа, — в «буквальном смысле слова тонули в массе посредственностей, бездарных прихлебателей и проходимцев.<...> Так одно социальное и нравственное зло, а именно простое первоначальное отделение умственного труда от физического, совершившееся еще в рамках первобытнообщинного общества, повлекло за собой настоящую цепную реакцию всяческого социального и нравственного зла, повлекло за собой настоящее уродование человеческой природы, и это должно служить предостерегающим и поучительным уроком для будущего. Поистине, одна ложь влечет за собой другую: одна привилегия влечет за собой массу других и, обратившись в систему, наносит серьезный качественный урон жизни целого человеческого общества» (Этика. С. 302).

Уродование человеческой природы из-за более высокой оплаты умственного труда (как более квалифицированного) по сравнению с физическим имеет место и в странах, вставших на социалистический путь развития. Материальная заинтересованность в высокооплачиваемых должностях труда умственного будет отчасти ликвидирована «только с установлением государственного максимума оплаты труда, в основу которого будет положена максимальная оплата труда рабочего высшей квалификации...

Кроме того, ликвидация различий между умственным и физическим трудом должна осуществляться прямыми революционными мерами — путем установления обязательного минимума физического труда для всех, без единого изъятия, членов общества» (Этика. С. 303). Необходимыми предпосылками же для перехода окончательного всех трудоспособных членов общества на соединенный физический и умственный труд окажутся меры по трудовому воспитанию в общеобразовательной школе и по частичному переводу специального образования на вечерние часы, свободные от непосредственной физической работы на производстве. А поскольку физическим трудом будут заниматься все без исключения, появится возможность резкого сокращения рабочего дня и высвобождения времени для практических занятий умственным трудом для всех рабочих (без отрыва от производства) — «будет ли это еще только подготовка к таким занятиям в специальных учебных заведениях или же прямое участие в управлении производством или государством, так как управленческий аппарат будет сведен к своему естественному минимуму. Положительно невозможно мыслить себе человека будущего иным, как целостным человеком высокой физической и духовной организации. Только такая здоровая и целостная человеческая природа способна к положительно бесконечному развитию, отвечает нравственному самосознанию человечества, ибо увековечение разделения умственного и физического труда грозило бы человечеству и умственным и физическим вырождением» (Этика. С. 304).

И потому воспитание себя в нравственном правиле трудолюбия состоит в воспитании в себе прежде всего любви к труду физическому; умственный же труд должен перемежаться с физическим, не говоря уже о том, что смена физического и умственного труда доставляет отдых и одинаково плодотворно действует и на тот, и на другой. Нравственное правило трудолюбия хотя и проистекает непосредственно из духовного принципа труда, распространяется «не только на непосредственно охватываемую им сферу общественно-полезного труда, в первую очередь физического труда, но и решительно на все сферы человеческого существования: трудолюбивый человек одинаково трудолюбив и в исполнении своих служебных обязанностей, и в исполнении своих общественных обязанностей, и в исполнении своего нравственного долга — в творчестве добра, и в неустанном самовоспитании и самообразовании себя в духе нравственного закона совести — принципов истинной человечности» (Этика. С. 300).

Воспитание себя в *нравственном правиле собственного достоинства* создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа свободы — «О внутренней, духовной, или нравственной, свободе человека». Нельзя стать свободным,

если не обладать чувством собственного достоинства. Человек же с чувством собственного достоинства не только сам не станет унижаться до принудительной необходимости бытия, но и не сможет мириться с унижением человеческого достоинства в других: он непримирим ко всему, что оскорбляет высокое достоинство человека как существа нравственного, наделенного совестью. Именно чувства собственного достоинства недостает человеку приниженному — часто робкому и трусливому, а потому и безвольному. Волевая же ограниченность человека, слабость его характера — непосредственная причина многих безнравственных поступков. И прямым следствием отсутствия у человека собственного достоинства является оппортунизм — идущее вперекор совести соглашательство всякого рода: в науке, в политике, в жизни.

Однако же и само чувство собственного достоинства может превратиться в прямо безнравственное чувство, вырождаясь в кичливость, преувеличенное самомнение и презрительное отношение к другому — в общем, в тех случаях, когда нет согласования чувства собственного достоинства с духовным принципом нравственной свободы. Другими словами, собственное достоинство ради самого собственного достоинства — источник прямой безнравственности: будучи превращено в самоцель, оно приносит неисчислимые горести человечеству. Именно чувством собственного достоинства прикрывают свое неприглядное лицо идеологи низкопробных «теорий» сверхчеловека, сильной личности, расы господ. И только исключительно в строжайшем единстве с принципом духовной, нравственной свободы чувство собственного достоинства становится нравственным правилом, существенно необходимым для воспитания своей души в духе нравственного закона совести.

Воспитание себя в *нравственном правиле последовательности* создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа благородства — «О целях и средствах и о благородстве характера». С точки зрения нравственной гармонии целей и средств к их достижению нравственным может считаться только то средство, которое, будучи само возведено в цель, в полной мере сохраняет свой нравственный характер. Безнравственными же (запрещенными совестью) средствами достигнуть высокой (нравственной) цели невозможно, до того она оказывается в корне изуродованной. Но случается, что человек бывает прав, поступая и непоследовательно (вопреки нравственному правилу последовательности): когда, например, на полпути меняет нравственное средство на другое — тоже нравственное, но более действенное — ради более верного достижения той же нравственной цели. Последовательность же, рассматриваемая сама по себе, безотносительно к принципу благо-

родства, — вполне безнравственна: вырождается в тупое упрямство. Более того, последовательность бывает и хуже всякой непоследовательности, граничит с преступлением: разве последовательность в зле лучше непоследовательности в нем? И разве не страшная ошибка осудить преступника за убийство, если решившись на него, он не довел его до конца и не уничтожил заодно и свидетелей задуманного злодеяния, поступив явно непоследовательно? Но проистекая именно из духовного принципа благородства, нравственное правило последовательности распространяется и на все сферы человеческой деятельности: человек и в познавательной, и в оценочной, и в морально-волевой деятельности обязывается к последовательности.

Воспитание себя в *нравственном правиле сострадания* создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа благодарности — «О чувстве благодарности человека к человеку за взаимное обогащение человеческой природы». «Чувство сострадания должно быть рассматриваемо, во-первых, как частный случай более обширного душевного качества — чувства солидарности и, во-вторых, как наиболее конденсированное выражение этого последнего. <...> Сострадая, человек как бы вызволяет другого из состояния страдания» (Этика. С. 309). Страдания от страданий другого человека, свойственные нравственно образующему себя человеку как сознательному носителю общечеловеческой совести, являются страданиями духовными (нравственными) в отличие от страданий физических и душевных, роднящих человека с животным миром.

Физические и душевные страдания в нравственно образующем себя человеке «имеют верный иммунитет в его совести» (когда человек нередко не ощущает физической боли и душевных страданий, а чаще действует наперекор им ради торжества своей совести), благодаря чему страдания эти не угнетают душу человека и не парализуют его волю, обрекая на пассивность, а напротив, «обостряют ум, закаляют волю, подвигают на активность». Духовные же страдания подобного иммунитета иметь не могут уже потому, «что их источником... является сама совесть, то есть то именно, что составляет источник иммунитета для всех прочих, физических и душевных, страданий». Иммунитет к духовным страданиям «означал бы не силу (как в случае физических и душевных страданий), но именно духовную слабость (так как характеризовал бы ни больше ни меньше, как страшную болезнь, которую можно назвать параличом совести)». Но хотя духовные страдания воспринимаются человеком острее всего, они не только не угнетают его душу, но напротив, «возвышают и облагораживают ее нравственно, делают ее истинно, духовно свободной». Особенность духовных страданий и состоит в том,

что они «всегда побуждают к деятельности, к разрешению противоречия между бытием и долженствованием, осознание которого и является первоисточником этих духовных страданий» (Этика. С. 311–312).

Духовные страдания и побуждают человека к принятию всех необходимых мер для оказания помощи другому — постороннему страдающему, а не близкому тебе по крови или дружбе, когда страдаешь опять-таки от несчастья собственного, ибо чтó такое горе твоих близких, как не твое же? Духовно сострадательными становятся люди, воспитывая себя в духе коллективизма и интернационализма, в духе живой и деятельной отзывчивости к жизни другого человека: сочувствуя ему не только в горе, но и в радости. Ведь радость близка к страданию, имеет с ним общее происхождение: активная по природе душа человеческая, когда сама не действует на что-то, а подвергается воздействию на себя со стороны, испытывает либо страдание, если постороннее действие причиняет ей неудовольствие, либо же радость, если оно ей приятно. И только радость, порождаемая непосредственно деятельностью самой души (а не ее страдательным состоянием), хотя и возникает из острых духовных страданий, доставляет человеку «высочайшее внутреннее удовлетворение, или истинное счастье, как сознание полной реализации своей сокровеннейшей человеческой сущности в добрых делах» (Этика. С. 313). Радость же пассивная, причиненная извне похожа на пассивное же страдание, особенно если вызвана сугубо личными, эгоистическими интересами, когда человек радуется до самозабвения — до потери совести и чести, забывая обо всем на свете грустном (а в этот же момент, где-то невыносимо страдает какая-нибудь безутешная мать, потерявшая свое дитя!) Такая чрезмерная радость есть «нечто отталкивающее, уродливое, коробящее и оскорбляющее совесть». Совесть человека «всегда и неизменно заставляет его помнить, что к его истинному счастью безусловно необходимо счастье всего человечества, каждого в отдельности, без единого изъятия, что, покуда существует хотя один-единственный несчастный на Земле, человек не может почитать себя счастливым и предаваться чрезмерной радости, а разве человечество в каждый данный момент насчитывает одного только несчастного? <...>

Единственное торжество, относительно которого не может быть и тени укора, — это торжество самой совести, торжество добра, торжество принципов истинной человечности. Только такое торжество, связанное с торжеством всего человечества, отвечает высокому достоинству человека, и никакая другая радость не может сравниться с той высокой радостью, которой сопровождается успех в добром деле, которой сопровождается успешно исполненный долг совести — общественный долг. Такая радость не омрачается никакими эгоистическими мотивами: ведь торжество соб-

ственной совести каждого отдельного человека — это великое торжество всеобщей совести всего человечества». Без всякого ущерба для другого человек естественно радуется жизни, своему здоровью, любви или дружбе, рождению своего ребенка, но «всякая такая радость, полнящая душу человека независимо от его воли, ярким лучом вторгающаяся в него и пронизывающая все его существо, потому-то и чистая, светлая радость, что она не чрезмерна: она не только не сопровождается самозабвением человека как совестливого существа, но чудесным образом обновляет и освежает его, придает еще больше сил для борьбы за всеобщее благо людей — за торжество совести и добра на всей планете — и вызывает радостный отклик в душах других людей» (Этика. С. 315–316).

Чувство сострадания настолько естественно в человеке, что распространяется не только на людей, но и на животных, и тем не менее не испытывают сострадания ни к потерпевшему крах банкиру, ни к неудачливому жулику, которому не удалось свою жертву одурачить. В частности и в этом проявляются ограничения и исключения сострадания в качестве нравственного правила, которое в коренное отличие от самого принципа благодарности (из которого оно и проистекает) собственной нравственной цели в себе не содержит. «Чувство сострадания и солидарности объединяет участников самих разнообразных сообществ, преследующих самые разноречивые и даже противоречивые цели»: присуще оно участникам воровской шайки, а также их преследователям из сыскного отряда; присуще оно не только трудящимся со своими жизненно важными классовыми интересами, но и капиталистам, хотя борьба между капиталистическими монополиями и не делают эту солидарность особенно прочной (Этика. С. 317). И только если непосредственной целью воспитания себя в нравственном правиле сострадания (солидарности) является реализация на практике, в жизни духовного принципа благодарности, оно — такое самовоспитание представляет собой душевное средство для нравственной жизни человека.

Воспитание себя в *нравственном правиле скромности* создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа мудрости — «О вере в человека, надежде на торжество добра и любви к жизни». Воспитывать себя в нравственном правиле скромности (естественности, простоты) необходимо таким образом, «чтобы не мнить о себе слишком много, не воображать других людей обязательно наделенными теми же недостатками, которые знаешь за собой», чтобы самым внимательным образом относиться к мнениям других, «ибо, даже имея сто пядей во лбу, один человек неизмеримо беднее духовно целого человечества». Такое воспитание своей души и является

необходимым условием для нравственного образования себя в духе веры в человека — составляющей первый компонент принципа мудрости. Воспитание себя в нравственном правиле скромности означает далее воспитывать в себе оптимистическую душевную настроенность, которая не позволяет человеку приходить в уныние от неудач и которая «не вяжется и не мирится с озлобленностью и ожесточенностью характера». Такое воспитание своей души является необходимым условием для нравственного образования себя в духе надежды на торжество добра — составляющей второй компонент принципа мудрости. И наконец, воспитание себя в нравственном правиле скромности сводится к воспитанию в себе «жизнерадостности, улыбчивого отношения к жизни и людям», следует воспитывать себя так, чтобы «не требовать от жизни больше того, что она может дать по самой своей сущности, уметь сводить свои потребности к естественно необходимому, находить в самых, казалось бы, обыкновенных, самых простых радостях жизни высокий смысл и высокое значение». И такое воспитание своей души и является необходимым условием для нравственного образования человека в духе любви к жизни — составляющей третий компонент принципа мудрости. (Этика. С. 319).

Любя жизнь человечной, возвышенной любовью, мудрый человек видит смысл своей жизни в творческом ее совершенствовании. И ему не свойственно сведение жизни к удовлетворению материальных потребностей сверх естественно необходимых, к всяческим излишествам (табаку, вину, изысканным блюдам, модной одежде, дорогим украшениям, сверхудобной квартире и др.) «Пока общество не достигло изобилия материальных благ для каждого, пока удовлетворение материальных потребностей, в особенности “потребности” в роскоши не обходится без урона для нравственной, целомудренной чистоты души, остается законом: чем меньше излишних материальных потребностей, тем больше духовной свободы, тем меньше случайностей угрожает этой бесценной свободе человеческого духа, — вот почему мудрец довольствуется необходимым» (Этика. С. 320).

«Нескромность, неестественность, сложность, вычурность характера вполне и всецело определены раздвоенностью, разорванностью и противоречивостью жизни, свойственными для неразумного в корне общественного строя, основанного на началах частной собственности, жизни, можно сказать, сотканной из противоречий, хаотически впитываемых сознанием человека с младенчества и уродующих и усложняющих его до последней крайности. И основание общества на ясных, простых, естественных и разумных началах общественной собственности устраняет основную причину (первопричину), порождающую разорванность сознания, равно как и неудовлетворенность жизнью и мировую скорбь, одновременно и смяг-

чающую душу до безхарактерности и ожесточающую ее до болезненности». Болезненная нелюбовь человека к жизни, сказывающаяся в вечных его сомнениях относительно смысла жизни, в свойственных ему кичливости, мнительности и мизантропии, в его склонности к скептицизму и пессимизму, — такая нелюбовь к жизни несовместима со скромностью, которая и является нравственным правилом именно в той мере, в которой «почерпает свою нравственную цель ... в принципе мудрости». А будучи возведена в самоцель, скромность может обернуться нравственной уродливостью, если в ранг естественности и простоты возводятся необузданность и низменные инстинкты человека: «мы, дескать, люди скромные, в академиях не учились и потому и поступаем просто в соответствии с естественными своими потребностями» (Этика. С. 322–323).

Воспитание себя в *нравственном правиле ответственности* создает душевную атмосферу для претворения в своей жизни, реализации на практике духовного принципа поступка — «О том, как надлежит поступать в каждом отдельном случае и обязывающем значении смерти». Воспитывать себя в нравственном правиле ответственности — значит воспитывать в себе строжайшую самоорганизацию и самодисциплину, ведь собственный произвол (расхлябанность, неорганизованность, недисциплинированность) подрубает нравственное самосознание человека под самый корень. Нравственное правило ответственности имеет синтетический характер, как и сам духовный принцип поступка, из которого оно ближайшим образом и проистекает. Будучи же синтетическим, нравственное правило ответственности включает в себя и все остальные нравственные правила — все они претворены в действие, в реальный и живой поступок: «человек, воспитавший себя в нравственном правиле ответственности, обнаруживает в каждом своем поступке правдивость, серьезность, самоотверженность, справедливость, трудолюбие, чувство собственного достоинства, последовательность, сострадательность, скромность» (Этика. С. 323–324). И свое качество нравственного правила ответственность приобретает только в строжайшем соответствии с духовным принципом поступка, понимаемая как неизменная ответственность человека за каждый свой поступок перед собственной совестью — совестью всего человечества. Собственной же нравственной цели чувство ответственности не имеет — им часто наделены по отношению к друг другу и своему делу также даже и преступные сообщества. Поэтому ответственность ради ответственности — «не меньшая нелепость, чем правдивость ради правдивости, серьезность ради серьезности и так далее» (Этика. С. 324).

Творчество, созидание себя более совершенным сливается в сознании человека и с его творчеством более совершенного нового, очеловеченно-

го мира. «И в этом двойном, равно возвышенном и полновесном, творчестве человек обретет поистине неиссякаемый и чистый источник радости и вдохновения, неисчерпаемый смысл целой жизни, истинное счастье» (Этика. С. 82). Верховный смысл существования человека, его истинное счастье — это добродетель, нравственная жизнь, его свободная творчески-созидательная деятельность, направленная на осуществление добра. А поскольку счастье человека и состоит в его именно свободной (от принуждения) творчески-созидательной деятельности (и ни в чем другом), то насильственными средствами навязать счастье человеку невозможно.

Результат нравственной жизни —

верховное благо — наивысшее из всех возможных человеческих благ, которое добро как мерило всех ценностей (всех и всяческих благ: материальных и духовных) предопределило как счастье человека, как его полная внутренняя удовлетворенность от сознания насыщенности жизни вследствие реализации в ней целиком, без остатка творчески-преобразовательной сущности человека. В зависимости от того, вполне или не вполне реализует человек в жизни свою творчески-преобразовательную сущность, он либо счастлив целиком, либо несчастлив вовсе, но нельзя быть счастливым, к примеру, вполовину. Неполная реализация человеком своей сущности, хотя и является благом, но не может «составить верховного блага, то есть блага, выше которого нет, или действительного счастья человека» (Этика. С. 51). Лишь подавленная и робкая душа может удовлетвориться как счастьем урезанной реализацией человеческой сущности. Сущность же человека в полном объеме заключается в творчестве нового, разумного, очеловеченного мира. А единственным двигателем нравственной энергии человека, направленной на созидание нового мира, является противоречие между бытием и долженствованием, осознание которого составляет единственный же источник человеческого несчастья, тогда как разрешение этого противоречия «есть счастье для всех и каждого в одно и то же время, и иным действительное счастье человека и не может быть — по самому своему глубочайшему существу» (Этика. С. 366). Одиночное счастье, счастье одного человека совершенно невозможно: ведь несчастье другого составляет то же противоречие между бытием и долженствованием, к разрешению которого и призван каждый человек, чтобы стать истинно счастливым. В одиночку человек не может быть счастлив еще и потому, что должен делиться своим счастьем, да и несчастье другого неизбежно будет омрачать его собственное счастье, «до того чувство благодарности к себе подобному, чувство живой и неразрывной связи с себе подобными, имманентно за-

ложено в самой сокровеннейшей общественной (нравственной) сущности человека» (Этика. С. 366).

Так что вполне несчастны те люди, которые считают себя счастливыми благодаря почестям, богатству и славе — причем счастливыми тем более, чем другие в этом смысле несчастнее. Только не в ущерб другому, а в соответствии опять-таки с великим принципом благодарности, человеку дозволено его совестью пользоваться такими доставляющими ему чрезвычайно высокое удовлетворение благами жизни, как любовь или наслаждение здоровьем, например, которые хотя и роднят человека с животным, но «потому и являются человеческими (а не животными), что они преломляются в человеке через призму его действительной сущности как творца нового мира, именно через то, полную реализацию чего и составляет верховное благо, или истинное счастье, человека и человечества» (Этика. С. 367). И хотя удовлетворение физических (физиологических) потребностей и доставляют человеку наслаждение, но оно «как можно думать, несравненно слабее того наслаждения, какое испытывает животное от удовлетворения тех же потребностей. Только духовное наслаждение присуще человеку, как таковому. Все же духовные потребности людей обусловлены общественной, творчески-преобразовательной природой человека, и сводятся они к потребности разрешения противоречия между бытием и долженствованием, к насущной потребности реализации этой нравственно-революционной природы человека в деятельности, направленной на творчество добра, — к потребности в истине, к потребности в правде, к потребности в красоте. Только удовлетворяя эти специфически-человеческие потребности, человек испытывает истинно-человеческое наслаждение» (Этика. С. 80).

Счастье человека и состоит именно в том, «чтобы вносить разумное в окружающую его слепую, а потому жестокую общественную и естественную действительность», чтобы творить такой новый мир, в котором «не имели бы места бесчисленные безобразия, одинаково оскорбляющие и чувство истины, и чувство правды, и чувство красоты, одним словом, оскорбляющие нравственное достоинство человека. Счастье человека и человечества — в творчестве мира, в котором сущее слилось бы с должным, в котором разумное стало бы действительным, а действительность разумной... Мир, в котором бытие слилось бы с долженствованием, — идеал. Но идеал перестал бы быть таковым, если бы смог осуществиться сразу и сполна». Человечество все больше и все глубже разрешает противоречие между бытием и долженствованием, но «никогда не наступит момент, когда человечество сможет сказать: идеал осуществлен сполна» (Этика. С. 368–369).

Противоречие между бытием и долженствованием не может быть разрешено — абсолютно, то есть вовсе перестать существовать, поскольку человечество строит новый мир на основе мира старого, несовершенного — на основе закономерностей уже существующего (так, что старый мир в известном отношении входит моментом в мир новый). Поэтому и невозможно абсолютное счастье человека (которое должно было бы состоять в абсолютном несуществовании противоречия между бытием и долженствованием) и сама возможность счастья абсолютного всецело отрицается также и прошлым: «ведь остаются фактом миллионы загубленных человеческих жизней, которые вечно будут вопиять о стихии зла и взывать к нашей совести. Сколько людей, имевших такое же право на счастье, как и мы с вами, и так и не реализовавших его! И сознание того, что это было, помимо сознания, что это есть, так как человечество ведь и в будущем будет бесконечно (положительно-бесконечно) разрешать противоречие между бытием и долженствованием, — именно это сознание делает невозможным для человека обладание абсолютным внутренним удовлетворением, или абсолютным счастьем» (Этика. С. 374). Абсолютное счастье для человека стало бы для него абсолютным несчастьем, заключаясь в абсолютном несуществовании противоречия между бытием и долженствованием, то есть в отсутствии того стимула, который именно и заставляет человека творить, «определяя его в его исторической сущности творца нового мира. А это означало бы... несуществование само́й гордой сущности человека. А что может означать для человека большее несчастье, как не не быть им?!» (Этика. С. 375).

Реально же человек счастлив тем, что сам, по своей свободной воле является источником добрых дел и что ни в какой другой (божественной в том числе) санкции для добродетели, кроме собственной совести — совести всего трудящегося человечества, не нуждается. «Реально и то блаженство, которое он испытывает при этом и которое он к тому же создает на Земле для всего человечества, творя новый, очеловеченный мир истины, правды и красоты — в противовес иллюзорному и дешевому “небесному блаженству”» (Этика. С. 135–136). И в истинном счастье человека, как и в его совести, «сливаются воедино личное и общее, до такой степени, что решительно не представляется возможным отделить в нем одно от другого» (Этика. С. 366). Человек и его счастье, состоящее в творчестве добра, — вот та верховная цель, к которой должно направлять научную, художественную и практическую деятельность. В этом — «высший смысл и действительный пафос всех истинно человечных усилий, в какой бы области они ни были приложены. И в этом же — безусловное повеление всеобщей человеческой совести» (Этика. С. 406).

«Суммируя, следует сказать, что материальную основу нравственной жизни человека составляет его объективная общественная природа, ее идеальным условием является совесть как субъективное (идеальное) выражение этой объективной общественной природы, ее принципом, верховной целью — добро, как имманентный идеал совести, как идеал нового, прекрасного мира, в котором претворен высший синтез истины, правды и красоты, ее содержанием — добродетель как практическое творчество добра, ее формой — общественный долг как безусловное повеление совести, ее результатом — счастье, как верховное благо человека, полнейшая внутренняя удовлетворенность от сознания насыщенности жизни вследствие реализации в ней — целиком и без остатка — само́й творчески-преобразовательной сущности (природы) человека» (Этика. С. 65).

Совесть определяет, пронизывает собою всю концепцию нравственной жизни человека, лежит в основе всех ее составляющих категорий. Действительно: совесть является идеальной формой относительно своего объективного содержания — общественной природы человека, составляющей *материальную основу нравственной жизни*. И как субъективное (идеальное) выражение объективной общественной природы человека совесть есть — *идеальное условие нравственной жизни*.

Совесть и сама выступает в качестве содержания — составляя *идеальное содержание разума* (идеальная же форма разума — воля).

Внутреннее же (имманентное) содержание самой совести (поскольку совесть рассматривается внутри самое себя) составляет идеал должного, добро, представляющее собой — *верховную цель нравственной жизни*.

В практическом же претворении идеала должного, в творчестве добра (имманентного содержания совести), то есть в добродетели, заключается — *содержание нравственной жизни*.

Само же понятие о должном (добре) развертывается в принципах истинной человечности: в них совесть претворена — как нравственный закон, закон должного, а не сущего, в отличие от всех решительно законов природы и общества: закон нравственного отрицания существующего под углом зрения вечности.

В следовании велениям совести, в неукоснительном соблюдении принципов истинной человечности состоит общественный долг, являющийся — *формой нравственной жизни*.

И истинную природу счастья, являющегося — *результатом нравственной жизни*, человек постигает, если смысл своей жизни усматривает в добродетели — в удовлетворении запросов совести.



По всему этому — по существу есть лишь один-единственный всеобъемлющий нравственный принцип — это *общечеловеческая совесть*, в которой и воплощен *нравственный закон человека и человечества.*

Всеобщая человеческая совесть не является абстракцией от нравственного сознания составляющих человечество индивидуумов: тогда бы она была бессодержательна и не способна ни к жизни, ни к росту, ни к развитию, а подчинение ей было бы «равносильно рабству и самокалечению нравственного сознания каждого отдельного человека. Всеобщая совесть человечества на самом деле включает в себя все то ценное, революционное, истинно-человечное, все то действительно свободное, что содержится в особенностях нравственного сознания каждого и что, как таковое, бесконечно дорого всему человечеству, как и то, что составляет общую основу нравственного сознания вообще, — и потому подчинение общечеловеческой совести есть свободное подчинение самому себе, и не просто самому себе, но именно самому себе, бесконечно обогащенному нравственными качествами всех людей, составляющих человечество. И в качестве таковой исполненной жизни всеобщая совесть человечества растет и развивается с ним положительно бесконечно — вместе с развитием общественно-исторического процесса» (Этика. С. 355–356).

Для того же, чтобы постигнуть сокровеннейшее веление своей совести, необходимо мысленно прозреть в безграничное будущее людей настолько, «насколько только захватывает взор, дабы низвести совесть будущего в себя. <...> Низведение совести будущего в себя есть не что иное, как тот идеал, в соответствии с которым мы сами творим это будущее: идеал добра, имманентный идеал совести». А поскольку в создании этого отдаленного будущего мы принимаем самое непосредственное участие своим творчески-преобразовательным трудом, то оказываемся способными составить себе о нем более или менее определенное представление, или же представление научно-фантастическое, если это уж очень далекое будущее. «На этом и основана самая возможность этического экстаза, предписываемого принципом совести в качестве одного из условий сохранения, развития и укрепления в себе самой совести... Мы обязаны составить себе более или менее определенное понятие о совести будущего человечества, чтобы сделать его идеалом собственной совести, или, что то же, идеалом добра, дабы руководствуясь этим идеалом, преобразовывать настоящее — творить это будущее. <...> Как бы мы ни идеализировали себе совесть будущего, пытаясь воплотить ее в собственной совести, эта реальная совесть будущего будет неизмеримо выше того идеала о ней, который мы себе составили в настоящем. И все же такой идеал в настоящем — истинная этическая предпосылка этой реальной совести будущего».



Низведение в себя совести будущего, связанное с образованием себя в духе принципов истинной человечности, является нравственным долгом каждого «не только перед собственной совестью — совестью всего человечества — в настоящем, но и перед совестью будущего, перед будущими неисчислимыми поколениями людей». Ведь образуя себя в духе принципов истинной человечности, мы тем самым содействуем образованию в духе этих принципов и «будущих поколений людей, как тех, что подрастают на наших глазах и непосредственное воспитание которых лежит на нашей совести, так и тех, что придут после нас» (Этика. С. 26–28). И какую же высокую гордость испытывает человек от сознания, что совесть будущего «созидается им самим — и идеально и реально (практически) — в нравственно образуемом им ребенке, что своей ориентацией во всем, что он делает (или не делает) на ребенка, реального или воображаемого, он закладывает плодотворные зачатки той совести будущего, которую он обязывается своей собственною совестью вобрать в себя, насколько достанет творческой силы его интеллекта» (Этика. С. 448).

Женственность — чудесной женщины пленительная сила

«Назначение нашего трактата — проникнуть в природу женственности и составляющих ее черт». Постижение же природы и женственности, и ее составляющих есть постижение категорий именно в понятиях, а это «вещь до чрезвычайности трудная, когда речь идет о таких, казалось бы, вполне эмоциональных вещах» (Нежность. С. 67).

Истоки женственности

Образование себя в духе принципов истинной человечности, низведение в себя совести будущего для лучшего постижения собственной совести и в целях нравственного образования ребенка, — одним словом, творчество лучшего самого себя, наряду с творчеством более совершенного нового мира в соответствии с идеалом добра, составляет истинную сущность человека вообще. Но только женщина «творит нового человека в самом буквальном смысле — не только духовно, нравственно, но и физически, телесно» благодаря специфически женскому и главному своему назначению — материнству. Воспитание же ребенка есть «акт нравственного творения человека, второго его творения, которое, в отличие от первого, есть акт длительный, продолжающийся без перерыва дни, месяцы и годы, акт, требующий к тому же огромное терпение, выдержку и такт. <...> Воспитание нового человека женщиною-матерью — это непрерывное нравственное горение, которое накладывает на всю ее жизнь отпечаток подвижничества» (Материнство. С. 147, 159).



И хотя коренная подоснова женственности и состоит в наличии полов и половых различий (роднящих человека с животным миром) — не в этом заключается существо женственности, поскольку всё животное в человеке преломляется через призму его общественной и трудовой, творчески-преобразовательной и нравственно-революционной природы. Однако половое деление людей, в свою очередь, сказывается и на их человеческих качествах, и «эти общие в своей основе человеческие качества с неизбежностью оказываются расщепленными на две взаимно требующие друг друга половины: мужское и женское начала — мужественность и женственность. Эти чисто физические (физиологические) начала с необходимостью сказываются в душевной жизни человека, а через нее — и в его духовной жизни» (Существо женственности. С. 19). Мужественность — это человечность в мужчине: в его физическом, душевном и духовном облике «в наивысшей степени соединены типические черты нравственно образующего себя человека-мужчины». Женственность — это человечность в женщине: в ее физическом, душевном и духовном облике «в наивысшей степени соединены типические черты нравственно образующего себя человека-женщины». Как проявление одного и того же — человечности, мужественность и женственность взаимно дополняют и обогащают друг друга, а тем самым обогащают и само понятие человечность, «сообщая ему полнокровность и всю прелесть живого, отличающегося, как известно, бесчисленными ракурсами, аспектами, нюансами, отношениями. Женщина, например, проявляющая мужество, не перестает при этом ни на одно мгновение оставаться женщиной. Соответственно, мужчина, проявляющий нежные чувства, не перестает быть мужчиной. Зато и мужество женщины и нежность мужчины отличаются вполне своеобразными оттенками, обогащая сами категории мужества и нежности: это женское мужество и это мужская нежность. И так во всем» (Существо женственности. С. 26–26).

При сравнении же в целом душевной жизни мужчины и женщины — душевная жизнь женщины (оборотная сторона ее же физической жизни) неизмеримо более благоприятна для воспитания души в нравственных правилах и претворения в жизни духовных принципов истинной человечности. Ведь ей как Продолжательнице человеческого рода особенно требуется «сосредоточенность всех ее физических, душевных и духовных (нравственных) сил». Перестраивается организм женщины, и перестраивается вся структура ее сознания — ради «рождения нового человека, человека еще никому не ведомого, как и новая поэма, как и новая симфония» (Материнство. С. 147. И переживания женщины, ожидающей ребенка, несказанно утончают натуру женщины, всю ее физическую, душевную и духовную жизнь. Они утончают натуру женщины даже более,

чем сокровенные переживания, связанные с любовью и с тем, в частности, что к половому наслаждению у женщины примешивается боязнь нежелательной беременности. И до, и во время, и после родов тревожные специфически женские переживания ее не оставляют, усиливая и обостряя в ней все чувства — женщина никогда не бывает спокойна, и это «налагает особенную печать на весь ее нравственный облик, ведь существо самой совести — в нравственном беспокойстве» (Материнство. С. 152).

Будучи же существом совестливым, женщина способна не только к страданиям физическим и душевным, но и к духовным страданиям, облагораживающим человека, служащим к его нравственному росту. Духовные же страдания женщины-матери неизмеримо сильнее духовных страданий мужчины, как и несравнимо сильнее и ее стойкость к страданиям и мучениям, которая складывается в период беременности, «требующей от нее огромной силы выносливости, осторожности, выдержки. Именно здесь характер женщины получает ту нравственную закалку, которая так необходима будет ей, когда она будет растить, пестовать, воспитывать и выхаживать свое дитя на благо человечества» (Материнство. С. 152). Во имя ребенка, во имя будущего человечества жизнь женщины-матери от беременности и до самой смерти являет собой повседневный, систематический и сплошной подвиг. С естественностью материнского подвига так свыкаются, что, «испытывая повседневно и повсечасно и незаметно для самих себя его благотворное на нас действие, в том числе, разумеется, и нравственное, мы лишь тогда начинаем замечать его, когда он нас покидает с кончиной самой женщины-матери, как и воздух, которым мы дышим, мы ощущает по-настоящему лишь когда он улетучивается... Нравственное воздействие женщины-матери на жизнь человеческую тем более велико, что ее героизм — не одиночный акт и даже как героизм целой жизни не единичное явление, но героизм в самом точном значении слова массовый (сколько женщин-матерей на свете!), всечеловеческий героизм» (Материнство. С. 163–164).

Бесконечные и разнообразные заботы, горести и радости женщины-матери касаются не только ее ребенка, но и внуков и правнуков во все периоды их жизни, благодаря чему жизнь матери предельно насыщена любовью: любовь становится ее второй натурой, «до такой степени наполняет до самых краев жизнь женщины-матери, что она — великая эта Любовь — неизбежно уже переливается через эти края ее собственной жизни, изливается на всех, с ней соприкасающихся, изливается в доброту», распространяясь и на все трудовое человечество (Материнство. С. 163). И именно к трудовому народу она проявляет добрые чувства, ведь «испытывая добрые чувства к униженным и оскорбленным,

мы одновременно испытываем гнев к унизителям и оскорбителям. Так было, так есть и так будет, пока существует на Земле строй эксплуатации человека человеком» (Доброта. С. 171). Любовь женщины-матери изливается и на всю природу, не только на людей, она распространяется на животных, на растения, «оборачивается нежной и стыдливой специфически женской жалостью ко всему живому, ко всему, в чем теплится хотя слабая искра жизни, жалостью, которая собственно и есть прославленная Доброта женщины» (Материнство. С. 163).

Доброта

Доброта — это та важнейшая черта женственности, которая представляет собой подоснову тех душевных качеств — нравственных правил — воспитание которых в себе составляет душевную атмосферу для образования себя в духовных принципах истинной человечности. Оборотной же стороной доброты является нравственная ранимость женщины, ее повышенная нравственная чуткость — сравнительно с мужчиной. Благодаря своей исконной доброте женщина также в большей мере, чем мужчина, сохраняет в своем душевном облике и непосредственность детства, свойственную ей на протяжении всей жизни, а в период материнства достигающую наивысшего своего выражения. Женская же непосредственность души определяет такую доминирующую черту характера женщины, какова правдивость — душевное качество, нравственное правило для образования себя в духовном принципе совести. Женщина, как правило, совестливее мужчины: в ней сильнее потребность сберечь в себе совесть, поступать по совести, что также предопределено ее особенной добротой. Больше, чем мужчинам, женщинам свойственно и легковерие, потому именно, что оно «почти нераздельно с правдивостью: будучи правдива сама, женщина естественно склонна усматривать эту черту (правдивость) и в других, пока не разуверится в этом на деле. Но как ранит ее при этом разочарование! Как существо нежное, женщина очень и очень ранима, и потому предельно бережное к ней отношение — прямой показатель настоящего мужского такта».

Правдивость в большей степени свойственна женщине, чем мужчине, так же, как и серьезное отношение к жизни более характерно для нее, нежели для него. У женщин правдивость и серьезность теснейшим образом связаны с чисто женской стыдливостью: «им просто стыдно лгать и им просто стыдно легкомысленно себя вести» (Доброта. С. 174). Нравственные правила правдивости и серьезности органично связаны между собой так же, как с духовным принципом совести связан духовный принцип самосовершенствования: «невозможно сберечь в себе совесть,

не развивая ее на практике в процессе неустанного самосовершенствования» (Доброта. С. 174). И женщине, от природы склонной к серьезности, возможно легче, чем мужчине, встать на тернистый путь самосовершенствования — образования себя интеллектуально, эстетически и морально. Ведь любая из женщин понимает, «что ее телесная красота, заботу о которой она считает чуть ли не первейшею своею заповедью, ибо красота и женственность для нее синонимы, должна вмещать в себе и высоконравственный дух, или же она, красота фигуры, останется втуне, если и не превратится в настоящее уродство, контрастируя с нравственным убожеством, с нищенством духа» (Доброта. С. 175). Красота и обязывает мыслящую женщину быть настойчивой в своем умственном, художественном и моральном развитии — в стремлении быть образованной во всех областях культуры. В общекультурном отношении образованная женщина встречается чаще, чем образованный мужчина, который досконально разбираясь в своей специальности, нередко обнаруживает невежество в далеких от его специальности областях знаний. Тоньше и вернее, по сравнению с мужчиной, и художественный вкус женщины благодаря тому, что изящество и красота — прерогатива именно женщины.

В большей мере отличает женщину, нежели мужчину, и нравственная готовность к совершению добрых дел, в которых только и претворяется на практике способность к самосовершенствованию. Соответственно, женщина преуспевает больше, чем мужчина, и в воспитании себя в нравственном правиле самоотречения (самоотверженности), насущно необходимом душевном средстве для образования себя в духовном принципе добра. Самоотречение нравственное имеет своей биологической предпосылкой самоотречение простое, свойственное женщине как матери и роднящее ее «с матерью же животного дитяти», пренебрегающей смертельной опасностью для себя при спасении своего детеныша. Однако, если у животного материнское самоотречение свойственно самке обычно до тех пор, пока детеныш не станет взрослым, то у женщины-матери простое самоотречение продолжается и по достижении ее ребенком совершеннолетия. Простое, природное самоотречение — самоотречение животного трансформируется в человеке применительно к его общественной и нравственной сущности: «совершенно необычайно усиливается количественно и видоизменяется качественно» (Доброта. С. 178). Так, у человека простое самоотречение распространяется на гораздо более широкий (по сравнению к животными) круг родственников, а кроме того, и на людей чужих, но близких по духу — на своих друзей. «Здесь мы имеем дело с тем же простым самоотречением, но только на новой, человеческой основе, хотя нечто по-

добное мы нередко наблюдаем у животного, вскормившего своим молоком "чужое" дитя, притом иногда даже из чуждого ему животного вида» (Материнство. С. 158). При длительном общении человека и животного нередки случаи их «взаимного трогательного самоотречения, — т. е. не только человека ради животного, но и животного ради человека. И эти случаи взаимной и, я бы сказал, беспредельной преданности животных и людей не в меньшей мере служат и нравственному облагораживанию человечества, чем акты самопожертвования людей во имя своих собратьев» (Доброта. С. 179). Самоотречение же нравственное, — явление специфически общественное, свойственное исключительно человеку, чем качественно и отличается от простого, природного самоотречения. Нравственное самоотречение и распространяется на неизмеримо более широкий круг людей, причем, что очень важно, на людей совершенно незнакомых — «именно как людей» (Материнство. С. 157).

Как и нравственное правило самоотречения во имя добра, нравственное правило справедливости, представляющее собою душевное средство для образования себя в духовном принципе общественной собственности, «находит в женской душе почву для "максимального благоприятствования", — как сказали бы юристы». Чувство справедливости развито в женщине сильнее, чем в мужчине, «как и чувственная сфера вообще. И справедливость, как и самоотверженность, как и серьезность, как и правдивость, с которыми она очень тесно связана, имеет в женщине своей дополнительной подосновой специфическую женскую доброту. Недаром во все времена женщина бывала в первых рядах среди тех, кто возвышал свой голос в защиту оскорбленной невинности, в защиту попранной справедливости, в защиту правого дела народов. Участие женщин всех возрастов во всех революциях мира, их живое и беззаветное, бескомпромиссное в них участие придавало этим революциям особенный нравственный накал» (Доброта. С. 191).

Не отдавая в полной мере справедливость нравственной роли женщины в истории, человечество не может надеяться на торжество справедливости. «И если человек призван быть укротителем стихии, то женщина — укротительница стихии вдвойне — по самой природе женской доброты, по самой природе существа мирного и трудолюбивого» (Доброта. С. 193). Нравственное правило трудолюбия составляет необходимое душевное средство для образования себя в духовном принципе труда. Наравне с мужчиной женщина строит лучезарное будущее человечества в раскрепощающемся при социализме труде — с неисчислимыми его возможностями. Трудолюбие же ее, как и выносливость неописуемы: она и добросовестно работает, и прилежно учится, береж-

но воспитывает детей, на ней и повседневная хлопотливая работа по хозяйству. А к тому же еще и старается расширить свой умственный кругозор: быть в курсе политических событий в своей стране и за ее пределами, ориентироваться в художественной литературе и искусстве. Неустанных тренировок от женщины требует и спорт, в самых изящных областях которого женщины буквально царят. Удачно гармонируют с именно женским изяществом художественная гимнастика, фигурное катание на льду. Образцом изящества в соединении с неимоверной отвагой показывает себя женщина в цирковых представлениях. Во всем же сиянии своей славы женщина выступает в балете: «Балет кажется созданным специально для нее, чтобы она могла развернуть в нем все несказанное очарование, все несравненное изящество, всю светлую гармонию и пленительную грациозность, всю покоряющую красоту, одухотворенность и поэтичность женского существа» (Доброта. С. 199).

Общественно-полезный творчески-созидательный труд, к какой бы области он ни относился, — главное назначение человека. В труде сказывается общественно-историческая и творчески-преобразовательная нравственно-революционная природа человека, ибо только в труде рождается новый, очеловеченный мир и новый же, очеловеченный человек. И только человек трудящийся (и женщина и мужчина) является творцом жизни и творцом истории и именно в качестве таковых реально обладает чувством собственного достоинства, душевным средством необходимым для образования себя в духовном принципе внутренней, духовной, или нравственной, свободы, «без коей всякая внешняя свобода, общественная и гражданская, превращается в пустой звук: к чему эта внешняя свобода, если отсутствует внутренняя потребность в ней?» (Доброта. С. 203). Именно внутренняя, духовная, или нравственная свобода и является необходимым условием борьбы за завоевание свободы внешней (общественной и гражданской) и тождественна она революционному самосознанию.

Чувство собственного достоинства особенно сильно развито в женщине по сравнению с мужчиной, что объясняется, в частности, осознанием ею своей возвышенной материнской миссии. Ближайшим образом касается нравственного правила собственного достоинства непримиримость женщины к рабскому чувству, к чувству зависимости от кого-то и ко всякого рода соглашательству, а также к унижению человеческого достоинства не только в ней самой, но и в ком бы то ни было другом. Благодаря же женской доброте чувство собственного достоинства тесно связано со всеми остальными нравственными правилами. Так, непримиримость женщины к лживости, легкомыслию, малодушию сказывается в свете нравственных правил соответственно: правдивости, серьез-

ности и самоотречения. В соответствии же с нравственными правилами скромности, ответственности и сострадания неприемлемы для нее самомнение, безответственность и жестокость. Жестокость же (как антипод доброты) не вяжется с изяществом женщины (органическим единством физической и духовной ее красоты), идет вразрез с ее нежностью и стыдливостью, дисгармонирует с ее любовью, контрастирует с ее материнским чувством. «А ведь перечисленными чертами исчерпывается женственность как таковая. Так сама природа женственности исключает безнравственность в принципе. И это понятно, ведь женственность определена нами как человечность в женщине, как истинная человечность в ней, тогда как безнравственность есть самая настоящая бесчеловечность». Неприятие же женщиной несправедливости, тунеядства, неразборчивости в средствах для достижения даже цели нравственной диктуется нравственными правилами, соответственно, справедливости, трудолюбия, последовательности.

Нравственное правило последовательности является необходимым душевным средством для образования себя в духовном принципе благородства с его требованием нравственной гармонии целей и средств к достижению этих целей: как цели, так и средства к их достижению должны быть обязательно нравственными и недопустимы средства безнравственные, низменные и жестокие даже ради высокой и нравственной самой по себе цели. «Простое чувство последовательности в его этической интерпретации, иными словами, последовательность как нравственное правило подсказывает человеку столь же простую, как и само это чувство, истину: ежели он не допускает безнравственного в цели именно как безнравственного, то не должен допускать его и в средстве». Для женщины (существа доброго) безнравственные средства неприемлемы особенно: «Поистине трагический разлад между нравственным характером цели и безнравственностью средства к ее реализации» крайне остро переживали из «Народной воли» именно женщины, когда народовольцы вынуждены были использовать индивидуальный террор в качестве средства борьбы за свои социалистические идеалы (Доброта. С. 204–205).

Нравственное правило сострадания (солидарности) — необходимое душевное средство для образования себя в духовном принципе благодарности, признательности к другому за взаимное обогащение человеческой природы (сущности). Сострадание у женщины особенно впечатляюще — это «сгусток самой доброты. Подобно тому, как чувство сострадания является наиболее конденсированным выражением, или наивысшей концентрацией, чувства солидарности, оно является таковым же относительно доброты, наиболее сознательным воплощением женской доброты».

Лишь в этом наиболее конденсированном, наиболее концентрированном, а главное, наиболее сознательном своем воплощении в сострадательном чувстве доброта выступает как нравственное правило — подобно всем нравственным правилам, которые именно сознательно воспитываются человеком в себе. Доброта же женщины от ее воли не зависит: она присуща женщине от природы. Вообще же доброта человека является психологической подпочвой, на которой «нравственные правила лучше (легче) всего культивируются, образуя собою уже психологическую почву (не подпочву) для образования себя в духе нравственного закона, или этических принципов истинной человечности». «Прежде всего сострадание движет людьми в борьбе за добро — сострадание к угнетенным и порабощенным, к униженным и оскорбленным, к “бедным людям”, к “Неточке Незвановой”» (Доброта. С. 207). В женщине такое сострадание встречается неизмеримо чаще, чем в мужчине — ведь женское сердце более ранимо, более отзывчиво к переживаниям страдающих, нежели сердце мужское. «И если и в мужчинах это чувство сострадания (не только справедливости) подвигает на героические дела, то кто может, повторю, отрицать, что к тому чувству сострадания, которое естественно присуще женщине как человеку, примешивается еще и чувство сострадания, столь же естественно присущее ей именно как женщине, заложенное как доброта в самой природе женского начала?» (Доброта. С. 208).

С женской же исконной добротой чудесным образом увязывается также и нравственное правило скромности, являющееся необходимым душевным средством для образования себя в духовном принципе мудрости: веры в человека, надежды на торжество добра и любви к жизни. Скромность гармонически соответствует женской природе, ведь несмотря на замечательные отличительные достоинства женщины (проявляющиеся в ее материнстве, доброте, изяществе, нежности, стыдливости), которые, казалось бы, могут высоко вознести ее в собственных глазах, женщине спесивое чувство превосходства совсем чуждо. И свойственно оно скорее мужчине по отношению к женщине. Чувство своего превосходства над другими, спесь, кичливость — антиподы скромности. До подобных непривлекательных чувств женщине не позволяет унизиться ее нравственная гордость, проявляющаяся в ее чувстве собственного достоинства, не допускающего унижения этого чувства не только в себе, но и в других. Благодаря своей скромности, одному из самых замечательных своих украшений, женщина по сравнению с мужчиной гораздо реже теряет веру в человека и надежду на торжество добра, реже разочаровывается в жизни под влиянием неблагоприятных обстоятельств. «Утрата веры в человека есть именно потеря человеком самого себя!»

В этом и сказывается его нескромность, «не позволяющая ему долго (ровно столько, сколько надо!) и терпеливо ждать, если иного выхода нет... Ему не иначе, как немедленно, во всяком случае не иначе, как при его собственной жизни необходимо осуществление идеала (как будто бы этого не всем хотелось бы!)».

А между тем «нравственный идеал осуществляется человечеством вечно... все больше и больше к нему приближаясь, вследствие неустанной жертвенной деятельности, люди одновременно все больше отдаляются от него вследствие его прогрессирующей идеализации (вместе с ростом самого человечества), вследствие все бо́льшего обогащения его в его идеальном содержании». Так, многих не устраивает реальный социализм, победивший во многих странах, «как будто социализм — не естественное человеческое общество, нуждающееся в развитии и развивающееся на деле, но надуманное от начала и до конца и раз и навсегда законченное в своей идеальности. А так как чудес не бывает, а реальные условия жизни и борьбы их не устраивают, то эти молодые люди так же быстро разуверяются в своих идеалах, как и загораются ими» (Доброта. С. 210). Женщина же благодаря своей исключительной скромности никогда не разуверяется в идеале, в жизни, в людях. Она умеет постоянно и очень терпеливо ждать: ждет, пока не повстречается достойный ее мужчина, который ее полюбит и которому и она ответит своей преданной женской любовью (навязываться же мужчине она не сможет); ждет, пока не появится на свет зреющее в ней дитя, а затем не вырастет и не наберется ума и мудрости; ждет, пока не вернется с фронта ее муж, сын или дочь. Стоически превозмогая все тяготы и невзгоды жизни, женщина терпеливо ждет «реализации добра — идеала человечности. — Потому еще, что ей в исключительной мере присуще чувство ответственности — перед человечеством, а это означает чувство ответственности не только перед соотечественниками и современниками и не только перед жившими уже поколениями (ведь и они недаром жили!), но и перед всеми грядущими поколениями, чувство, не позволяющее ей опустить руки и отказаться от борьбы за коммунистический идеал оттого только, что идеал этот неосуществим сразу и сполна — в определенный отрезок времени».

И чувство ответственности именно за будущее, за своего ребенка является оборотной стороной ее материнского чувства и имеет своей психологической подосновой опять-таки неизбывную женскую доброту: «женщина всегда думает о своем ребенке неизмеримо больше, чем о себе, стало быть, о будущем больше, чем о настоящем» (Доброта. С. 211). А ведь нравственное правило ответственности представляет собой то душевное средство, которое совершенно необходимо для обра-

зования себя в духовном принципе поступка, повелевающего человеку во всем и всегда поступать по совести. И в качестве заключительного, нравственное правило ответственности синтетически включает в себя все остальные нравственные правила — правдивости, серьезности, самоотречения, справедливости, трудолюбия, собственного достоинства, последовательности, сострадания, скромности.

Воспитание женщиной себя в нравственных правилах — ее душевная жизнь, являясь оборотной стороной физической жизни женщины, составляет несравнимо более благоприятную психологическую почву для образования себя в духе принципов истинной человечности, нежели душевная жизнь мужчины. И в первую очередь это благодаря именно женской доброте, в которой в наиболее яркой форме и проявляется истинная человечность. Истинная человечность в женщине и есть женственность. В доброте «как бы соединилось воедино, выступает с огромной сосредоточенной силой» нравственное действие всех остальных черт женственности. Прежде всего производит впечатление на людей при встрече с женщиной ее неотразимое изящество, заметное уже с первого взгляда в ее внешнем облике. В изящных же чертах ее лица, фигуры и манер проглядывается затем и проявляющая решительно во всем покоряющая сердце человека нежность женщины. По чертам же нежности и изящества ее натуры угадывается и обаятельная женская стыдливость. Беспредельно преданная же любовь женщины узнается позже кем-то, кто воспылал к ней любовью и интуитивно ощутил в ней ответное чувство. А трогательная забота о любимом является проявлением самоотверженного чувства материнства, придающего женщине очарование особенное. Причем чувство материнства свойственно ей гораздо раньше, чем она становится матерью, и развивается в ней вместе с ее созреванием физически и нравственно. «Развертывается же это материнское чувство по мере созревания в ней ее собственного ребенка и раскрывается полностью с его появлением на свет... Оно продолжает развертываться в ней уже на новой основе до масштабов доброты, изливаемой на все человечество» (Женщина и идеал. С. 222).

Изящество

Истинное изящество — первая черта женственности, сообщающая всему облику женщины «гармонию и грацию, пронизанные светом истинной человечности, овеянные поэтической одухотворенностью» (Изящество. С. 38). И проявляется одухотворенность во всем облике женщины: «в нежном овале ее лица, в необыкновенной плавности линий ее фигуры, в упругости и гибкости ее тела, в бархатистости и эластич-

ности ее кожи, в мелодичности и серебристости ее голоса, в мягкости ее манер, в ее пленительной улыбке, в ее пластических движениях и даже в ее легком дыхании... Главнее же всего, понятно, эта одухотворенность сказывается в чудесном взоре женщины, в ее дивных глазах. Недаром говорится в народе, что глаза — это зеркало души» (Изящество. С. 41). Так что помимо художественной соразмерности гармонического строения фигуры и ее грациозного движения, имеющей место и в животном мире (стройная лошадь, красивый олень), женщине еще свойственна художественная же соразмерность ее физического и духовного склада — как существа мыслящего и нравственного. «Но такую истинно художественную соразмерность мы в человеке наблюдаем преимущественно в женщине. И изящество как таковое составляет... естественную привилегию женского существа», присуще женскому существу от природы, как талант, как истинный гений. «Откуда же у женщины эта дивная черта — изящество? Конечно, первопричину следует искать в ее половом достоинстве» (Изящество С. 38, 50). Поскольку без мужчины женщина не в состоянии удовлетворять свои естественные половые потребности, а главное, не в состоянии стать матерью — продолжательницей рода человеческого, «природа на протяжении бездны времен позаботилась о том, чтобы женщина была привлекательна для мужчины, покоряла бы его силою своих чар». Явившись прямым действием зависимости женщины от мужчины, женское изящество «сделалось со временем, по мере его совершенствования и в процессе общественно-исторического развития человечества, в свою очередь, причиной... — для установления обратной зависимости мужчины от женщины».

Многие тысячелетия природа и история (общество) стихийно (повинуясь заложенным в них закономерностям) «оформляли женщину в качестве изящного существа... Сама же женщина помогала им (природе и истории) в этом вполне сознательно, творчески преобразуя себя систематическим физическим трудом и физическими упражнениями, равно как и всесторонним совершенствованием своего духовного “я”, также служившего к развитию ее изящной натуры» (Изящество. С. 50–52). И так же как неисчерпаемо разнообразие всего живого в природе, велико и разнообразие женского изящества: сколько красивых и нежных и строгих в одно и то же время женских лиц и сколь они разные. Необычайную же прелесть и необыкновенную силу сообщает женскому лицу и взору именно одухотворенность, так что «невозможно переоценить нравственное воздействие, оказываемое красивым лицом женщины» (Изящество. С. 39).

Как женское изящество именно в его проявлениях (в отношениях женщины к людям, животным, растениям — ко всему живому) можно

было бы определить женскую нежность, если бы не очевидность того, что нежные чувства проявляют также и женщины, не отличающиеся физическим изяществом, либо утратившие его с годами. Однако и в таких случаях нежная женщина отличается, если не внешним, то внутренним, духовным, изяществом, поскольку изящество, «хотя оно и воспринимается нами в первую голову со стороны его внешности, не есть одна только физическая красота, но одновременно и красота духовная». О внутренней близости изящества и нежности можно судить и в том случае, когда «нежность женщины нисколько не проявляется вовне сознательно, как это имеет место, например, когда женщина объята сном, она, нежность эта тем не менее изливается на нас невольно самим изяществом женского обнаженного тела» (Нежность. С. 61–62).

Нежность

Нежность женщины очень близка к ее же изяществу и составляет вторую черту женственности. Именно вторую, а не первую, потому, что «мы всегда отправляемся от внешнего к внутреннему и от него — к еще более внутреннему: ведь первое, что бросается в глаза нам в незнакомой еще женщине — это именно ее внешность, ее внешний облик. Оправляясь от него, мы, даже еще не зная ее сколько-нибудь близко, судим об ее нежности; узнав поближе — о ее же стыдливости; узнав еще ближе — о силе ее любви; еще ближе — об ее материнских чувствах и, наконец, о ее доброте — качествах ее души, в которой последовательно как бы отложились и сплавились все перечисленные внутренние черты женственности» (Нежность. С. 61). Можно было бы нежность назвать оборотной стороной изящества, настолько они близки, если бы она не составляла самостоятельную черту женственности, не сводимую к ее изяществу, так как свойственна и женщинам, утратившим былую красоту или вовсе ею не отличавшимся. «И потому, если справедливо, что истинно изящная женщина нежна, то далеко не всегда справедливо обратное утверждение: истинно нежная женщина изящна» (Нежность. С. 62).

Пленительной нежностью «дышит лицо женщины, ее фигура, ее кожа, тончайшие изгибы ее торса, волнующий рисунок ее груди», нежностью очаровывает голос женщины, ее взгляд, воздушное прикосновение ее руки — «сказывается уже непосредственно внутренняя нежность, нежность, присущая всему ее внутреннему облику, внутреннему существу. А чудесная женская улыбка, — именно, нежная улыбка? С чем только не сравнивали эту улыбку — и с утренней зарей, и с вечерней звездой. Но разве заря и звезда, как бы хороши они ни были сами по себе, отличаются хотя бы малой толикой той светлой одухотворенно-

сти, какой пронизана женская улыбка?» Ни с чем не сравнить нежность женской улыбки, «ее лучезарность, ее целительность, ее громаднейшее воздействие на людей, а ведь женщина расточает их много и много, одаривает ими многих и многих — по своей великой душевной, чисто женской доброте» (Нежность. С. 63). Как дети, так и взрослые мужчины и женщины, с нежной же благодарностью воспринимают женскую нежность, исцеляюще действующую на душу человеческую. А через душу человеческую нежность женщины «снимает и физическую боль и излечивает также и физически. В этом секрет особой нравственной роли сестер милосердия (мне больше нравится это старинное их наименование, нежели “медицинская сестра”)» (Нежность. С. 66).

От избытка нежности женщина ласкова и к животным, сострадательна и к их мучениям, что хотя и характеризует каждого нравственно образующего себя человека, но в наибольшей мере присуще именно мягкому и ласковому женскому нраву. А ласковость и нежность не отделимы друг от друга: ласковость «внутренне и необходимо» соединена с нежностью, «должна быть рассматриваема как сторона нежности». Особенность нежности в том, что она «охватывает собой как физический и душевный облик женщины, так и духовный, нравственный ее облик». Нежна фигура женщины, нежны душевные ее переживания, нежностью отличается и духовное, нравственное ее мироощущение — «специфически женственное восприятие окружающего», тот образ мыслей, который составит прочную основу для ее образа действий. Поэтому-то нежность и представляет собой «эстетически-психологически-этическую категорию в одно и то же время». Постижение же природы нежности «есть постижение ее именно в понятиях, а это последнее вещь до чрезвычайности трудная, когда речь идет о таких, казалось бы, вполне эмоциональных вещах. А ведь именно таково назначение нашего трактата — проникнуть в природу женственности и составляющих ее черт» (Нежность. С. 67–68).

Нежность, присущая женщине на всем протяжении ее жизни, выражается по-разному в различные возрастные периоды, но неизменно действует облагораживающе на окружающих. Так, девочка-ребенок нежна бессознательно для себя самой. Но и бессознательно исходящее от девочек нежное очарование делает мальчиков в ее окружении намного лучше. «Нравственная поддержка и благословение женщины, к которому мужчина привыкает еще с самого нежного, детского возраста, когда он находился под неотразимым влиянием прелестной девочки, были могущественным фактором роста революционера, его революционного самосознания, во всех решительно революционных организациях мира» (Нежность. С. 74). С ростом девочки-подростка и превраще-

нием ее в девушку растет и женская ее нежность, приобретая все более и более оттенок стыдливости от сознания того, что «нежность, которую она обнаруживает в себе и все больше и больше проявляет вовне, органично связана с особенностями ее пола и усиливается в ней, идет как бы об руку, именно с процессом ее полового созревания как женщины». Со стыдливостью же связана и сдержанность девушки в проявлениях нежности, сообщающая девической нежности «особую и совершенно неповторимую прелесть, неповторимую ни в каком другом возрасте женщины и неповторимую еще к тому же ни в какой другой девушке ее возраста». Сдержанная эта нежность отчетливо видна окружающим и «заметно же воздействует на нашу душу и наше сознание, сея в них семена добра, которые, можно не сомневаться, если и не тотчас же, не немедленно, то потом, рано или поздно, но созреют обязательно, дадут свои желанные плоды» (Нежность. С. 70–71).

Проявляя нежность «в высшей степени стыдливо и сдержанно», девушка в расцвете своей невинной еще девической красоты уже в полной мере осознает свое высокое достоинство женщины, отдавая себе ясный (хотя и интуитивный еще) отчет в женственности и в важнейшем ее элементе — нежности: без нежности нет самой женственности. Идеал женственности она стремится в себе воплотить «со всей силой свойственного юности доверия к высоким нравственным ценностям» (Нежность. С. 70). Благодаря этому она «определяющим образом действует на нравственное сознание неравнодушного к ней, к ее расцветшей нежной и стыдливой красоте, юноши... Он, испытывая могучее облагораживающее действие приглянувшейся ему девушки, в настоящем значении слова перерождается, обретает нравственный образ мысли и действий, не узнает самого себя, — даже в том случае, если девушка не разделяет его чувства».

По сравнению с пленительной нежностью девушки женщина — любимая и любящая — проявляет свою нежность по отношению к любимому намного щедрее и откровеннее, хотя тоже стыдливо. Исключительна и ее роль в жизни мужа: жена «систематически, верно и глубоко очеловечивает его, облагораживает его характер и мирочувствование». И если и она, в свою очередь, «обогащается за счет его душевных качеств и нравственных сокровищ его духа, <...> заимствованное у него возвращает ему сторицей, так как получает возможность еще более основательно воздействовать на него же — во благо» (Нежность. С. 75). Еще большей нежностью и ласковостью, нежели мужчину, женщина одаривает детей обоего пола и всех возрастов — особенно же, готовясь стать матерью. У женщины-матери исконно-женская нежность достигает «высшего и самого щедрого своего выражения. Материнская нежность справедливо

прославлена на всех языках Земли. И всегда она отождествлялась, как отождествляется и поныне, с материнской лаской и материнской же любовью» (Нежность. С. 72). Своею поистине неиссякаемою материнскою нежностью мать нравственно воздействует на своих детей, становясь же бабушкой и прабабушкой — на своих внуков и правнуков.

Но несмотря на силу нравственного воздействия женщины впечатление трогательной беспомощности оставляет в окружающих красота женщины, а «в нежности женской как бы трансформируется и усиливается впечатлением о необычайной хрупкости женского существа, его душевной ранимости, впечатлением, диктующим весьма бережное к нему отношение» и говорящее о тончайшей душевной и духовной организации женщины (Нежность. С. 62). «Ранимость нравственного чувства женщины, вследствие особой тонкости этого чувства, и порождает женскую стыдливость в ее наиболее высоком, наиболее развившемся выражении» (Стыдливость. С. 86).

Стыдливость

Стыдливость, вероятно, в большей мере, чем нежность и изящество, «связана с нравственным чувством и нравственным сознанием человека: где нет стыда, нет и совести», благодаря чему и в большей мере развивалась и совершенствовалась на протяжении человеческой истории, вместе с общественным и нравственным развитием всего человечества. «Стыдливость — состояние души, как правило сопутствующее угрызениям совести» (Стыдливость. С. 87). Чувство стыда дано человеку от социальной его природы даже в той его разновидности, которая неразрывна с чувством пола: женщина «инстинктивно боится показать себя навязчивой по отношению к мужчине», будучи зависимой от него в удовлетворении насущной половой потребности, «и отсюда — специфически женская стыдливость» (Стыдливость. С. 79). Но и когда эта первоначальная зависимость в половом отношении ее от него перевертывается в пользу женщины (благодаря особым чертам женского изящества): женщина своей очаровывающей красотой приобретает власть над мужчиной, то женщина начинает уже стыдиться своего превосходства и власти над мужчиной, «как чего-то положительно недозволенного нравственно, — вроде как бы партнер в игре, прибегающий к сторонним средствам» в состязании со своим соперником. «В целом же, в слиянии обеих сторон женской стыдливости выражается застенчивость женщины, которая так к ней идет и так в ней пленяет: если с одной стороны, женщине как бы неловко от того, что она воплощает в себе столько физической и духовной красоты... ей совестно этой победоносной своей красоты, то с другой стороны, она при

этом испытывает и, естественно, не может не испытывать, и чувство чисто женского удовлетворения и чисто женской же гордости от сознания того, что не она зависит от кого-то в половом отношении, но, наоборот, от нее зависят. Ведь стыдливость женщины очень тесно связана с ее же красотой (изяществом), вселяющей в нее гордость, и с ее же нежностью, внушающей ей скромность. Вот это своеобразное слияние женской гордости с женскою же скромностью и образует специфически женскую же застенчивость» (Стыдливость. С. 79–80).

Вековечная женская стыдливость проявляется в том, что женщина прежде всего стыдится своей наготы и в то же время ею гордится: ведь ее нагота — «неотъемлемая характеристика женской красоты и предмет вожделения... Прекрасная нагота эта, эта вожделенная ее нагота, составляет ее славу» (Стыдливость. С. 81). Стыдливость же делает женщину еще более желанной, еще более разжигает в мужчинах страсть и в то же время той же женской стыдливостью, заставляющей скрывать свою наготу, женщина ограждает себя от алчных взглядов мужчин. «Такова, если можно так выразиться, "диалектика" женской стыдливости» . Стыдливость женщины испытывается и проявляется каждою по-своему: «неизбежный отпечаток индивидуальности, личности женщины» гораздо явственнее проявляется именно в ее стыдливости — при сравнении с изяществом и нежностью, поскольку «и изящество, и нежность... суть столько же внешние, как и внутренние качества женщины (при этом в нежности больше от этого внутреннего мира женщины, нежели в изяществе), тогда как стыдливость — уже чисто внутреннее ее качество (хотя оно, как правило, и проявляется вовне, но может, однако же, и не проявиться, когда женщина научилась не выдавать своих чувств, не обнаруживать их), и потому уже целиком зависит от личностных данных женщины» (Стыдливость. С. 83).

Женская стыдливость разнообразится и с возрастными особенностями женщины. У девочки особенностью стыдливости является вполне бессознательный характер — это застенчивость наивная, отличающаяся полной и пленительной непосредственностью. «Стыд, охвативший девочку и заставивший ее покраснеть, продолжается дольше, чем у мальчика, и носит гораздо более невыносимый для нее "жгучий" характер». У девочки-подростка (в переходный период от девочки к девушке) к чисто детской застенчивости прибавляется «и едва приметная доля стыда за уродующую чувство изящного, от природы заложенного в женщине, угловатость фигуры и манер». И это тоже сообщает стыдливости девочки-подростка «особую непередаваемую прелесть». У девушки, с постепенным ее развитием из девочки-подростка, с ее половым созре-

ванием (появление месячных) стыдливость нарастает, обогащается в своем содержании, приобретая новые особенности. Появляется чувство острого стыда «от сознания утраты безмятежного в половом отношении и целомудренного в своей сущности чувства девичества». К девичьей стыдливости «примешивается обостренное чувство чисто полового любопытства». «Но пока она еще не стала женщиной, мы наблюдаем у нее уже гармоническое слияние стыдливости в ее непосредственности, или застенчивости, со стыдливостью, связанной с исчерпывающим осознанием ею своих расцветших вполне чисто женских прелестей, слияние, тоже неповторимое в своей девственной целости, свежести и лиричности, в своей затаенной интимности, в своей юной романтичности и тончайшей поэтической ароматичности и которое с дальнейшим развитием (ростом) женщины уступает место уже другим, хотя и по-своему не менее прелестным выражениям женской стыдливости, когда фактор застенчивости хотя и остается, но превращается уже в оттенок и занимает определенно подчиненное положение в столь характерном для женщины чувстве стыдливости» (Стыдливость. С. 89–90).

У женщины — любимой и любящей — женская стыдливость проявляется в своем высшем специфическом выражении, как женская стыдливость «в собственном и точном смысле», непосредственнейшим образом связанная с интимной стороной жизни женщины, «с таинством тайн этой жизни», с прямыми половыми взаимоотношениями женщины с мужчиной, «которые, собственно говоря, и делают ее женщиной — как таковой: ведь не сама по себе она женщина, но именно по отношению к мужчине, в каковом отношении и стыдливость выявляет свою полную природу, выражает себя в исчерпывающей мере — как стыдливость женская». У женщины до ее материнства половой акт опоэтизирован — как акт полного слияния с любимым, когда «чудо прикосновения, знакомое нам еще с самой ранней юности, если даже не с самого детства, вырастает до размеров чуда превращения двух любящих друг друга существ в одно». Эта поэтическая сторона интимной близости с мужчиной заметно ослабевает «в женщине-матери, еще носящей в себе или родившей уже новое до беспамятства любимое существо». И для материнской стыдливости характерна уже совершенно новая особенность, отличающая ее от женской стыдливости в собственном смысле: сказывается «стыд нравственного существа человека, испытывающийся им от сознания до обидного примитивного и чисто животного характера как самого полового акта, так и наслаждения, с ним связанного. При всем том, что половая жизнь представляется насущной потребностью и естественной необходимостью, человек не может не осознавать ее вполне низменного, чисто физиоло-

гического свойства, оскорбляющего его нравственное достоинство. Такое сознание преимущественно обнаруживается в женщине как существе более нравственном, чем мужчина, как существе нравственном, можно сказать, по самой природе, в женщине-матери». Однако несмотря на «легкое чувство брезгливости, вызываемое в ней натуральной стороной взаимоотношений полов» женщина не перестает нуждаться в интимном общении, от которого не отказывается даже после того, как в ней самой эта потребность уже угасает, так как считает своим долгом удовлетворение и насущной потребности мужчины. При этом стыдливость ее приобретает новый, жертвенный оттенок (Стыдливость. С. 90–91).

Именно благодаря высокой миссии материнства женщина осознает себя «носительницей и блюстительницей нравственности по природе», и ей приходится не меньше краснеть за допущенную ею самою бестактность, чем и за бестактность других, мужчин в том числе (Стыдливость. С. 84). Ее великое материнское чувство углубляется и развивается с преклонным возрастом женщины, распространяясь не только на собственных детей, но и на детей своих детей, «но и на всех решительно детей на всем белом свете, и не только на детей, но и на взрослых, которых она не иначе считает, в особенности мужчин, как и своих собственных ставших уже взрослыми детей, за взрослых детей же». С углублением и развитием этого материнского чувства женщины до материнской опеки над всем человечеством женская стыдливость вырастает до размеров чисто нравственной стыдливости, «превращается уже в непосредственную нравственную застенчивость, ибо становится второй природой женщины — в великий стыд и великое страдание за человека и человечество, если они поступают не так, как до́лжно» (Стыдливость. С. 91).

Любовь

Предстоящей ролью матери — Продолжательницы рода человеческого обусловлены не только такие черты женственности, как стыдливость, нежность, изящество, но и женская любовь, которая в силу физиологических особенностей женщины приобретает для нее особенное, исключительное значение: любовь «прежде всего и непосредственнейшим образом увязывает жизнь женщины с жизнью мужчины. Жизнь женщины как бы перехлестывает через край ее собственного существа и полновластно входит в жизнь, дотоле ей чуждую, — в жизнь мужчины» (Любовь. С. 93). Но если физиологическую подоснову любви и составляет половой инстинкт, то содержание любви коренится в общественной и трудовой, творчески-революционной, нравственной природе человека, полная реализация которой в добре составляет, не более не

менее, как смысл человеческой жизни. «В любви ярче всего сказывается объективная творчески-преобразовательная природа человека, ибо в ней эта сокровеннейшая человеческая сущность проявляется стихийно, неудержимо, непреднамеренно, вырастает до размеров силы, равнопорядковой самой мощи природы — олицетворения и первоисточника всей и всяческой жизни и жизненности» (Этика. С. 444).

Вот так же, совсем непреднамеренно в романтическом воображении любящего создается идеальный образ любимой, явственно отличающийся от реального ее облика. И наделяет он любимую, притом вполне искренне, такими пленительными качествами, которыми она заведомо не обладает, «претворяя в создаваемом им самим образе любимой идеал прекрасного... — до того в нем живет потребность в идеальном образе любимого существа, пред которым он смог бы склониться... До того в нем живет эта неизбывная тоска по прекрасному» (Любовь. С. 97). Ореол загадочности, которым он сам же окружил любимую, возбуждает в нем чувство, которое «иначе как обожанием не назовешь». Любимая становится его кумиром: о ней все его помыслы, с ней он связывает свои мечты, надежды, счастье. Нередко тоже бессознательно для самого себя, юноша очищается от всего безнравственного, безобразного в себе, всеми силами стремясь приблизиться к идеальному образу любимой. И сама любимая тоже нередко бессознательно для самой себя стремится приблизиться к идеальному образу, «возбужденному ею в любящем». Таким образом, «будучи вполне идеальным образом, образ любимой играет, однако же, вполне реальную творчески-преобразовательную роль, ибо делает как любимую, так и любящего и в самом деле выше, чище, благороднее, человечнее, иными словами, поднимает и ее и его на новую нравственную, духовную высоту. <...> Так самым непосредственным образом связана любовь с нравственным ростом человека и человечества. Так самым интимным образом связана любовь с само́й творчески-преобразовательной сущностью человека, без привлечения которой она оказалась бы для нас книгою за семью печатями».

В создании же идеального образа роль творящего начала как правило принадлежит влюбившемуся мужчине, ведь влюбляются с первого взгляда — в изящный внешний облик, отличающий именно женщину, для которой и приличествует «роль реального эталона для создания идеального образа любимого существа... И женщина, следовательно, и в самом деле отвечает на любовь» (Любовь. С. 98). Встретившись взглядом с заинтересовавшей его женщиной, мужчина внезапно осознает, что именно этой женщине «суждено завладеть всеми его помыслами и чувствами», что он влюблен: испытывает «ни с чем не сравнимое состояние — настоящее ду-

шевное смятение, какой-то особый прилив сил, не может скрыть ни от себя, ни от нее, ни от всех вообще внезапно охватившее его возбуждение, свою глубокую взволнованность, смешанную с удивлением перед ее изумительной красотой, не в силах оторвать от нее взгляда, то и дело хотя и украдкой смотрит на нее, единственно на нее, уже этой украдкой выдавая себя, а встретив ее ответный взгляд (ведь она чувствует, ох, как чувствует, что на нее смотрят, так смотрят!), с невольной робостью (если он даже в летах!) спешит опустить свой, ловит себя на том, если он в обществе, что что бы он ни делал, что бы ни говорил, он говорит и делает только ради нее, для нее одной, — чтобы "она" заметила, чтобы "она" обратила внимание, чтобы "она" оценила... И такое чувство, из глубины глубин его души истекающее, испытывает не он один, влюбившись в нее, оно невольно передается и ей, ответившей на его любовь счастливой взаимностью. Отвечая на его восторженное поклонение, она влюбляется в него без памяти, как и он в нее. Она начинает по-настоящему жить — жизнью женщины, в точном значении этого слова — только в эту минуту и с этой минуты. Вся ее прежняя жизнь кажется только предуготовлением этой минуты, а эта минута ее, всей ее жизни, жизни женщины, полное самораскрытие и блистательное торжество. Это чувство уже не покинет ее более, — и когда она станет женой, и когда она сделается матерью, бабушкой и прабабушкой, оно нет-нет (пусть и не с такой силой и яркостью, как в эту минуту) да скажется, оно будет сопутствовать ей (пусть и не такое взволнованное, но зато ровное и глубокое) на протяжении всей ее жизни, и с благодарным изумлением, что оно было и есть в ее жизни, она унесет его с собой в могилу...» (Любовь. С. 136).

Свое право на ответное чувство женщины влюбленный в нее мужчина полагает само собой разумеющимся — своею исключительною любовью он как бы обретает свою власть над любимой. И сказывается здесь своеобразная диалектика жизни: «с одной стороны, любимая в его глазах вырастает до уровня божества, притом единственного божества на свете, на ответное чувство которого он и мечтать себе не позволяет, с другой же стороны, сила его любви столь безмерна, что он, независимо от неизбежного чувства самоуничижения, считает ее принадлежащей по праву ему, и только ему. Между прочим, это сознание до того непререкаемо в нем, что невольно передается и ей» (Любовь. С. 108–109). И ответный характер женской любви — главная и основная ее особенность в сравнении с любовью мужчины. Но несмотря на свой все же ответный характер любовь женщины «не знает пределов, как не знает пределов и ее самопожертвование в этой любви». Ее ответная любовь отнюдь не менее сильна, чем прямая любовь мужчины: сильнее она и потому, что

«к собственно чувству любви присоединяется еще и чувство гордости женщины в том, что она своими личными качествами сумела внушить к себе такую любовь, и горячее чувство благодарности к нему, к мужчине, сумевшему обнаружить в ней и оценить эти качества» (Любовь. С. 96, 137). Любовь, как и все чувства женщины, обостреннее и глубже, чем у мужчины, кроме того и в силу присущей женщине нежности.

А вследствие женской стыдливости, как в любви вообще, так и в половом влечении, инициатива тоже принадлежит мужчине, а не женщине, «хотя от этого ее собственное желание (вожделение), коль скоро она уже отвечает на желание мужчины, не становится менее сильным — она в конце концов делит его пламень поневоле» (Любовь. С. 141). Но такое неодолимое половое влечение у неиспорченных натур не может иметь место без настоящей любви, как не может быть и самой возвышенной любви без полового влечения, которое «в высшей степени избирательно и уж во всяком случае от воли человека не зависит. Здесь сказывается то, что зовется зовом плоти, он видоизменяется в соответствии с тончайшими особенностями физиологического строения каждого». Физиологическая подоснова любви «всегда и неизменно, хотя и незримо и неосознанно, присутствует на всех ее стадиях, сообщая любви человеческой ее специфический и захватывающий несказанно тонкий и нежный эротизм. Без сладостной перспективы физического обладания, пусть самой отдаленной, при одной мысли о которой дух захватывает, без подсознательного иногда стремления увидеть когда-нибудь возлюбленную во всей ослепительной красоте ее обнаженного тела, без чуда прикосновения, когда любимая, даже чисто случайно и невзначай коснувшись своими волосами лица любящего, вызывает в нем невольную дрожь, которую скрыть, конечно, невозможно и которая невольно передается и ей, — без полового влечения нет и не может быть любви» (Любовь. С. 139).

Преобладание в реальной человеческой любви то физиологического, то психологического, то чисто нравственных факторов затемняет «естественный (простой) механизм любви» — когда мужчина влюбляется первым, а женщина на его любовь отвечает (Любовь. С. 99). Когда же влюбленность женщины не ответная, а прямая, особенно жгучий характер принимает стыдливость женская из-за того, что женщина вынуждена в этом случае объясниться в любви первой — вопреки закону женской стыдливости: ведь именно она сама должна была бы послужить прообразом для создания идеального образа любимого существа. «В невозможности объясниться первой и состоит прежде всего “перелив” стыдливости в любовь. И переливается она — по самой природе — в любовь ответную» (Любовь. С. 111).

Как и нежность, и стыдливость, и изящество, женская любовь — характерная черта женственности. Женщина, преображенная любовью, становится поразительно женственной: любовные переживания «оттачивают в ней все душевные качества, утончают всю ее душу, душу женскую, формируют в ней специфически женское начало, возвышают и облагораживают ее самоё и всех с ней соприкасающихся» (Любовь. С. 144). И под влиянием ответной же женской любви сам мужчина мужает. «Если он поэт, если он творец по природе, то ответная любовь умножает его творческие силы поистине безгранично, составляет его, поэта и творца, настоящий гений, становится светоносным источником произведений, которых уже не смеет коснуться всеразрушающее время, источником великих и бессмертных творений» (Любовь. С. 118).

Поэтической или романтической можно назвать любовь в юные годы, когда она только предшествует любви супружеской, а потому целомудренна и девственно чиста. И проявляется она со всей силой непосредственности двух юных существ, озаренная особенным ореолом значительности и обаяния в этот ответственнейший период жизни человека — период воспроизводства себя в потомстве. «В этот многообещающий, самый прекрасный в жизни человека период для него нет решительно ничего невозможного»: юная любовь «чудесным образом превращает отрока в юношу, а девочку-подростка в девушку, наделяет их необычайной взаимной притягательной силой» (Любовь. С. 100). Настоящее потрясение (бурное и радостное, как весеннее половодье) испытывает человеческий организм, физически и душевно перестраиваясь «под знаком любви». И в полную же мощь развертываются также и духовные, нравственные силы человека (Любовь. С. 100).

Такую любовь юных юноши и девушки «во многом и даже в существенном напоминает» и любовь пожилых мужчины и женщины, не завершившаяся еще совместным их жительством, однако любовь пожилых «осложнена тем важным обстоятельством, что обременена опытом жизни», скрывающим лежащую в ее основе как и в основе поэтической (романтической любви) целомудренную, девственную чистоту (Любовь. С. 95). У женщина в пожилом возрасте, если у нее, к несчастью, взаимная любовь оказалась уже в прошлом, страдания от неразделенной любви особенно безнадежны и горестны: ее разлюбил мужчина, прежде любивший ее несравненно больше, чем самого себя, преклоняясь перед ней как перед богиней, а теперь она не видит впереди ничего для себя отрадного. Женщиной же молодой страдания от неразделенной любви переносятся легче: она еще может надеяться на счастливую взаимность в будущем с другим. В женщине любого возраста потребность быть лю-

бимой более развита чем в мужчине. Отсутствие же взаимной любви для нее «самое несомненное несчастье». И хотя счастье истинное (в этическом смысле) и состоит в исчерпывающей реализации человеком своей творчески-преобразовательной сущности в добре, и «оно не может зависеть от случайности, любят ли тебя или нет, но нельзя забывать и того, что человек — это также мужчина или женщина, и они еще должны быть счастливы и в качестве таковых» (Любовь. С. 143). Когда всеми чувствами и помыслами человека владеет любовь, он становится возвышенно прекрасным: прекрасным духовно, прекрасным душевно, прекрасным физически. «Любовь встряхивает человека, пробуждает в нем тоску по прекрасному — добру, тоску по истине, тоску по правде, тоску по красоте, — если тоска эта была в нем заглушена обстоятельствами, возвращает ему его истинно человеческую природу.

И становясь героем романа, он становится вместе и героем в высшем значении этого слова — беззаветным борцом за все доброе, рыцарем без страха и упрека.

Такова сила нравственного воздействия женского начала в жизни человека. Такова сила любви к женщине» (Любовь. С. 110).

Материнство

Любовь — «самое прекрасное, самое возвышенное, самое человечное, самое поэтичное, самое романтичное, самое интимное, самое лиричное, самое легендарное, наконец, из всех человеческих чувств, — изливается в материнское чувство». Именно в материнстве и заключается высокий смысл истинной любви. Ведь если бы люди ограничивались только любовью платонической (тоже не бесплодной благодаря своему нравственному воздействию на любящего и возлюбленную), либо же предпочитали грубую плотскую любовь (при наличии противозачаточных средств), «нам не пришлось бы писать о материнстве». Без материнства немыслима не только любовь, но и стыдливость, нежность, изящество, тяготеющие к материнству — черте женственности, «как к своему апофеозу», ибо тоже обусловлены главным человеческим предназначением женщины — стать матерью, Продолжательницей человеческого рода. (Материнство. С. 147). Так, стыдливость, присущая женщине от природы, трансформируется в матери в чисто нравственную жгучую стыдливость за эгоистический оттенок счастья от возвращения с войны сына живым, тогда как ее соседка непоправимо несчастна из-за гибели на войне своего сына. К тому же мать испытывает стыд и справедливый гнев и за тех мужчин — тоже детей женщины-матери, по воле которых происходят кровопролитные захватнические войны в качестве средств

для разрешения межгосударственных споров. Женщине-матери же свойственны для достижения и высокой цели средства мягкие и благородные — в этом «один из источников нравственной силы материнского воздействия: там, где мужчина берет строгостью, женщина лаской, и потому вернее сплошь и рядом достигает цели» (Материнство. С. 149). Свое нравственное воздействие и на собственных детей, и на окружающих женщина-мать оказывает не столько наставлениями, сколько делом, силой личного примера, «даже вовсе и не стремясь оказать такого рода воздействие». Стремление же навязать другим пусть даже самый благородный образ мыслей и действий — черта скорее мужская, чем женская.

Женская необычайная стойкость перед жизненными невзгодами, грозящей опасностью, страданиями и мучениями складывается у женщины в период беременности, когда жизненно необходимы особая выносливость, осторожность и выдержка. А характер женщины «получает ту нравственную закалку, которая так необходима будет ей, когда она будет растить, пестовать, воспитывать и выхаживать свое дитя на благо человечества» (Материнство. С. 152). Для пестования ребенка должно быть оптимальным не только физическое состояние беременной женщины, но и ее душевный настрой должен быть радостным и спокойным, тогда как в этот период и бесконечные опасения терзают женщину: благополучно ли развивается ребенок, как перенести мучения при родах, родится ли ребенок здоровеньким и даже останутся ли она с ребенком живы. А после благополучных родов женщину смущает уже и то, что беременность сделала ее малопривлекательной внешне, что особенно сказалось на фигуре. А изящество — насущная потребность женской натуры: быть красивой женщина считает своим прямым долгом. И она снова начинает заниматься и гимнастикой, и музыкой, и чтением — всем, что облагораживает человека и физически, и духовно. И становится женщина еще более красивой и женственной, чем была в начале беременности: это «настоящее Возрождение женщины, ибо с рождением ребенка она хорошеет не только физически, но и душевно и духовно, она чувствует себя поистине воскрешенной к новой жизни — с новыми капитальной важности обязанностями, связанными с воспитанием родного дитяти. <...> Воспитание родного дитяти, что есть более высокого на свете. Вы скажете — воспитание "чужого" дитяти. И вы будете правы, но только с единственной поправкой — воспитание "чужого" дитяти, как своего собственного, не иначе. И мы с вами вернулись к тому же: воспитание своего ребенка — высшее назначение матери. <...> В материнской любви очень органично слились воедино безотчетная привя-

занность животного и сознательная человеческая любовь... В этом особенность материнской любви женщины и корень, или источник, той ее беспримерной крепости... которая и делает ее ... настоящим эталоном всякой вообще человеческой любви» (Материнство. С. 159–161). Мать непрестанно заботится о своем ребенке и в ясельный его возраст, и в школьные его годы, и в годы его романтических увлечений, и в годы его женитьбы. Все более разнообразясь, распространяются материнские заботы и на внуков и правнуков.

Повседневным, систематическим и сплошным подвигом является жизнь женщины-матери — от беременности и до самой смерти. «Жизнь ее — в настоящем значении слова целая цепь подвигов — во имя ребенка, во имя будущего человечества» (Материнство. С. 163). И вследствие бессмертного материнского чувства, передающегося от женщины к женщине с момента происхождения человека на Земле, человечности, как правило, больше в женщине, чем в мужчине. «Самый идеал человечности не может не преломляться в женщине через призму ее особенной натуры, через призму особенностей этой натуры, особенностей вполне биологического происхождения и свойства, через призму ее естества, в свою очередь, разумеется, преломленного через призму ее же общественной и творчески-преобразовательной, нравственно-революционной природы как человека, этот идеал, повторяю, не может не воплотиться в том, что имеет название женственности» (Материнство. С. 170). Составляющие понятие женственности: утонченное изящество женщины, ее пленительная нежность, трогательная стыдливость, преданная любовь, неизбывная доброта и самоотверженнейший подвиг материнства — «лучший гарант верховного этического идеала человечества — идеала добра», необходимым компонентом которого, наряду с идеальной правдой и идеальной же истиной, является идеальная красота, а ее реальным прообразом служит одухотворенная женская красота: «Красота женщины, красота ее тела, ее души, ее духа является для человечества залогом и эталоном всякой иной красоты — красоты мысли, поступка, деяния, красоты творимого человеком нового мира, — одним словом, всего творимого им как добро — прекрасное. <...> Женственность — олицетворение всего самого высокого на Земле. Этим и определяется роль женского начала в нравственном развитии человечества. Она не поддается оценке. Если мы все, люди, и мужчины и женщины, и взрослые и дети, лучше, чем могли бы быть, и если мы, что еще важнее, сделаемся лучше, чем мы есть теперь, то этим мы в первую очередь обязаны женственности и ее необоримому влиянию на жизнь человека. Недаром во все времена все лучшие чаяния людские поэты, композиторы, живописцы,

ваятели воплотили в образе женщины — естественной носительницы и хранительницы всего прекрасного. Всё светлое, мягкое, ласковое, лирически нежное и поэтически высокое связывалось и связывается с бесконечно милым женским существом» (Женщина и идеал. С. 216–217). «Женственность, как могучий гений, ударяет по струнам нашей души, извлекая из нее лучшие, нежнейшие и благороднейшие звуки, заставляет звучать их с неслыханной дотоле силой, и это нравственное звучание нашей души, как круги на воде, распространяется и ширится всё больше и больше, усиливается и наполняется индивидуальною окраскою от человека к человеку, приподнимая на всё новую высоту целые народы. Так женственность пробуждает человека в целом человечестве, и в этом — ее необоримая нравственная сила: мы уже не можем вернуться к состоянию, этому пробуждению предшествовавшему, ибо познали счастье, выше коего нет, — счастье творить добро, быть человеком на деле» (Женщина и идеал. С. 230).

Автор же данного Послесловия считает своим приятным и почетным долгом выразить глубокую признательность Генри Марковичу Резнику — Президенту Адвокатской палаты г. Москвы и Виктору Абрамовичу Полищуку — Почетному Президенту ОАО «Российская телекоммуникационная сеть», академику Международной академии связи — за бесценную поддержку. Благодаря им книга вышла в свет и солнечный свет увидела. И сам автор книги — рыцарь совести Мильнер-Иринин — в своих этических трудах общечеловеческой значимости продолжает жить и поныне.

Н. Я. Кованова,
ответственный редактор

Содержание

Contents

Я. А. Мильнер-Иринин

Женственность.
О роли женского начала в нравственной жизни человечества

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве, Г. Н. Кованов*
Художественное оформление *В. Ю. Яковлев*
Корректор *И. Е. Иванцова*
Оригинал-макет *Л. А. Философова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)
www.aletheia.spb.ru

Подписано в печать 05.10.2009. Формат 60x88 1/16
Усл. печ. л. 20. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ №